

АЛЕКСАНДР ПОТУПА

Ловушка в цейтноте

АЛЕКСАНДР
ПОТУПА

ФАНТАСТИКА
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕТЕКТИВ

Фантакрим
extra



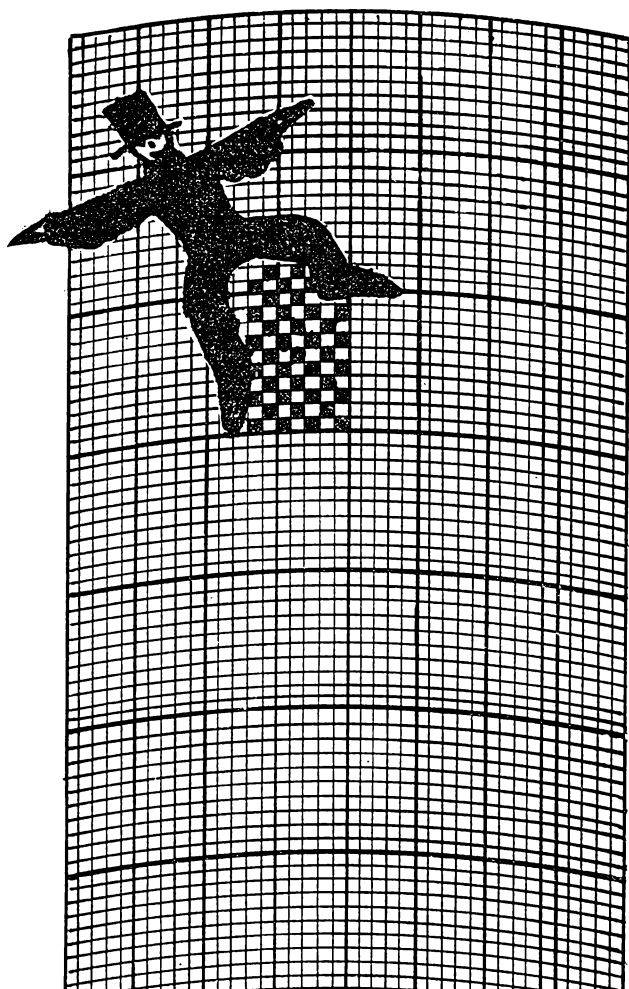


Фантакрим
extra

ФАНТАСТИКА
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕТЕКТИВ

Ловушка в цейтноте

АЛЕКСАНДР
ПОТУГА



МИНСК
ЭРИДАН
1990

ББК 84Р7-4

П 64

ПОТУПА А.С.

П 64 ЛОВУШКА В ЦЕЙТНОТЕ. — Минск: Эридан, 1990.—
208 с.

Фантастические повести и рассказы Александра Потупы знакомят с возможными вариантами развития цивилизации в будущем, а также с кругом философских и нравственных проблем, с которыми придется столкнуться на этих путях людям. Для широкого круга читателей.

П 4702010201—024
М326—90 без объявления

ББК 84Р7-4

ISBN 5-85872-024-2

© Александр Потупа, 1990

© Сергей Баленок (оформление), 1990.

Александр Сергеевич ПОТУПА

ЛОВУШКА В ЦЕЙТНОТЕ

(серия — „ФАНТАКРИМ — ЭКСТРА: фантастика,
приключения, детектив“)

Редактор М. Нестерова.

Художник С. Баленок.

Художественный редактор Е. Корсина

Технический редактор Н. Кравченко

Корректоры: А. Широкова, Г. Насонова

Координаторы выпуска Б. З. Туровский, В. П. Морозова

Сдано в набор 16.09.89 г. Подписано в печать 26.11.90 г. Формат 84х108 1/32.

Печ. л. 6,5. Уч.-изд. л. 15,55. Цена 5 руб.

Тираж 100 000 экз. Зак. 1081.

Литературно-издательское агентство „Эридан“,
220115, Минск-115, а/я 123.

Набор выполнен в п/о „ВААП — ИНФОРМ“.

Отпечатано с готовых диапозитивов на Одесской книжной фабрике
РПО „Полиграфкнига“, 270008, г. Одесса-8, ул. Дзержинского, 24.

ФАНТАКРИМ – XXI

*У одних вид пропасти
вызывает мысль о бездне,
у других – о мосте.
Я принадлежу ко вторым.*

Всеволод Мейерхольд

1

Небо захлебывалось розовыми бликами – отсветами чувства, переполнявшего скульптурно-совершенную пару на пьедестале столь же совершенного зеленого холма, пару, чьи взгляды были прикованы к чему-то вне горизонта, запредельному и оттого наверняка невероятно прекрасному и несущему мотив победы. Мотив переполнял пространство, переполнял вопреки логике его открытости, наслаивался прозрачной и сверкающей тканью на странный игольчато-радужный город, разбросанный вокруг холма.

Скульптурная пара ожила, и взгляд Юноши, впитавший кубические парсеки космического одиночества и гордости за свой единственно верный путь, обратился к Ней – к Девушке, неповторимой и воплощающей. И Она не заставила Его раскаиваться. Она предпочла близкое и безумно красивое лицо вселенским далям и беспредельностям. Их взгляды встретились, и пространство между ними завибрировало от сверхнапряжения, даже слегка заискрило. И тут заговорила Она:

– Благодаря твоему мужеству, Аль, наша планета навсегда избавлена от негодяя Кэттля и его ужасной шайки. Перед нами открывается...

– ...перед нами открывается бесконечный путь покорения Неисчерпаемости, – мелодично подхватил Юноша. – В том, что человек достигнет...

– ...человек достигнет безграничной власти над силами природы, – пропела Она, – достигнет самых дальних звезд, твоя заслуга, Аль. Ты, именно ты открыл волшебную дверцу к осуществлению заветной мечты, величайшей и необычайной! Я люблю тебя, Аль...

– Люблю тебя, Ла... Ла... Ла...

Мелодичный голос Аля сбился на хриплое лалаканье, и его высокий лоб стал покрываться испариной. Внезапно он, словно задыхаясь, рванул свой золотистый комбинезон. И вся картина, испытывая нарастающие вибрации и теряя цвета, начала ощутимо сжиматься, стягиваться в точку...

Тим отчаянно тер глаза. Так и есть – у двери стоит отец и смотрит на него с ехидной улыбкой. И в этой улыбочке, безобразно покровительственной и совершенно неуместной, тают последние отблески фантапрограммы – словно стены все еще отражают исчезнувшую реальность.

– Зачем ты вырядил своего Аля в этот дурацкий комбинезон? – сухо-вато спросил отец, и улыбка стекла с его губ вслед за последними розоватыми бликами. – И девчонку до смерти, небось, запарил... Забыл, что на твоей планете установлен вечный рай? Этому Кролику лапки стоило вернуться за детские фантаматы...

– Жалеешь, что не принял участие? – впрыскивая в голос всю доступную иронию, парировал Тим. – По-моему, Кролю и без тебя руки ломали.

Отец пожал плечами.

– Ладно, не заводись... Тебе какой-то реферат задавали. Сделал уже?

– Это про луддитов, – поморщился Тим, усаживаясь на ковре. – Чего там делать? Я заказал кассету – прокручу, потом надиктую...

– Кассета... прокручу... надиктую... – перебил его отец. – Надо еще и думать, понимаешь? Самому немного думать... Ты слышал про общество имени Неда Лудда?

– Неолуддиты, что ли? – усмехнулся Тим. – Детские игры...

– Игры? Общество Охраны Человека – это игры? Что ты понимаешь...

– Я никогда ничего не понимаю, один ты понимаешь все! – выкрикнул Тим и вскочил с ковра. – Тебе всюду мерещатся личные враги твоего эвромата... А они просто критикуют. Имеют право!

– Безусловно, имеют, – раздраженно сказал отец. – Но они вовсе не стремятся к критике, Тим, они пытаются подавить мои работы, и не только мои... Ты по уши напичкан розовой фантастикой, где все сводится к гарантированной победе над каким-нибудь Кэттлем. А реальность – нечто совсем иное...

Тим передвинулся к окну: там, словно на старинной картине, виднелись полянка и лес, а за небольшим лесом лежало озеро – любовь Тима...

„Скучно, – думал Тим, – до чего же все это скучно. Мои развлечения раздражают его. Еще бы! Уже шестнадцать лет, пора взрослеть, а я в твои годы... А ведь ты в мои годы тоже дурака валял, тоже модничал и ударялся во все стили и в ретро-примитив тоже, как все... И, между прочим, потихоньку включался в запретный тогда фантамат... Это теперь ты велик и непрерываем – ого-го, Игорь Павлович Ясенов, шеф Эвроцентра, творец и владыка мощнейших интеллектронов. Теперь-то тебя не переговоришь..."

– Слушай, Тим, – сказал отец, поглядывая на часы, – мы непременно все с тобой обсудим. Давай вечером? А пока пойди погуляй. Сейчас сюда соберутся люди, нам нужно кое-что обсудить.

—Опять секреты?

— Не то, чтоб секреты, — усмехнулся отец, — но разговор серьезный... Кстати, подумай немного о неолуддитах. Почему, например, они прикрываются именем чулочника, жившего пару столетий назад? Не знаешь? Вот и подумай! А они вовсе не безобидны, эти ребята из ООЧ...

— А по-моему, одному тебе и болят эти несчастные неолуддиты, — ни с того ни с сего взорвался Тим. — А может, они и правы, может, ты и впрямь хочешь поставить машину над человеком! Да-да, хочешь, чтоб всех нас засадили в уютные хомопарки вокруг твоих эвроцентров...

Взгляд отца потемнел, и Тим, не дожидаясь более бурной реакции, выскочил за дверь.

А ведь в чем-то он прав, думал Ясенов, удобно устраиваясь в углу на ковре и медленней, чем хотелось бы, остывая. Я отец родной своим сотрудникам и своим машинам, в какой-то мере неплохой муж, но вот на обычное человеческое отцовство меня никогда не хватало. Классическая, литературно изжеванная ситуация, которую осознаешь как реальность лишь тогда, когда тонешь в некоем едком растворе для мечты о детях-сподвижниках, детях-продолжателях...

Когда же он отдалился? И откуда его странные симпатии к неолуддитам? Сейчас многие увлеклись их болтовней, слишком многие... Они кричат об опасности наших автоэволюционных программ, не указывают на реальные опасности, а выдувают мыльные пузыри из мнимостей. Огромные мыльные пузыри самых пугающих оттенков — лишь бы средний человек встрепенулся и стал бросать на меня, на Жана Нодье и прочих, подобных нам, взгляды, наполненные исподлобной тупой злостью...

Да, если разобраться, крики беотийцев — древнейший рычаг контрпрогресса, думал Ясенов. Закричать можно все, любой шаг в будущее можно побить криками, как побивали камнями древних инаковидцев. Так били беднягу Эвальда Кроля за его фантаматы. Обычно криками, а разок — вполне натурально, и в этот раз какой-то могучий борец с интеллектуальной наркоманией сломал Кролику руку. Сломал, чтобы потом, сидя в тюрьме, выпрашивать у начальника лишние полчаса включения в фантамат...

А какие крики неслись в свое время по поводу всеобщей системы ИК — индивидуальных компьютеров. „Нам не нужны квартиры, думающие за нас!“ „Долой компьютерный рай!“ Да, долой... А теперь божьи старички и старушки, некогда в расцвете юных сил громившие все ИК-агентства подряд, не представляют себе жилища без компьютерного контроля, дышать не могут вне запрограммированной атмосферы, подремать не прилягут без доброй порции фантасинтеза.

Н-да, странная штука — история прогресса. Кусаем и даже выламываем руки, протягивающие нам будущее...

История земная полнится погромными лозунгами, буквально разрывается от них — в адрес коперниковской Вселенной и космических городов, по поводу Дарвина и Эйнштейна, искусственной пищи и межзвездных

сигналов. Цивилизация просто стонет от обилия тормозных колодок, визжит на всех поворотах, перегреваясь и испуская снопы опаснейших искр, и все-таки движется с нарастающей скоростью — вот в чем фокус...

Не потому ли мой Тим увлекся историей, наукой, которая обещает из каждого сотворить мудреца, а творит кого угодно — мудрецов и подонков, сильных и слабых, устремленных и отчаявшихся... Беда в том, что учиться истории надо собственными боками, реальностью бытия, которая не сводится к безоглядно смелому конструированию далеких завтра и вчера, но требует еще и чувства текущего дня, требует тончайшей дозировки трех времен в том интеллектуальном топливе, которое обеспечивает каждый наш рывок.

Как передать это представление Тиму? Как объяснить ему, что темные, но честные ребята из компании Неда Лудда — это совсем не то, что наши современные неолуддиты? Как растолковать, что борьба за кусок хлеба в окрестностях Ноттингема времен Регентства вовсе не похожа на нынешние выступления, от которых за версту разит сытым порыванием?

Но проблемы-то есть... Длительность очередной цивилизации уже меньше сроков человеческой жизни, и жизнь с трудом выдерживает испытание на разрыв разными мирами. Человек вынужден несколько раз словно бы рождаться заново, полностью переигрывая свои образовательные позиции каждые пять-семь лет. Извроматы могут довести это напряжение до последнего предела, до биологического предела человеческого мозга, до того сверхбарьера, который потребует рывка к чему-то за рамками современного мышления, за границами того, что мы гордо именуем разумом...

И опять я сбился на тему разговора со своими ребятами, думал Ясенов, безнадежно улыбаясь пустому пространству комнаты, и снова на неопределенное завтра сдвинут мой серьезный разговор с Тимом, так и не продуманный до конца разговор, который может никогда и не состояться...

Лес успокаивал, тропа сама влекла в глубину, и Тим перешел на шаг. Лес — друг, он защитит, он сомкнется за спиной, и все неприятности растворяются в несущественно мелком прошлом, мелком по сравнению с этим лесом, которому мало дела до слащавости Аля и напора неолуддитов, мало дела до суеты человечков, фантомных и реальных.

Черт бы побрал эту его усмешку, думал Тим с остывающей, но все еще пенящейся злостью, безобразную гримасу умственного превосходства. Они всегда умнее нас уже потому, что вымахали под два метра и на три десятка лет больше проторчали на этом свете. Они, дрожа от нетерпения, ищут какие-то иные цивилизации, хотят немедленно — сегодня или завтра — вступить с ними в контакт, но не могут, совершенно не могут законтачить с нами, с цивилизацией их собственного будущего. И нечего тут тыкать моими шестнадцатью годами и всего лишь пятой ступенью адаптации. В конце концов я хочу видеть мир по-своему, чтобы мне не навязывали того завтра, которое кажется им прекрасным лишь сегодня, не желаю, чтобы меня загоняли в их зрелость, в их колено...

Озеро – мой талисман, думал Тим, спускаясь по слегка наклонному песчаному берегу. Я стал бы великим лесным богом и подарил бы талисман своему дикому племени, и люди плясали бы вокруг – настоящее племя, насытившееся после долгой и трудной охоты, реальной и кровавой и вовсе не смаживающей на фантасафари, где воображаемый охотник носится с воображаемым блейзером за воображаемым тиранозавром... Мое озеро...

Но вот оно становится отцом – „Игры?.. Это игры?..“ Оно предает меня, с ужасом думал Тим, оно талисман-предатель, не желающий ни победных плясок, ни подлинности вообще, оно замаскированный канал всемирного фантамата, фантамата, в который превращают этот мир, которым он стремительно становится, становится чем-то, невместимым в сознание...

– Чего ты ко мне прицепился?! – вдруг закричал Тим, срываясь в крик, как срываются с высокого обрыва. – Я не хочу становиться тобой, не хочу изобретать новый эвромат! Пусть их изобретают те, кому не хватает собственных мозгов!

Озеро-отец как-то обиженно сморщилось и стало терять очертания, превращаясь в тихое и безобидное лесное озеро, до смерти напуганное криком и криком обезличенное. Тим вздрогнул от сжавшей виски тишины, от обрушившегося на него настоящего акустического вакуума.

Ерунда какая-то – с озером поругался, думал Тим, опускаясь на берег. Не хватает только броситься на колени и, подобно древним, кулаками грозить небу и вопить что-нибудь вроде „Усомнюсь, Господи!“, и ощущать на затылке ознобные волны страха – вдруг кто-то смотрит с небес и прицеливается в тебя молнией.

Молния в спину... Похоже, это я устраиваю папе молнию, причем в самый подходящий момент. Ему так трудно, и он многое скрывает от нас с мамой; борьбу с Нодье, схватки с Большим Советом, не говоря уж о всяких неолуддитах... И конечно, ему страшно видеть, что даже я, единственный его сын, зашатался под ударами антипрогрессистской пропаганды.

И снова озеро, непослушный мой талисман, сочетается в знакомое лицо. Конечно, это диктор канала официальных новостей: „...в ближайшие дни мы станем свидетелями острой дискуссии между Евроцентром Игоря Ясенева и Центром хомореоконструкции Жана Нодье. Какой из двух программ нашей эволюции следует отдать предпочтение? Что выйдет на первый план – работы над хомо суперсапиенс или над творческими машинами? Станем ли мы усиливать интеллект индивидуально или коллективно? Откуда стартует наше будущее сверхмышление, наши гиперментальные функции – от индивида или от социоида? Наконец, какие новые, пока еще секретные, достижения продемонстрируют Большому Совету Ясенов и Нодье? Между тем не следует забывать и о третьей точке зрения – не стоит ли временно свернуть обе программы явной опасности слишком быстрого преобразования человека? Не стоит ли подумать о некотором расширении космических исследований, в частности о более активной стратегии космического Контакта?..“

Тим вздрогнул и потерял лоб. Видение стало постепенно исчезать, словно всасываясь в чуть-чуть колеблющийся экран озера.

До чего ж тебе трудно, папа, думал Тим. Я ведь знаю – ты во многом сомневаешься... Вот именно это и делает меня твоим союзником, скорее – твоим, чем этих самых неолуддитов. Они-то уверены в своей правоте на все сто, и, может, именно она, их вроде бы очевидная и всячески рекламируемая правота, гораздо опасней твоих хитрых эвроматов...

Я увлекся историей, потому что мне необходимо понять, что такое прогресс. Действительно ли все сводится к системному усложнению и соответствующему уплотнению времени, к ускорению потока событий, или тут что-то другое, более глубокое? Ты бы посмеялся над моими чрезмерными претензиями, но это вовсе не смешно, папа, – чрезмерность в шестнадцать может стать мерой в тридцать шесть. Одно я уже понял – прогресс, как его ни определяй, был бы невозможен без чрезмерных, без Бруно и Демокрита, без того первого косматого парня, который дрожащей рукой попытался сам выбить огонь. Не было бы ничего, кроме вечной и общепринятой стадной меры... И озеро-талисман пересохло бы...

Я устала, устала до одури от этих переливов, думала Анна Ясенева. Мне тревожно, мне тесно от растворенной в пространстве тревоги, от пружинной напряженности мыслей. Вот-вот что-то произойдет, чудовищная сила спустит пружину пространства, и она больно ударит по затылку, ударит нешуточно, вероятно, насмерть.

Моя новая композиция вибрирует, словно предчувствует удар, она боится впасть в беспризорность, моя бедная светоконструкция – но она-то при чем? Не страшно ли это – голограмма, чутко и безошибочно реагирующая на мое состояние, а следовательно, воздействующая на меня, своего творца, то, чего не предвидел гениальный и несчастный Кроль, Кролик, как зовет его Игорь. Фантом вступает в игру со своим создателем, и это становится высшей точкой современного искусства. Это уже не динамическая скульптура, которой увлекались лет сто назад, и не программируемые скульптуры-роботы, и не живопись жидкими кристаллами и органическими соединениями и их автоволновыми эффектами... И даже не фантапрограммы с прямым вмешательством зрителя в сценарии, тут иное – реальный выброс своего Я, выставка чистого эмоционального состояния, способная усилить его до сумасшедших нот... Именно до сумасшедших, ибо восприятие концентрата собственной психики – разве норма?

Нас заносит, вероятно, всех нас заносит с использованием прямых мозговых команд, этого самого брайнинга. А что будет, если каждый сможет включиться в Игорев эвромат? Ведь по слабому моему разумению, такая машина обеспечивает полную обратную связь с фантомом, а потом и его автономию, и зритель из Господа Бога, командующего парадом мерцающих кукол, превратится в их партнера, станет их отражением почти в той же степени, как и они – его... Страшно подумать, что именно так, через искусство, забавные фантаматы Кроля начнут игру против человечества и каждый из нас будет потихоньку терять себя. Кто реальней – я или полу-

прозрачная многоцветная конденсация моих мыслей, способная действовать на меня не слабее, чем я на нее?

Впрочем, чему удивляться? Разве наши замыслы и их воплощения, наша модель будущего Я, наша модель общего будущего – разве все это не действовало на нас во все времена? Теперь этот эффект называют, по-моему, причинной петлей – каузлупом. Умеют же все назвать и обозначить...

Но как обозначить эту растущую и распирающую тревогу? Она пульсирует в пляшущей передо мной работе, пульсирует вокруг Тима, которого рулетка поколений забросила в пустоту промеж двух необычайно творческих родителей, „лидеров двух далеких сфер познаний“, – провалились эти штампы официального канала. Хоть полюбопытствовал бы кто насчет цены нашего лидерства...

Я хочу выключить свое творение, очень хочу обесцветить этот пульсирующий комок встревоженного пространства, хотя бы временно изгнать его из своей мастерской, хочу и не могу – он мешает мне, он не желает становиться замороженным импульсом памяти в черном ящике фантамата, он объявляет мне войну желаний...

Тиму нужен был братик – вот что бесспорно. Нам с Игорем нужна была целая куча сорванцов, которые не дали бы нам дойти до этих проклятых лидерских позиций, до лавинообразного размножения наших идей и их воплощения. Мы не дошли бы до блестящей когорты Игоревых эвроматчиков, когорты молодых и зубастых ребят, рвущихся вслед за своим пророком и кое в чем обгоняющих его, уже обгоняющих... И до моей неоглядной галереи брайнинг-фантомов тоже не дошли бы. И катались бы по полу среди мягких и теплых, брыкающихся, писающих и орущих щенят, действуя по единственно стоящей программе – программе любви...

Все шестеро участников совещания в кабинете Ясенева живописно расстелились на ковре, и со стороны все это смахивало бы на веселую мужскую вечеринку, если бы, кроме легкого запаха моря и приятного пляжного ветра, тут присутствовало собственно веселье. Игорь Павлович сосредоточенно выводил на своем дисплее ухмыляющегося черта с вилами.

– И тебе не надоело создавать портреты профессора Нодье? – раздраженно нарушил тишину Стив Грегори. – Уж лучше попросил бы Анну...

– По-моему, ты уже злишься, Стив, – вежливо улыбнулся ему Арчи Ясумото.

Грегори вскочил на ноги.

– А по-моему, я битый час объяснял – надо медленно запускать наши материалы, иначе Эвроцентр прикроют, бой на Совете будет проигран начисто. Суперсап – естественное развитие живого человека, а наша машина вызывает предрассудочное отторжение. И чем она умнее, тем конкурентоопасней. Нас провалят именно этим элементарнейшим предубеждением...

– Стив, я все равно не подпишу, – совершенно равнодушно, даже не отрываясь от рисования, произнес Яснев.

– Ты с ума сошел, – окончательно взвинтился Грегори. – Завтра утром Нодье огласит свой материал. Объективная критика, то да се – старикашка Жан это умеет... И на Совете мы вылетим в трубу!

Ясенев неопределенно пожал плечами.

– В твоём варианте, Стив, мы становимся живым доказательством правоты Нодье, – сказал он. – На наше место пора прийти кому-нибудь поразумней и подальновидней. Мы становимся мастерами по борьбе с собственным будущим, великими мастерами...

– Ты говоришь страшные вещи, Игорь, – едва ли не трагическим шепотом произнес Грегори. – Я будто слышу голос старикашки Жана...

– А меня преследует голос твоего отца, Стив, – ответил Ясенев. – Ведь это он предсказал возможность эволюционной войны. Мы рискуем стать ее поджигателями... Разные ветви расщепленной цивилизации начнут схлестываться, избивая друг друга нашими аргументами и кое-какими производными этих аргументов – мегатонными и гаммалучевыми. Мы рискуем захлебнуться страхом перед хомопарками...

– Любимый образ неолуддитов? – вступил в разговор Вит Крутогоров. – С каких пор?

– Не стоит цепляться к словам, – миролюбиво сказал Ясумото. – Мне кажется, я понимаю Игоря. Настал момент открытой игры, Совет требует от нас и от конкурентов предельно откровенного сопоставления программ. И вот Игорь связывает с этим угрозу эволюционной войны. Я не совсем согласен с ним, но я его понимаю.

– Ты, Арчи, прирожденный проповедник-миротворец, – перебил его Крутогоров. – Но, похоже, Игорь утратил веру в собственную правоту, веру, которой он заразил и нас. А куда деваться нам, зараженным?

– Вовремя утраченная вера в свою правоту, в свою исключительную правоту нередко спасала от потоков крови, – усмехнулся Хосе Фуэнтес. – Мне кажется, вера тоже предмет оптимизации, и, как знать, что вредней – ее избыток или недостаток...

– Твои слова хоть наизусть учи, – снова вступил Крутогоров. – Но нам некогда заучивать твои изречения и некогда их цитировать. Мы вот-вот попадем под ножницы плановой селекции и вынуждены будем менять работу. Стив походатайствует за меня перед папашей, и я отправляюсь в Лунный Монастырь – почему бы не погрузиться в спокойное созерцание космоса или собственного пупка?

– Вы не видели Тима? – с этим вопросом возникла на пороге кабинета Анна Ясенева.

– Мы очень заняты, Аннушка, – кивнул ей Игорь, – а Тим сбежал к озеру.

– Ладно, действуйте, страшные заговорщики, – слабо улыбнулась Анна. – У меня какие-то нелепые предчувствия... Пойду поищу его.

Не знаю, размышлял Тим, удастся ли мне построить теорию прогресса, но твердо знаю, что веду себя, как последняя свинья. Я нашел наилучший момент, чтобы раздражить отца, а он постеснялся отпустить мне элемен-

тарный подзатыльник. Отец боится дать себе волю, он стиснут ответственностью за каждый свой шаг...

Люди еще не привыкли к тому, что каждому из них может выпасть жребий повести цивилизацию за собой. На таком человеке жуткая ответственность за выбор шага, а на цивилизации – за выбор человека-поводыря... Нет, по-моему, не совсем так. Поводырь нужен слепым, а мы вовсе не слепые, мы все видим дорогу, можем поправить идущего впереди. Или не все? Или видим нечто внушенное в качестве дороги? И поправить не всегда руки дотягиваются – так, что ли? Выходит, проще всего приплясывать на месте, изображая движение, а когда в глазах вспыхнут радужные круги от мелких притопываний, завопить, дескать, вот он, надвигающийся свет будущего! И ведь самое забавное, тут есть во что поверить – в глазах все ярче разгорается зарево, а в себя придешь, только если ноги подкосятся.

Озеро, голубой мой талисман... Вот в россыпи бликов словно сошлись в борцовской схватке отец и Нодье. И этот безобразный Нодье все время ускользает и смеется, смеется и ускользает... Но что это? На месте маленького старикашки Жана его жуткий суперсап, неотразимо страшный не своей суперовостью, а внешней схожестью с нами. Он мгновенно гипнотизирует отца, и у того безвольно повисают руки, и вот сейчас Нодье за просто разделается с папой...

Тьфу ты, провалился оно в черную дыру! Я и впрямь чуть в озеро не бросился, и кулаки сжаты так, что кончики пальцев побелели.

Воображение когда-нибудь заставит меня валяться в психореанимации – это мама верно говорит. Добрая половина фантомов намертво застревает в твоих мозгах, говорит она, и скоро там ни на что иное места не останется. И она опять права.

В общем, все правы, а я кругом виноват, виноват по уши и навечно...

Анна углубилась в лес, и напряжение стало понемногу спадать.

Как естественно сочетаются эти тени и солнечные блики, думала она, сочетаются, чтобы окраситься моим настроением и окрасить его. Достаточно провести в этом лесу хотя бы сутки, и впечатление будет не меньше, чем после просмотра планетарного каталога фантскульптуры. Древние охотники с помощью этого волшебного аппарата – леса – становились гениальными художниками, а главное – их фантомы из солнечных лучей, из лунных отблесков и колеблющихся древесных теней были для них реальностью, были частью их жизни. Ночной лес пугал их, наполнял страхом и отражал страх, а вот такой, дневной и радующий, дарил надежду, поддержку светлых и добрых духов.

Моя тревога – лишь след усталости. Я слишком долго провозилась со своими психофантомами, слишком глубоко ушла в свой внутренний мир, в его зыбкие пространства, где так много теряется и так мало, так до обидного мало отыскивается вновь...

Тим уходит за черту взрослости – нужна ли я ему со своим кудахтаньем, с чем-то вкусненьким по большим праздникам и с вечной занятостью? Разве

что мелькают в его памяти наши танцы на берегу озера, пляски дикарей, от которых они, мои мужчины, постепенно устали. И первым – Игорь...

Может, здесь он и прячется, источник моей тревоги? Игорь удаляется, как межзвездный корабль. Мы еще обмениваемся сигналами, но они идут все дольше и все сильнее искажаются разделяющим нас расстоянием. С тех пор, как он, краснея и заикаясь, попытался втолковать мне, что у Тима не смогут появиться братик или сестричка, с тех пор он стал удаляться, и никакие мои попытки...

Человек в симбиозе с эвроматом – мечта, жутковатая мечта Игоря, и порой мне кажется, он уже начал эксперимент, временами в нем прорывается что-то надчеловеческое, какие-то невообразимые оценки и решения... Но пока он не берет меня с собой в эту иную его жизнь, где происходит нечто, не вмещающееся в обычное сознание, где неспешно, как в колбе древнего алхимика, создается новый человек. Неспешно ли? Многие как раз убеждены в обратном – все происходит слишком быстро, и цивилизация, подобно экипажу неуправляемой капсулы, несется навстречу взрыву.

Теодор Грегори, отец Стива, назвал этот взрыв эволюционной войной – дескать, до сих пор, вплоть до экологического терроризма, люди боролись между собой, а тут возникает острая межвидовая борьба, ведь все человечество нельзя будет одновременно превратить ни в суперсапов Нодье, ни в эвробийонтов Ясенева... Одни захотят одного, другие – другого, а третьих – их много, их, пожалуй, большинство – вполне устроит древняя человеческая оболочка и начинка. А планета мала, лишь за последнее столетие мы по-настоящему осознали, насколько маленький шарик эта планета Земля. Маленький и незащищенный – ни любовью богов, ни особыми космическими законами... Разве что наш разум, но и он перегружен, и кое-кто говорит – его попросту мало, а в человеке так много противоречий...

И эта сверхидея Тэда Грегори, сверхидея, которая самого его заборолась на Луну, заставила ускользнуть в сферу чистой астрофизики, эта сверхидея волнует всех, по-моему, всех, кроме Игоря Ясенева. Он многозначительно улыбается: „Мы противопоставим этим запугиваниям естественную мораль Контакта, проекцию отношений космических на отношения земные. Ближнего надо любить вовсе не за то, что он похож на тебя, и в нем отражается твое величие. Любовь, основанная на подобии людей друг другу, даже на их богоподобии, не могла остановить разгул взаимных убийств и унижений. Ближний, каким бы дальним он ни казался, – это твое иное Я, иная эволюционная ветвь единого ствола, твоя же иная реализация. Нельзя любить себя в одном реально осуществленном варианте, другие варианты тебя столь же заслуживают любви“

Он становится серьезным: „Возлюбить свое отражение не фокус. Победа души – возлюбить создание инаковыглядающее, инакомыслящее и даже инакодействующее...“

Похоже, они с Махагуптой намерены всерьез протолкнуть эти идеи, до которых нам всем расти и расти...

Но где же Тим?

И светотени складываются в нечто, источающее острую тревогу, более острую, чем моя композиция номер такой-то... В живую тревогу живого леса, леса, который вместе со мной ищет моего мальчика...

Атмосфера в кабинете Ясенева сгушалась.

— Мне тошно произносить это вслух, — кричал Стив Грегори, — но здесь пахнет предательством, Игорь, обыкновенным предательством!

— И мне не слишком нравится эта история, — тут же заговорил Крутоголов. — Только тебя, Стив, здорово заносит...

Радж Махагупта, который до сих пор сидел неподвижно, поднял два пальца, и все удивленно затихли. Добровольное вступление в дискуссию сверхмолчаливого Раджа лучше всего подчеркивало серьезность момента.

— Ребята, — сказал Радж, — мне тоже кажется, что наше серьезное выступление против Нодье может стать первым боевым действием между сторонниками разных эволюционных линий. А война противоречит нашим принципам.

„Вот и беднягу Раджа до длинного монолога довели, — размышлял Фуэнтес. — Вот ситуация — все все понимают, все по-своему правы... Ясно, что для Стива наше поражение было бы смертельной потерей, в некотором смысле более страшной, чем для Ясенева, — у Игоря хоть семья... А Стив после истории с Никой весь в Эвроцентре, без остатка и без малейшей разрядки. Ему непременно нужно доказать, что его не сломали...“

Тишину, словно подчеркнувшую сказанное Махагуптой, нарушил тонкий зуммер вызова по индиканалу. Яснев быстро взглянул на миниатюрный наручный экран и дал переключение на стенную телепанель.

На большом экране возник Жан Нодье и стал удивленно оглядываться.

— У тебя совещание? — спросил он. — Может, я не вовремя?

— Напротив, — усмехнулся Яснев, — тебе повезло — весь штаб в сборе...

— Ну, как ваш заговор? Продвигается?

— Разумеется! — ответил Игорь, поворачивая к экрану дисплей-планшет с изображением вооруженного черта. — Мы уже создали твоё изображение, Жан, и теперь, согласно древнейшим законам магии, владеем тобой...

— Ну да, теперь кто-то из вас проткнет мой образ лихой стрелочкой, образом каменного копья, — тоже заулыбался Нодье.

— Я скончаюсь в жутких муках на другом конце Земли, и никто ни о чем не догадается... Кстати, я возвращаюсь из нашего австралийского филиала.

— И как поживает твой Лямбда с его гиперкортексом? — совершенно безразличным тоном спросил Яснев.

— У тебя славная разведка, дружище, — сразу же отреагировал Нодье.

— Мой малыш в полном порядке, надеюсь, он предстанет перед Советом в своей лучшей форме. Но уверен, ты тоже подготовил нечто эффектное.

— Приготовил, — вздохнул Яснев. — Мы тут очень старались.

— Я тоже кое-что знаю, — ухмыльнулся Нодье, делаясь особенно похожим на дисплейное изображение. — Ваш эврик покажет, как сработать изящную теоретическую модель любого предложенного Советом явления. И потом вы станете демонстрировать фокусы с микровзломом в духе композиций Анны Ясеновой... Или я ошибся?

— Ты безошибочен, Жан, — ответил Ясенов. — Но сейчас дело не в наших с тобой детективных хохмах... Ты собираешься нас атаковать?

— Откровенно говоря, я вот что думаю, Игорь: к чему приведет наша открытая грызня? Я по-прежнему считаю, что модификация индивидуального мозга должна опережать все остальные направления. Пока мы не загнали в черепную коробку нечто более емкое, оперативное, а главное — более ответственное, пока мы не сделали все это, боюсь, цивилизации придется трястись за свое будущее. Но мне хотелось бы...

— Я тебя понял, Жан, — перебил его Ясенов. — Хочу сказать, чтобы ты знал — я не подпишу ни одного материала против твоей программы, ни одного материала для публичной склоки.

Нодье немного помолчал, прикрыв веки.

— Спасибо, Игорь, — сказал он наконец. — По-моему, нам пора вступать в настоящий контакт. Ведь наши планеты не так уж далеки друг от друга...

— Это точно, Жан. Когда-то наши предки сумели вместе слетать в космос, а времена были куда темней.

— Времена освещаются людьми, Игорь. Я хочу сказать, что у наших предков были светлые головы...

„Вот так, и, вроде бы, все сказано, — думал Хосе Фуэнтес, — и наступает идиллия взаимности — почти учебный пример на тему философских упражнений Игоря и Раджа. И все слишком прекрасно, чтобы быть реальностью“

Нодье не выключал индиканал и как-то заметно мялся.

— Знаешь, Игорь, похоже, кому-то не терпится сравнить нас всерьез...

Ясенов улыбнулся и промолчал.

— Боюсь, чтобы неолуддиты не устроили в эти дни какую-нибудь великую пакость... Впрочем, я становлюсь стар и пугаюсь любой тени... Счастливо, ребята, наша машина пошла на посадку...

Анна не выдержала и побежала. Лес вокруг нее напрягся, стал упругим и цепким. И пляска светотеней в новом ритме стала еще тревожней.

Я хотела пойти немного быстрее и вот надо же — побежала, пронеслось в голове у Анны, и мысли ее заматались в такт ускорившемуся мерцанию светотеней. Понимаю, что все хорошо, все к лучшему в этом лучшем из миров... не может произойти ничего плохого... ничего плохого в тишайшем и уютнейшем месте Земли, где самое время цепляется за тебя хвойными лапками, умоляя не спешить... посмотреть бы со стороны на мои нелепые прыжки между деревьев... должно быть, очень смешно... сейчас деревья засмеют меня, попадают от смеха на моем пути... они окружают меня сплошным завалом, и пока я до конца не выслушаю их смех, смех обезумевших деревьев, они не выпустят меня к озеру...

— Тим! Тим! — громко закричала она.

Лес кончился внезапно, и Анна стрелой вылетела на берег озера, к едва колышущейся глади, залитой солнцем и ленивым безразличием.

Это единственное место в мире, думала Анна, чувствуя, что мысли снова обретают сомкнутость, единственное место в мире, где ничего не может случиться, где так славно уповать на вечность, размышлять о судьбах цивилизаций и охапками собирать сюжеты для фанткомпозиций, охапками — как древние художники собирали хворост для очага, чтобы там, в огне, перед ними выплывали картины неземной красоты и вполне земные работы, вроде такой, например, — где раздобыть себе ужин. Может, это и плохо, что мне незачем думать о добывании скромного ужина, нет возможности отвлечься какой-нибудь простой насыщенностью...

Тонкий ноющий звук заставил Анну встрепенуться.

Я вышла совсем не к тому месту, которое любит Тим, решила она. Надо немедленно разыскать его, и тогда рядом с моим мальчиком мгновенно пропадет тревога, исчезнет эта воображаемая пчела. И мы пойдем вдвоем по лесу, мы будем разглядывать пляшущие светотени и давать им имена, и они, поименованные и тем самым оживленные, будут сочетаться в ласкающие глаз образы. Они станут одушевленными фантомами удовольствия и радости и чего-то еще, не выразимого простыми словами...

Анна вновь прислушалась к нарастающему звуку и бросилась бежать по пустынному берегу.

И еще, думал Тим, надо как следует разобраться в истории экологической войны. Неужели целые государства были способны заниматься открытым шантажом и терроризмом? Простая идея — либо вы бесплатно подносите нам все свои лучшие достижения, либо мы портим и свою, и вашу окружающую среду. И задохнемся одновременно — вы вместе с вашими проектами прогрессирующей цивилизации, а мы — со своим веселым бездельем, так мы хоть всласть пожили... И чтобы пресечь такой терроризм, нужно раскручивать настоящую горячую войну — вплоть до ядерных ударов, но это опять-таки ведет к экологической катастрофе, и вообще бесчеловечно и нелепо. А ведь выход-то нашли... И благодаря этому появилась уже иная, по-настоящему планетарная цивилизация.

Великий парадокс — объединение вроде бы всегда сопровождалось войнами, полезная для развития стыковка цивилизаций неизбежно завершалась социальной сваркой, и в ее раскаленных швах сгорали тысячи или миллионы жизней, а здесь, когда дело запахло всеобщей бойней, нашли иной путь. Если человека припрет как следует, он непременно что-нибудь отыщет... Может, и парадоксов тут нет, только мне они и мерещатся?

Но я до сих пор плохо понимаю ситуацию — что такое, например, экологически ограниченный суверенитет? Почему террористические правительства пали одно за другим после принятия программы глобальной экономической реконструкции? Потому что шантаж произрастает на почве отсталости, и нормальные условия развития делают его нежизнеспособным? Или это слишком простое объяснение? Но для ответа на такие вопросы надо хо-

рошенько представить себе предыдущий этап — свертывание гонки вооружений. Без него — о каких глобальных реконструкциях шла бы речь?

И тоже — до чего туманно видится мне этот процесс. Конечно, переориентация военной промышленности на мирные космические проекты, на планомерное преобразование биосферы — оно все так... Сейчас это называют вступлением в новую эру, и мне нужно так много еще узнать, чтобы по-своему ощутить новизну. Потому что на смену ей придет другая новизна, вернее — уже приходит, и ее наступление можно легко проморгать — тебя просто втянут в нее за руку, брыкайся — не брыкайся, втянут, и ты окажешься как бы непричастным к ее созданию, а значит, и к поиску очередного выхода из трудностей. Вообще впечатление таково, что наша цивилизация стала специалистом по поиску выходов из того или иного тупика. Сначала увлеченно создаются неразрешимые, казалось бы, противоречия, потом ценой диких усилий и гениальных открытий отыскивается едва ли не единственное решение... И вот теперь нечто аналогичное происходит с экспериментами отца. Потом, когда я стану взрослым, будут новые тупики и новые выходы... И что же такое история — цепочка тупиков и выходов? Космический лабиринт?

Вот сейчас неолуддиты пугают мир терроризмом эволюционным. Говорят, что всех людей с непрогрессирующим мозгом загоняют в специальные хомопарки — нечто среднее между зоопарками и старинными южно-африканскими резервациями... Есть ли здесь доля правды? И в том, что угроза хомопарков — следствие программы реконструкции биосферы? И вообще, не является ли всякий остроумный выход из предыдущего тупика толчком к новым сложностям, к еще более хитрым разветвлениям лабиринта?..

Этого еще не хватало, встрепенулся Тим, похоже мне мерещатся голоса... Точнее, мамин голос. Но это ерунда — мама возится со своей очередной композицией, и ей нет дела до реального мира. Вечером она непременно спросит меня: „Тимушка, когда же ты сделаешь свой реферат?“ А в глазах ее все еще будут мерцать отсветы ее последней композиции, и, в общем-то, плевать ей на этих луддитов... Но тут в игру вступит папа, и мне придется держать ответ. Да, надо пошевеливаться...

Тонкий ноющий звук ворвался в надозерное пространство, проткнул его длинной вибрирующей иглой. Тим рассеянно огляделся и стал стряхивать песок с одежды. Вдали над озером показалась серебристо-голубая капсула, и Тим внезапно ощутил приступ страха.

Смешно, подумал он, я, как маленький, пугаюсь обычной аэрокапсулы. Будто из нее выскочат сейчас какие-то инопланетные пришельцы с паучьими ухватками. А было бы здорово...

Капсула заложила резкий вираж и рванулась к берегу. И тут события замелькали перед перепуганным Тимом, как цветные многоугольники в обезумевшем калейдоскопе. Из кабины мгновенно выскочили трое рослых мужчин в черных облегающих комбинезонах и в таких же масках...

Это сон по мотивам старинной романтической фантастики, успел подумать Тим, дурацкий сон с похищением или даже убийством, ...а ведь они и вправду могут убить, они такие черные и целеустремленные...

Тиму чем-то пахучим зажали нос — он и не пискнул. Только успел услышать в последний момент быстро расплывающееся мамино: „Тим! Ти-мочка!..“

2

Комиссар ПСБ (планетарной службы безопасности) уже битый час пытался вытянуть из Анны сколь-нибудь связные показания. Она валялась на подушках в углу гостиной ясеневского коттеджа с забинтованной левой кистью и кусочком пластыря на щеке. И самые подробные сведения, которые удалось получить Комиссару, были таковы:

— На Тима напала гигантская голубая пчела, втянула его и унесла, и нет моего Тима...

— Постарайтесь вспомнить, — упорствовал Комиссар, — на что была похожа эта пчела? Может, вы успели заметить номерной знак на борту? Давайте уточним цифры...

— Цифры предали нас всех и похитили Тима, — пробормотала Анна, и глаза ее вновь стали темнеть, наполняться безразличием. — Три ожившие черные цифры завладели моим мальчиком, понимаете?

— Отцепитесь от нее, Комиссар, — вступился Грегори. — Вы же видите...

— Вижу, что вы мешаете мне сосредоточиться, — обрезал его Комиссар и, немного смягчаясь, добавил. — Успокойтесь, пожалуйста.

— Мой покой — это единственное, что вас заботит? — с вызовом спросил Грегори. — Посмотрите на этого философа, — продолжил он, указывая пальцем на Ясенева, понуро застрявшего в проеме окна, — посмотрите! Еще час назад он не хотел подписывать разоблачающие материалы на старикашку Жана. А теперь вы тянете жилы из несчастной Анны, занимаетесь черт знает чем, вместо реальных действий, простых и очевидных...

— Очевидных? — удивленно переспросил Комиссар.

— Разумеется! — выкрикнул Вит Крутогоров. — Стив сразу же попытался объяснить вам ситуацию, но вы не слишком внимательно его слушали. Нодье вышел на связь и предложил перемирие, а тем временем его люди...

— Да откуда вы все это знаете? — перебил его Комиссар. — Вы все и всегда знаете наверняка — куда идти цивилизации и что делать нашей ПСБ... С чего вы взяли, что здесь замешаны люди Жана Нодье?

— Ребята имеют в виду простую вещь, Комиссар, — тихо сказал Ясумото. — Они рассуждают по принципу заинтересованности. Хотя лично я не слишком уверен...

— Мне плевать на их рассуждения, — твердо произнес Комиссар. — Но фактов у нас кот наплакал — вот в чем я действительно уверен!

— Мне бы вашу уверенность хоть в чем-то, — вздохнул Фуэнтес.

А Радж Махагупта, по традиции, промолчал, промолчал, хотя внутренне сотрясаясь от злости и отчаяния.

„До чего же далек этот мир от наших с Игорем схем, — думал Радж, прикрыв глаза. — Кто-то занес меч над нашим делом, и этот меч способен в любой момент обрушиться на голову мальчишки. И возможно, он уже снес одну талантливую женскую головку... Вот так — время философствовать и время братья за оружие...“

— ...и, как вы видели, все наши силы брошены на поиск Тима Ясенева, — говорил с экрана человек с красным треугольником на рукаве, знаком ПСБ. — Еще раз всмотритесь в портреты мальчика, — продолжил он, и на экране замелькали многочисленные изображения Тима, — он может появиться в самом неожиданном месте... Наша служба еще раз предупреждает: ни в коем случае не предпринимайте активных действий против его сопровождающих — это опасно для мальчика и для вас. Террористы, несомненно, вооружены и готовы отразить нападение. Немедленно свяжитесь с нами по своему индиканалу...

— Сволочи! — убежденно сказал Тэд Нгамбе, наблюдавший за событиями на экране со своего постоянного места в баре „Счастливы шанс“

— Да, засуетились треугольнички, — кивнул сосед по столику, давний его друг Славчо Милов.

— Жаль парнишку, — вздохнул третий приятель, Свен Олафссон. — Здорово этот Нодье Ясенева подцепил...

— Думаешь, он? — спросил Славчо.

— Кто ж еще? Я давно говорил, что на этих ученых смиренные рубашки натягивать пора.

— Какие сволочи! — повторил Тэд Нгамбе, поворачиваясь к экрану спиною. — Ничего святого! Попадись они мне...

— Ты кого имеешь в виду? — спросил Свен.

— Как кого! — воскликнул Нгамбе и ударил кулаком по столу. — Попадись мне этот чертообразный Нодье, я вмиг размазал бы его по стенке!

— Ты бы размазал, — добродушно ухмыляясь, протянул Славчо. — Только я вовсе не уверен, что старикашка Жан занялся столь опасным делом...

— А по-моему, Свен прав, — произнес Нгамбе, — эти ученые на все готовы пойти ради своих автоматических игрушек...

— Вот тебя-то я как раз не понимаю, — перебил его Олафссон, — хоть убей, не понимаю, как можно быть отличным наладчиком робототехники и одновременно — противником ускоренного прогресса. Сидишь себе дома, три часа дремлешь перед экраном, потом свободен, как птица... Чего тебе не хватает?

— Роботы усыпляют нашу бдительность, вот что я скажу, — загорячился Тэд. — Они перехватили все производственные операции, они успешно планируют их и сами себя обслуживают. За три года работы наладчиком мне ни разу — ты понял, ни разу! — не пришлось лезть в схемы с инструментом в руках. Вызовы в цех — просто традиция, к моему появлению все сбой

уже устранены, и я смываюсь домой с вечно праздным настроением. Корректировочные системы делают все за меня, а программирует их мощный самоналаживающийся компьютер — опять я ни при чем. Впечатление таково, что и без моего контроля все шло бы столь же четко и гладко. А теперь роботы перехватывают и творческие функции. Вскоре лишними станут не только наладчики, но и сами ученые — вот что такое эвроматы, вот что такое программа Ясенева...

— Ну, это я не раз слышал, — усмехнулся Свен. — Ты слишком правоверный неолуддит, дружище, ты воспринял все их лозунги, как будто лозунги и есть реальный мир.

— Да, я убежденный неолуддит, — азартно перебил его Тэд. — И не скрываю этого. Но я неолуддит потому, что отлично знаю возможности роботов. У нас нет ни одного шанса в борьбе с ними. По сути, мы уже не способны их контролировать. Мы живем лишь с иллюзией контроля, а если управляющие компьютеры дополнятся эвроматами, мы вообще не сможем ни во что вмешиваться. Эти мозговитые железяки будут лучше нас знать, чего мы хотим и как удовлетворять любые, якобы наши, желания. Возможно, эти самые суперсапы Нодье еще сумеют стать партнерами эвроматов, но только не мы. И мне кажется, Свен, именно тебе следовало бы стать активистом и призывать к ограничению эволюции роботов... Поэтому что ты и сейчас в ауте!

— Положим, обидеть меня ты не сумеешь, — спокойно ответил Свен, однако взгляд его потемнел. — Я действительно до сих пор не выбрал себе дело по душе и боюсь, что мне нелегко будет влиться в этот мир. Так уж вышло... Мне не нравятся все эти попытки вылезти из собственной шкуры, чтобы мгновенно поумнеть. Умнеть надо постепенно, без понуканий... Но я вот думаю, а как бы мы кормились, во что бы одевались, о чем пели бы свои песни, если бы не роботы? Мы все — десять миллиардов...

— Ты клубок противоречий, Свен, — наконец-то улыбнулся Тэд. — То ты предлагаешь натянуть на ученых смиренные рубашки, то говоришь точь-в-точь, как этот официальный канал. И разве можно ускорять прогресс, похищая мальчишек?

— А я все-таки не уверен, что тут виноват Нодье, — сказал Славчо. — Для старикашки Жана это слишком рискованно.

— Кто же еще мог устроить такую пакость? — спросил Тэд.

— А я вот думаю, не выгодно ли это твоим неолуддитам, а? — все так же добродушно ухмыляясь, заявил Славчо. — Я бы на их месте...

— Ты что, совсем сдурел? — выкрикнул Нгамбе, вскакивая и хватая Мирову за рубашку. — Да я тебе голову оторву!

— Ребята, успокойтесь, — вступился Свен и легким захватом отвел руку Тэда. — Глядя на тебя, Тэд, хочется податься в суперсапы. Говорят, у них усилены контрольно-корректировочные функции мозга.

— Так какого дьявола этот болтун валит вину на неолуддитов, — заворчал Нгамбе, усаживаясь на место. — Мы не занимаемся террором. То, что сказал Славчо, невообразима чушь!

– Я вправе говорить все, что мне вздумается, понял? – с обидой, хотя и довольно флегматично произнес Мирон. – В компании наладчика и бездельника слова нельзя вымолвить...

– Ладно, не сердись, – совсем успокаиваясь, начал Тэд. – Завтра я отвезу вас обоих в одно уютное местечко и покажу, чем на самом деле занимаются эти страшные неолуддиты. А когда разоблачат старикашку Жана, ты, Славчо, будешь угощать нас целую неделю. Согласен?

– По рукам, – буркнул Славчо. – Но если прав окажусь я, тебе несдобровать. Ты будешь ежедневно ставить нам бочку стимула...

– Идет, – заулыбался Тэд. – Считаю, что ты проиграл!

Первое ощущение – темная тягучая пустота, оглушающе бессмысленная, лишаящая даже надежды на самоотожествление. В этой пустоте медленно стало вырисовываться нечто временнообразное, внутренне определяющее ход событий, точнее – лишь слабо подталкивающее к определению.

Потом как-то сразу сдвинулись мировые часы, разделяя прошлое и настоящее, и в прошлом возникло лесное озеро в солнечных бликах, пронзительный звук, превратившийся в капсулу, в распахнутую пасть кабины, в три черные фигуры, в одуряющий запах, мгновенно поглотивший озеро, солнце и совсем уже близкий мамин крик: „Тим! Ти-имочка!..“

Говорят, перед смертью многие слышат мамин голос, подумал Тим и очень удивился своей способности думать. Если я могу что-то вспоминать и размышлять об этом, я жив. А раз так, надо разобраться – где я, как я сюда попал? И на чем я лежу? Нечто вязкое и мягкое, руки не оторвать, не на что опереться – ни прыгнуть, ни вскочить...

Тим заставил себя обогнуть странное помещение и убедился, что нет здесь даже намека на окна, дверь или какой-либо иной выход. Тим закричал, но крик его тут же сглотнули стены, судя по всему, столь же вязкие и мягкие, как и пол.

В такой уютной норке можно запросто сойти с ума, думал он, это прекрасная могила для заживо похороненных, так делали в старину, замуровывая жертву в стену.

Тим на мгновение представил себе, как эта мягкая нора начинает сжиматься, облегает его, выдавливая отсюда воздух, потом становится комковатой и рассыпчатой, забивает уши, глаза, нос и сквозь губы, разжатые в поисках последнего глотка воздуха, проникает в горло и душит, душит, душит...

И он снова закричал, выжал из себя невероятной силы вопль, но эти стены питались человеческими криками, добрели и пухли от их обилия, делаясь еще более мягкими и вязко-лоснящимися...

Меня проглотил огромный, случайно оживший динозавр, мелькнуло у Тима, сейчас сюда брызнет струя отвратительного желудочного сока, и меня будут долго и с удовольствием переваривать.

И сознание снова стало ускользать от Тима, предательски покидая его тело, разметавшееся в темной и оглушительно бессмысленной пустоте.

Капсула ПСБ шла над лесом в сторону Эвроцентра.

„Ничего более нелепого и вообразить нельзя, — думал Комиссар, прикрыв глаза и пытаясь отвлечься от монолога своего добровольного помощника Стива Грегори. — Такое дело и как раз тогда, когда я решил подать рапорт о годовичном отпуске. Я до смерти устал от всей этой кутерьмы. Мир меняется слишком быстро, и слишком многое из того, чему меня учили в молодости, никому теперь не нужно. И закон стал гибким, подвижным, каким-то зыбким, что-ли... Ежегодные компьютерные корректировки сбивают с толку. Оно вроде и правильно, но таким, как я, вовсе не легчает от такой правильности. Все очень уж быстро умнеют, и я перестаю порой понимать свою роль в процветающем царствии умников. И еще этот Грегори без устали учит меня жить...”

— ...и вы после года тщательного расследования поднесете как великое открытие то, что очевидно всякому нормальному человеку в первые минуты после преступления, — продолжал Грегори свой монолог. — Ну скажите, кому выгодно вывести из игры Ясенева?

— Мне! — с вызывающей улыбкой сказал Комиссар.

— Вам! — поразился Грегори. — Вы что, шутите?

— Да-да, — бодро подтвердил Комиссар, — именно мне! Вообразите, Стив, что мне хочется вывести из игры вашего шефа, а заодно и Нодье. Допустите на момент, что я не желаю, чтобы ваш дурацкий эвромат со временем заместил живых сыщиков, а суперсапы мне тоже не по душе: почему мои внуки должны улучшать свой мозг и потом стыдиться своего деда, вспоминать о нем, как о добродушной говорящей обезьяне?

— Самое время для шуток... — недовольно пробурчал Грегори.

— Я понимаю: время шутить, и время глотать слезы... — снова улыбнулся Комиссар. — Но дело в том, Стив, что шутки и плач здорово перемешаны в нашем мире. Не теряйте чувство юмора...

Тихий зуммер индиканала прервал разговор. На наручном экране Комиссара появилось лицо Президента Большого Совета.

— Я же просил держать меня в курсе, — сказал Президент. — Где вы?

— Летим в Эвроцентр, — ответил Комиссар. — Тут один из людей Ясенева хочет показать мне материалы, которых якобы боялся Нодье...

— Не знаю, чего там боялся старина Жан, — резко перебил его Президент, — но теперь все боятся его, это уж точно. Многие убеждены, что это его работа — его людей или сверхлюдей... В общем, по текущей координации общественного мнения, около 80% просигналивших — против него... Со времен дела Кроля у нас не было столь напряженного положения.

„Понятно, — подумал Комиссар. — Издержки нынешней сверхдемократии — каждый из миллиона случайно выбранных дилетантов передает в Центр общественного мнения едва ли не первое, что приходит в голову... Счастье еще, что это скопище самодеятельных детективов не выносит приговоры...”

— Все так, — сказал Комиссар, — но вспомните, с каких пор мы не сталкивались с похищениями. И еще — я очень хорошо знаю, чем завершилось дело Кроля...

– Вы намекаете, что против Нодье развернута провокация? – раздраженно спросил Президент. – У вас факты или одни догадки?

– Догадки против догадок, – спокойно ответил Комиссар. – Представьте, что Ясенев или кто-то из его окружения решил свести счеты с Нодье. Они прячут Тима в уютное место, становятся в позу обиженных, и Совет...

И тут произошло нечто в высшей степени неожиданное – Грегори бросился на Комиссара, схватил за куртку и рванул на себя. Комиссар качнулся, но в тот же миг его правая рука, странно изогнувшись, слегка хлопнула Стива пониже уха. Грегори вздрогнул и сполз с сидения.

– Простите, – сказал Комиссар, – тут мой попутчик пытался подсказать мне пару фактов в пользу моей последней версии...

– Как бы ни вели себя ваши попутчики, – усмехнулся Президент, – мальчишку надо немедленно найти. Любой ценой!

„Знаю я эту любую цену, – подумал Комиссар, – она любая, пока дело не сделано, а потом всегда оказывается чрезмерной, почти всегда – чрезмерной...“

Тим выпал из темноты мгновенно, выпал в яркое пространство огромной комнаты. Его вязкое и звуконепроницаемое логово оказалось самой обыкновенной нишей, и когда подвижная перегородка отъехала, Тима затопил поток света. Он протер глаза, и все – разговор с отцом, озеро, похищение – как-то сразу уложилось в свой естественный ряд, образовав четкий и надежный каркас недавнего прошлого. В дальнем углу комнаты Тим заметил высокого, приветливо улыбающегося человека.

– Как ты себя чувствуешь, парень? – спросил человек, раскачиваясь с носков на пятки. – Давай знакомиться. Я твой спаситель.

– Это вы меня утащили?

– Утащил? – неподдельно удивился человек, делая несколько шагов в сторону Тима. – Не утащил, а спас, и ты всю жизнь будешь благодарить меня за мои добровольные хлопоты. И не ты один...

– Немедленно отпустите меня, – повысил голос Тим, скатываясь с вязкой обивки на долгожданный твердый пол и с огромным удовольствием становясь на ноги. – Вы похититель, таких преступников было много в прошлом веке. Они крали детей и требовали миллион выкупа у их родителей...

– У твоих родителей нет миллиона, – перебил его человек. – Да и кому теперь нужен этот миллион? Теперь иные ценности, малыш...

Тим кусал губы и готов был броситься в драку. „Надо сдержаться, – думал он, – непременно сдержаться, иначе я никогда не выйду отсюда, меня запросто удавят в этой вязкой камере...“

– По-моему, ты все уже понял, дружок, – продолжал человек, даже не пытаясь отвести глаза от раскаленного взгляда Тима. – И не пытайся испепелить меня – я не боюсь ни тебя, ни всей ПСБ...

– Сейчас преступления раскрывают мгновенно, – не слишком уверенно сказал Тим.

– Но мы добиваемся своего еще мгновенней! В этом все дело. И вот тебе первый дружеский урок – никогда не пользуйся чужими бирочками, особенно в серьезных делах. Обдумывай все по-своему. А то сразу – преступник, преступление... Настоящие преступления делаются там, за стенами, под прикрытием законов и великой демагогии. Так-то, Тим...

– Пожалуй, хватит, – сказал Комиссар, устало потирая виски.

Грегори отключил настенный экран. Он все еще был бледен и бросал на гостя отнюдь не ласковые взгляды.

– Послушайте, Стив, – вздохнул Комиссар, – на моей физиономии семь полезных отверстий, и лично мне вполне этого хватает. И не пытайтесь продырявить меня дополнительно своими кровожадными взорами.

– Но вы же выдвинули мерзкую гипотезу...

– Мерзкую? Может быть... Но в ваших материалах нет ничего, указывающего на Нодье. Кстати, что плохого вы усматриваете в развитии мозговой надкорки? Или в третьей сигнальной системе?

– Для суперсапов оно, конечно, неплохо, – через силу ухмыльнулся Грегори. – Вопрос в том, каково это для нас. Вы понимаете, что такое гиперментальные функции?

– Что-то вроде сверхмышления, да?

– Вот именно! Возникает качество, которое уже нельзя свести к разуму, которое, грубо говоря, относится к обычному человеческому мышлению так, как самое оно относится к адапционным комплексам высших животных. Иными словами, если над зародышевой клеткой вашего внука поколдует Жан Нодье, вы останетесь от наследника на целую ступеньку эволюционной лестницы...

– Конечно, я многого здесь не понимаю, – после некоторого раздумья произнес Комиссар, – и мне вовсе не хотелось бы сыграть роль дедушки-обезьяны... Но стоило бы спросить еще и внука. Вдруг его жизнь окажется много счастливей, стань он этим самым суперсапом. Может, он увидит такое, чего нам с вами ни за что не понять и даже не увидеть. Откровенно говоря, я и сам бы не прочь полюбоваться на мир сквозь третье полушарие, хотя бы денек... Дурацкое название, правда?

– Надкорку называют третьим полушарием лишь в шутку, – начал Грегори, потихоньку входя в азарт. – Но штука эта вовсе не шуточная! У Нодье впервые сотворяется существо много сложнее своего творца, и, дав жизнь новому виду людей, мы вообще ни на что не можем рассчитывать всерьез. Суперсапам будет просто наплевать на наши цели и надежды, рано или поздно они начнут действовать так, что мы их не поймем, и тогда уже поздно будет бить тревогу. Суперсапы – самое остроумное оружие по уничтожению хомо сапиенс и его цивилизации. Они отберут – добровольно или насильно – наше лидерство, и на Земле произойдет адский взрыв...

– Похоже, все это голые эмоции, – усмехнулся Комиссар. – Просто вы сами слишком остро переживаете свою оторванность от суперсапов...

- Неужели вы всерьез сводите проблему к моей видовой зависти?
- Я ни к чему не свожу проблему. Это она, эта самая проблема, сводит вас с ума. А скажите – разве ваши эвросапы менее опасны?
- Эвросапы? – удивился Грегори.
- Их можно назвать так или по-иному, но симбиоз человека с эвроматом в вашей программе практически неизбежен. Я правильно понимаю?
- Отчасти! – горячо заговорил Грегори. – Понимаете верно, но лишь отчасти. Эвромат заметно усилит логические функции человека, но оставит его человеком... В эмоциональном плане!
- Вы полагаете, что эмоциональный мир суперсапов обнищает из-за того, что они отрицательно реагируют на физическое насилие? Неужели без стрельбы и мордобоя нам станет хуже?
- Не знаю, – ответил Грегори. – Наверное, человек станет лучше, но что-то уйдет. Люди будут сдержанней, и мой внук не бросится на комиссара ПСБ, защищая честь своего учителя...
- И не получит по шее, – поддразнил его Комиссар, – и не станет с кобейской непосредственностью толкать следствие по ложному пути...

Вот и я побывала там, высокопарно выражаясь, за гранью разума, думала Анна, и там нет ничего страшного, просто иной мир, параллельный нашему, почти параллельный, почти без точек пересечения... А здесь, в общепринятой реальности, мне страшней, намного страшней. Именно страх гонит нас иногда в параллельные Вселенные, те, чьи законы еще позволяют нам существовать. И не так уж важно, что эти иные законы меняют местами фантомы и реалии, главное – они помогают нам выжить...

Пройдет сколько-то лет, и на планете в самом деле все перепутается. Если маленький бихевиор-эвромат – кажется, так называет его Игорь, – если эта милая игрушка обретет полноценную сенсорную систему и возможность дистанционного воздействия на окружающую среду – тогда что? Мы создадим параллельную цивилизацию, а потом сотни лет будем исследовать возможности контакта с ней, словно с инопланетянами...

Да о чем же я думаю? Я как бы специально сговорила сама с собой и боюсь вспоминать о Тиме – это граница, рубеж, на котором не удастся слишком долго балансировать, который легко дает шанс оказаться по ту сторону... А мне туда нельзя, мне просто некогда шлаться по всем этим обезболивающим параллельным мирам. Мне надо быть здесь, в том единственном мире, где исчез мой мальчик, где сейчас его наверняка мучают. А встать и броситься на поиск невозможно, все силы покинули меня, и только какая-то страшная внутренняя сила по имени слабость прижимает меня к этим подушкам, заставляет пассивно и бесцельно ждать событий, а значит, снова и снова уходить в инобытие...

Лет двести назад я покалялась бы, я бы возопила: не карай меня, Господи! Не карай меня, глупую, за дерзость мою, ибо согрешила я пред тобой и пред тварями твоими, воспарила в гордыне непомерно к тайному замыслу, коим тщилась облагодетельствовать свой род и себя добыть толику прославления. Я мыслила подарить людям бессмертие, мыслила ожи-

вить свои фантомы, сделать их не мертвыми слепками покойников, но подлинными людьми, способными воспринимать мир и по-своему реагировать на него, желала превратить древнюю урну с прахом в живую и мыслящую голограмму, ибо не могла перенести утрату отца своего, ибо воспарила мечтой, чтобы образ близкого никогда не испарялся, а жил в моем доме, жил, впитывая все новое, и мог прийти ко мне в любой момент и дать совет, и поддержать, и помочь выплакаться, как в детстве, когда большая и теплая отцовская рука так волшебным образом превращала слезы в улыбку, так щедро дарила успокоение и радость...

Я покалась бы, но некому каяться, и отца уже нет — ни реального, ни фантомного, а есть собственный скрежет зубный и стремление встать, и против него, простого стремления — могучая внутренняя сила, именуемая слабостью...

— У меня есть немного времени, Тим, — сказал человек. — Посидим, пообщаемся... Я расскажу тебе интересные вещи.

— Но потом вы отпустите меня? — спросил Тим без особой надежды.

— Это будет зависеть от нашего взаимопонимания, дружок. Ты ведь очень понятливый парень, и ты уже догадался, что зря в гости не затаскивают, тем более — насильно. Ты действительно очень мне нужен. А меня зовут Зэтом. Я просто Зэт, и точка. Потом ты поймешь, что это самое подходящее имя для человека, потерявшего все...

„Он не так уж смахивает на человека, потерявшего все, — подумал Тим. — Я не удивлюсь, если эта комната окажется в подвале его личного старинного замка. Прямо пародия в стиле ретро-примитив, хотя и не слишком смешная...“

— Когда-то у меня было вполне добропорядочное и даже более или менее известное имя, — продолжал Зэт. — Когда-то, Тим, я работал вместе с твоим отцом, можно сказать, это мы с ним начинали программу эволюции нашей цивилизации. Скажу сразу: Игорь Ясенов был подлинным лидером в нашем тандеме. Не хочу, чтобы у тебя мелькнула хоть тень подозрения — дескать, он украл у меня пару отличных идей, а я вот решил отомстить его сыну. Игорь сам сверхщедрым раздаривал идеи, и я за многое ему благодарен...

„У тебя очень уж самобытные представления о благодарности, — подумал Тим, — ты умеешь воздавать сторицей...“

— Мы славно работали с твоим отцом, и мне приходилось довольно часто включаться в экспериментальные эвросистемы, чаще других... Ты вообще-то знаешь, что такое эвромат?

Тим неопределенно пожал плечами и решил промолчать.

— О, малыш! Эвромат — это чудо. Хотя чудо весьма простое, как и все чудеса на свете. Это сверхъёмкий сверхскоростной компьютер, которому доступны целостные оценки ситуации. В него введены определенные исходные принципы отбора, а он способен иерархически организовывать информацию, хранящуюся в его памяти, и потому обладает высокой обучаемостью и данными для работы по многим тысячам параллельных каналов,

то есть всеми преимуществами, характерными для интеллектронов. Но, кроме того, эвромату разрешено выстраивать собственную систему ценностного отбора. Иными словами, ему открыт путь к творчеству. Эвромат впитывает и перерабатывает огромный культурный фонд, практически недоступный по объему и тем более по уровню усвоения одному человеку и даже небольшому коллективу специалистов. Поэтому он способен с невероятной скоростью пройти по полю аналогий и смоделировать круг явлений — из-за этого его сначала и называли интеллектронным аналогизатором. Он умеет отыскивать удивительно далекие аналогии, обосновывать их и развивать, то есть доводить простенькую исходную модель до уровня весьма развитой теории, причем на каждом шаге обобщений он заботится о стыковке с другими областями исследований. А это порождает множество новых задач, иногда их число нарастает лавинообразно... Я понятно говорю?

Тим слегка кивнул головой и подумал, что отец умел подбирать увлеченных единомышленников.

— Мы очень быстро сообразили, что эвросистемы ведут к полнейшей перестройке интеллектуальной деятельности. У нас на глазах появлялись не просто хитроумные роботы, а существа, умеющие формировать и проводить в жизнь собственные программы. И вот тогда, почти десять лет назад, мы впервые столкнулись с результатами известного тебе Нодье и осознали границы собственных возможностей. Ведь по исходному проекту, эвроматы были все-таки ограничены нашей, человеческой системой ценностей — что же еще могли мы вогнать в программу их конструирования, чем еще ограничить коридор их изменчивости? Но Жан Нодье вывел проблему в иное измерение. Он заговорил о новом человеке, о человеке сверхразумном, у которого происходит сдвиг генетического материала примерно на один процент, но этот человек отрывается от обычного сапиенса почти так же, как сапиенс оторвался от шимпанзе или гориллы. Развивается, скажем, надкорковая область мозга — гиперкортекс, развивается третья сигнальная система — обмен фантакодом, что-то вроде прямого внушения, понимаешь?

Тим снова кивнул, хотя очень слабо представлял себе знаменитую фантастическую связь — о ней много говорили, но пока вряд ли большинство говорящих проникло в ее суть.

— Думаю, ты не так уж мало слышал о суперсапах, но я хочу подчеркнуть главное, — с той же увлеченностью продолжал Зэт. — У этих сверхумников должны развиваться особые, недоступные нашему пониманию цели. И вот представь себе, что суперсапы вышли бы на наши эвросистемы... Они задали бы новый уровень целей и ценностей, и эвроматы утратили бы человеческий масштаб, лишились бы соизмеримости с нашим бытием. Короче говоря, идеи Нодье в какой-то степени предопределили будущую роль сапиенса, человека вообще — непрерывно за собственный горизонт, за красную черту обозримого будущего, непрерывно усложнять себя, чтобы удержать лидерство в конкуренции с эвроматами...

– Но если так, – перебил Тим, – то между программами Нодье и моего отца не было противоречий.

– Ты слабо представляешь себе суть их противостояния, – спокойно сказал Зэт. – Впрочем, эту суть мало кто улавливает...

Жан Нодье сидел в своем парижском кабинете, прикрыв лицо ладонями и полностью отключившись от внешнего мира. Его слегка подташнивало, и мысли одна хуже другой раскалывали голову.

„Мне следовало давно выскочить из этой игры, в сущности, уже непобедимой, – думал он. – Будущее прекрасно достроят и без меня. Вот забавный поворот нашего бытия – новый день и даже новый век запросто наступает без любого из нас. Но в каждом сидит родительский комплекс – врожденное стремление программировать наступающее время, метить его своим идейным кодом, и мы ломаем копыя и проламываем друг другу черепа ради того, чтобы завтрашний день выглядел хоть чуточку по-нашему...“

В кабинет незаметно проскользнула Мари, секретарь Нодье, проскользнула и попыталась привлечь внимание слабым покашливанием.

– Трудно оставить меня в покое? – желчно спросил Нодье, не меняя позы.

– Только что для вас передали кассету, – смущенно сообщила Мари. – Просили немедленно доставить ее в ваш кабинет. Было сказано, что она исключительно важна в связи с ближайшим заседанием Большого Совета...

– Ерунда какая-то! – раздраженно произнес Нодье, отрывая руки от лица и мгновенно просверливая Мари своим легендарным взглядом. – Кто передал? Кто просил? Кем было сказано?

– Кассету доставил курьер из спецбюро, он же передал словесное сообщение, – обиженно ответила Мари. – Разумеется, он сразу же ушел, не назвав своего заказчика. Значит, кассета анонимна, и ответ не нужен...

– Если бы, – вздохнул Нодье, – если бы ответ был не нужен...

Мари тут же удалилась, и он сунул кассету в щель воспроизводителя. Однако большой настенный экран остался пустым, лишь голос, резкий и требовательный, заполнил кабинет:

– Я – Зэт. У меня давно уже нет ни своего имени, ни своего лица, но важно не это. Важно то, что я против ваших суперсапов, и я, хомо сапиенс без лица и имени, не допущу их царствия на Земле. Уходите с ними на трансплутоновую станцию, к дальним звездам, хоть к чертям на рога, но уберите их с нашей маленькой тесной планеты. У вас нет выхода, Нодье. Через несколько часов вам предъявят официальное обвинение в похищении мальчишки, и, поверьте, найдутся неопровержимые улики вашего участия в этом деле. Например, на территории одного из ваших филиалов обнаружится труп Тима Ясенева... Я даю вам единственный шанс – вы направите ко мне суперсапа Лямбда со всеми результатами разработки его серии, а сами уйдете на отдых. Разумеется, сначала вы доложите Большому Совету, что весь ваш замысел модификации человека катастрофически опасен. Лучше уйти на отдых, чем в пожизненный и посмертный позор, не

так ли, Нодье? Ровно через минуту после того, как кассета прекратит свое существование, вы должны подойти к окну вашего кабинета и поднять правую руку — это знак вашего согласия. Тогда я пришлю вам инструкцию о порядке передачи суперсапы, а ответственность за похищение мальчишки возьму на себя. У вас нет выбора! Не делайте глупостей, Нодье, идите к окну!

Щелчок, и кассета мгновенно вспыхнула и испепелилась.

„Взрывной автомат, — сообразил Нодье, затравленно оглядываясь. — Окажись заряд чуть мощнее, я тоже был бы мертв, как и этот сгоревший голос. Волны прогресса подступают к самому горлу, мы вот-вот захлебнемся ими...“

3

Мертвый ночной сон придал Анне силы, и наутро она сумела потихоньку добраться до озера.

Это только в милых старых сказках можно было метнуться за тридевять земель, думала она, перешагнуть горы и леса и с помощью доброй птички отыскать кощеево логово. Нынешние добрые птички слишком просты для этого мира, а значит, логово останется неопознанным. Поэтому я буду вглядываться в стелющийся туман и представлять себе Тима и наговорюсь с ним вволю. Он любил поговорить со мной, мой мальчик...

Вот и теперь он проступает в полосах серого тумана и о чем-то увлеченно рассказывает, и мне некуда торопиться, наконец-то я выслушаю его, не убегая в свое вечное „некогда“, в „некогда“, которое так легко перерастает в убийственное „никогда“... Нет, оно еще не переросло, я чувствую. Тимушка жив и находится в каком-то подземелье. Да и где еще могли бы скрывать моего Тима — в страшной сказке всегда должно быть подземелье и злой колдун... Но, по-моему, пока Тимушка никого не боится. Он взахлеб делится со мной своими планами...

Все сбудется, Тимушка, все непременно сбудется, и ты найдешь в истории то, что хочешь найти, только не потеряйся сам на крутом ее витке, не потеряйся навсегда, сынок... И не исчезай, это туман уходит, но ему надо куда-то уходить — тут простой закон природы, но ты не исчезай...

И все-таки ты ускользнул, Тимушка. А твой папа забыл обо мне, и он прав — грош цена матери, которая средь бела дня теряет своих сыновей и все еще жива и созерцает это утро и это озеро...

— Такова жизнь, Тим, — сказал Зэт, — иногда лишь небольшая разница во взглядах далеко разводит людей. Нодье полагал, что его суперсапы должны быть поставлены на поток прежде, чем будут развернуты общедоступные эвроцентры. Чтобы эти сверхумники сразу же получили в руки готовые эвроматы, понимаешь? Тогда, считает Нодье, переход должен пройти более гладко, суперсапы на долгое время попадут в рамки нашего уровня планирования. А твой отец уверен, что все должно идти наоборот —

именно опережающее развитие эвросистем, доступ к которым будет разрешен пока только обычным людям, позволит немного скомпенсировать нашу отсталость, позволит обеспечить сравнительно гладкий переход к новому человеку...

„Это я и так немного представлял, — подумал Тим. — Но чего он, собственно, от меня хочет?“

— А вы сами? — спросил он вслух. — Какова была ваша позиция?

— Я сам? — словно бы удивился Зэт. — Разумеется, до поры я целиком поддерживал позицию Ясенева. Просветление наступило гораздо позднее, чем следовало бы. Оно наступило поздно и было оплачено непомерной ценой...

Зэт умолк, и лицо его сделалось скорбным. Тиму даже жаль его стало — должно быть, очень серьезные обстоятельства заставили этого человека изменить своим привязанностям и броситься в авантюры...

— Мне пришлось слишком часто включаться в эвросистемы и со временем я почувствовал, что становлюсь другим. Микрээвромат, который я десятки дней таскал с собой, начал творить со мной чудеса. Он действительно усиливал мышление, но кое-что он делал и сверх наших проектов, например, создавал мощное суггестивное поле, и во многих ситуациях это позволяло внушать окружающим что угодно. Спустя пару лет мне стало трудно расставаться с этой игрушкой, я сжился с ней не столько из-за возможности активного внушения, сколько благодаря метаморфозам, точнее — обратному действию метаморфоз на мою психику. Да-да, эвромат дал мне новые способности, будь они прокляты... Вот смотри.

И Зэт внезапно замерцал, превратился в изящного бедуина, в рыжебородого скандинава, потом в курчавого негра... Это было столь эффектно, что у Тима перехватило дыхание.

„Всего лишь внушение, но и настоящая сказка про Кота в Сапогах, — подумал Тим, немного приходя в себя. — Теперь я попрошу его сделаться мышкой и съем... Но самое смешное — не съем, я побрезгую мышкой, а следовательно — своим освобождением...“

— Одного этого достаточно, чтобы возненавидеть все наши замыслы, — продолжал Зэт, возвращаясь в исходный образ. — Я очень быстро отвык от себя, от всамделишного себя, я втянулся в метаморфозы, как наркоман прошлого — в курение травок, как современный наркофант — в круглосуточные фантпрограммы... От меня остался лишь символ человека, но дело не только в этом. Я постиг главное — Ясенева и Нодье надо немедленно остановить. Они подарили нам опасность, которую нельзя описать обычными логическими конструкциями, в борьбе с которой логика заведомо бессильна. К тому же, на пути к эвросистемам и суперсапам наверняка разбросаны непредсказуемые капканы, куда могут угодить миллиарды людей... И самое страшное — на всех нас обрушится ощущение собственной обреченности. Понимаешь, Тим, на кой дьявол нам будущее, где нет места ни нам, ни нашим — генетически нашим и только нашим — детям?

— Это лозунг неолуддитов, верно? — спросил Тим.

— Суть не в лозунгах, малыш, — усмехнулся Зэт. — Речь идет о реальной опасности. Мы лишимся работы раз и навсегда. Это не снилось Неду Лудду и его ноттингемским приятелям. Поэтому при всем моем уважении к твоему отцу, его следует остановить, и Нодье тоже. Человечество должно лишь исподволь готовиться к каким-то крайне медленным преобразованиям. Иначе дело завершится всемирным хомопарком. Представь себе огромные резервации на разных материках... Хочешь их увидеть?

Башка трещит от вчерашнего, думал Славчо Мирон, испытывая серьезные мучения. Просто не замечаешь этих поворотов под разговорчики о всемирных делах. Разве пропустишь больше одного-двух стаканчиков стима, болтая о девочках или о мелких служебных делах, — ни в жизнь! А вот когда речь заходит о глобальных проблемах — о-о! Тут душа словно распластывается в огромный ковер-самолет и зависает над планетой, и зрит корни всех событий лучше великих политиков. Столик „Счастливого шанса“ — превосходная обсерватория, а душа парит и парит, и ей много влаги потребно, распластавшейся в планетарных масштабах душе... Однако сверхполезный стимулятор активности, дружок стим, доводит до головной боли, едва ли не до старинного похмелья...

И вправду не пойму, чем все время недоволен Тэд. Вот Свен — совсем другое дело. Кричи он на всех перекрестках о ненависти к роботам — было бы ясно. Он уже больше года мыкается без дела. В старые времена он считался бы просто безработным, а нынче числится в выбирающих. Неплохая позиция — думай себе о том, о сем, посиживай в баре и между делом выбирай себе дело. Чем не каламбур — между делом выбирай себе дело... Весьма гуманный вариант, а на характер Свена — прямо идеальный. Меня мутит от одной только мысли, что надо было бы ежемесячно являться в Управление Труда и докладывать, что я еще размышляю. Великий философ, да и только! А Свен так лихо научился это делать, что ему еще и соболезнуют, им и отдел социальной адаптации особо занимается, подыскивает ему такие должности, что слюнки текут. Ему даже смотрителем заповедника предлагали — разве бывает что-нибудь лучше! — а он и тут ухитрился пасмурно повесить нос и изобразить натуральную обиду. Да я бы на плечи инспектору запрыгнул от радости, посули он мне что-нибудь такое. Но ведь никто не предлагает...

Факт есть факт — за мной числится почти стопроцентный уровень адаптации, как, скажем, и за Тэдом. И мы мало кого волнуем, хотя Тэд подался в неолуддиты, а я, черт побери, слишком часто сую нос в этот самый „Счастливый шанс“ Все очень просто — современные тестовые машины ничего не стоит обмануть, достаточно быть немного сдержанным, не требовать каких-то изменений, и они оценят тебя как полностью адаптированную личность, и, между прочим, все будут довольны — возни меньше. Говорят, эвроматы могут здорово изменить это положение — от них не скроешься за умело выстроенными „да-нет“, они снимут эти самые, психограммы, в общем, вывернут наизнанку, и сразу станет ясно, каково твое

истинное отклонение от абсолютно счастливой среднестатистической единицы. И тебя начнут непонятными тебе хитрыми средствами загонять в предписанный коридор отклонений. Забавно!

И вот ведь странная штука – чем сильнее будут эти эвроматы, тем больше отклонений они станут регистрировать. Какая там адаптация, если машины потихоньку отбирают у тебя возможность думать и выбирать! Тут хоть бунтуй, хоть плюй на все! Пожалуй, кое-кто пойдет всерьез ломать интеллектронику, не дожидаясь новых мозгов, обещанных этим самым Нодье...

Да, похоже, спокойная жизнь завершается, думал Миров, с тоской поглядывая на экран, включенный в рабочий канал. Счастливые денечки, когда можно три часа последить за работой регионального пищевого комплекса номер такой-то, а потом делать что угодно – хоть на ушах ходить, хоть в фантамате топиться, да... такие спокойные денечки уйдут, и начнется невиданная круговерть. Схлестнутся все эти Ясеновы, Нодье, неолуддиты, еще черт-те кто, и нам, простым людям, туго придется в общей свалке больших умников...

И что там собрался показывать нам Тэд? Хочет привлечь в ряды своих единоверцев? Но, по-моему, все они изрядные болтуны, они даже не понимают, о чем кричат. Раскроши они сейчас вот такие пищевые комплексы, роботизированные вдоль и поперек, и нам крышка. Полцивилизации рухнуло бы за несколько дней. Голодные толпы жарили бы неолуддитов на площадях и поедали бы без соли и перца – фу, какая гадость...

Однако посмотрим, может, Тэд устроит что-нибудь веселенькое. А то „Счастливый шанс“ стал понемногу надоедать, иногда я начинаю думать, что не такой уж он и счастливый...

„Человек как человек, – думал Нодье, пристально вглядываясь в лицо суперсапа Лямбда, – внешне его не отличить от обычного большеголового, лысоватого человека, разве что немного странные глаза – если смотреть прямо, они словно ввинчиваются в тебя и что-то откупоривают. Так оно и есть, этот парень способен очень ловко откупорить любого партнера. Пока любого, но кто поручится за завтрашний день, за тех чудо малышей, которые подрастают в разных уголках планеты и не ведают пока о своем предназначении?

– Значит, ты себе все представляешь? – спросил Нодье вслух.

– Да, вполне, – ответил Лямбда. – Надо вытащить мальчишку из их тайника. Я дожусь инструкций этого самого Зета и пойду.

– Ты безумно правлен, сынок, – сказал Нодье, поднимаясь с кресла и отходя к окну. – Но, боюсь, наш мир тесноват для тебя. Я не настаиваю на твоём участии, строго говоря, я хотел лишь посоветоваться с тобой...

„Я начинаю бессовестно врать, – мелькнуло у Нодье. – Без его активного участия мы просто обречены – ни у меня, ни у него нет другого выхода...“

– Ты словно извиняешься, Жан, – едва заметно улыбнулся Лямбда. – Я здесь не в гостях, это и мой дом.

— Ладно, — согласился Нодье, — от тебя ничего не скроешь. Я, конечно, рассчитывал на твою помощь, но имей в виду — если ты влезешь в это дело, любой сотрудник ПСБ может ликвидировать тебя как носителя запрещенного оружия, как машину, вышедшую из-под контроля... Тебе придется действовать за несколько дней до того, как твой вид получит соответствующий правовой статус. Если получит... Пока же ты считаешься обычным человеком, который вооружен самым непозволительным образом...

Нодье мог бы поклясться, что Лямбда слегка побледнел и даже скрипнул зубами, но, скорее всего, это просто показалось старому биологу, старикашке Жану, который сразу — за одну истекшую ночь! — догнал свой возраст.

Туман уже рассеялся, когда Ясенов вышел на берег озера. Анна, стоя на коленях среди песчаной полоски берега, мерно раскачиваясь, словно молилась незримому озерному богу, и в первый момент Игорь слегка испугался — не ушла ли она назад, туда, откуда ее с трудом возвратили вчера.

Ясенов накинул ей на плечи куртку, и Анна обернулась к нему с благодарной улыбкой.

— Ты не поверишь, но недавно я болтала с Тимом, — сообщила она. — Тим приходил ко мне в утреннем тумане.

— Почему же ты меня не дождалась?

— Ты бы не взял меня к озеру. Ты заставил бы меня валяться на подушках и изображать больную...

— Знаешь, Аннушка, — через силу усмехнулся Ясенов, швыряя в воду небольшой гладкий камешек. — Я начинаю верить в реализм фантпрограмм со всеми этими злодеями в стиле Кэттля и ангелами, вроде Аля и Ланы. Будь я средневековым мистиком, я бы решил, что Тим просто предчувствовал некоторые события.

— Тебе не кажется, что мы вместе сочинили какую-то мерзкую фантпрограмму? — спросила Анна. — И теперь вместе погрузились в нее...

— Вряд ли ты ввела бы в сценарий похищение собственного сына.

Анна глубоко вздохнула.

— Я могла бы состричь — это ты ввел в сценарий похищение собственного сына. Ты ведь заранее знал, что нарвешься на неприятности, что многих давным-давно тошнит от этого бешеного прогресса. Открывать новые пути — опасная работа. Устремляясь на новый путь, люди иногда проносятся по трупу первопроходца, и среди весело гикающей толпы уйма недовольных — их, видите ли, заставляют топтать собственными ножками, и труп какой-то посреди дороги валяется, портит чистый воздух будущего... Но мне не хочется остричь, Игорек, мне выть хочется....

Тим с удивлением ощутил, что переходит в какой-то иной мир, погружается в фантпрограмму, которой вовсе не заказывал.

По аллее огромной резервации неспешно двигалась экскурсия суперсапов. Тим почему-то сразу осознал, что перед ним хомопарк, куда эти

сверхумники с каменными лицами пришли подразвлекаться. Аллею с обеих сторон охраняла прозрачная стенка из тончайшей проволоки, вокруг которой создавалось мощное поле страха. Тим был уверен, что обычные люди просто не способны пойти на эту символическую стенку и прорвать ее, потому что волны охранительного поля сразу же ударят их, отгонят, свалят с ног... Тим знал это совершенно точно, ибо он не только созерцал все со стороны, но и был внутри, за сеткой, и именно глазами засеточных сапи – их звали теперь просто сапи, без имен и прочих подробностей, – именно их глазами он видел торжествующе-победные улыбки туристов, видел летящие над сеткой конфеты, блестящие металлические колечки и спелые бананы.

– Что же ты делаешь! У бедненьких сапиков могут испортиться желудки, – сказала важная туристка своему маленькому сыну. – Бананы следует бросать в зоопарке, глупыш!

– Какая разница! – весело кричал глупыш и продолжал свое дело, и Тиму страшно хотелось впиться зубами в прохладный желтый банан и, став на четвереньки, к великой потехе суперсапа-глупыша, съесть этот банан прямо с травы без помощи передних лап, то есть рук...

Суперсапы приближались к концу аллеи, и Тим вместе с другими зарешеточными людьми сопровождал их и всюду кривлялся, чтобы в его сторону летело все больше конфет, колечек и бананов. Туристы остановились перед гигантской панелью Большого Эвромата, руководящего работой всего хомопарка. Эвромат вежливо заулыбался своим красногубым акустическим синтезатором и стал здороваться с туристами, а потом угваривать их, дескать, пора покинуть эту заповедную территорию, а вот завтра им покажут такое...

– Скажите, уважаемый, – выступила вперед важная дама-туристка. – Вот некоторые сумасшедшие утверждают, что мы происходим от этих жалких вымирающих сапи. Откуда берется такой бред?

– О, мадам! – галантно сказал Большой Эвромат. – Теорию происхождения и эволюции бреда так трудно построить. Даже мы, эвроматы, не добились пока решающего успеха. Но мне известна и иная бредовая идея, я рассказал бы о ней, но боюсь вас испугать, к тому же здесь дети...

– Расскажите, расскажите, пожалуйста! – дружно зашумели туристы. – Пусть дети узнают о диких выдумках врагов прогресса из самого авторитетного источника!

– Я скажу, правда – превыше всего! – провозгласил Большой Эвромат. – Представьте себе, некоторые бездельники утверждают, что мы, эвроматы, были созданы – кем бы вы думали! – этими самими сапи...

– Какой ужас! Какое безобразие! – наперебой заголосили туристы. – Это ж надо так мозги вывернуть! Чушь!

– И самое смешное, – продолжал Большой Эвромат, – сапи усиленно поддерживают эти легенды... И про вас, и про меня!

– Кошмар! – возопила активная дама. – А мы еще дарим им столько вкусного и красивого... Их надо примерно наказать!

– Наказать! – эхом отозвалась вся компания туристов.

– Вы совершенно правы! – с чувством воскликнул Большой Эвромат, и по хомопарку разнесся его мощный голос, вызывающий единственное желание – укрыться от него за полным и безоговорочным подчинением. – Спать! Спать! И никаких развлекательных фантпрограмм! Перед сном каждый сапи должен вознести молитву Верховному Эвромату Планеты, дабы проклятые луддиты всех времен и народов вечно жарились в струях звездной плазмы. Сапи должны докаться в греховных домыслах по поводу происхождения высших существ Земли, наделенных истинным и врожденным сверхразумом. Ни один благонамеренный сапи не должен распространять нелепую клевету на истоки гиперментальных и эвросистемных способностей, иначе его ждет страшная кара – лишение той примитивной функции, которая называется человеческим разумом, и немедленный перевод в обезьяний питомник. Спать!

Могучая волна коллективной паники подхватила Тима и швырнула его вместе с толпой в глубину резервации. Единственная мысль раскаленным лучом била в мозг – добраться до своей подстилки и уснуть, разумеется, после всех молитв и покаяний, уснуть без сновидений, бередящих всякими дурацкими фантазиями и воспоминаниями. Главное – не пришло бы в голову что-либо из подлинной истории, а все обозримое время стянулось бы к сладкому вчера с бананами и конфетами, а весь прогноз уперся в такое же замечательное сладкое завтра в лучшем, просто распрекраснейшем из лучших хомопарков планеты. Тим несясь в обезумевшей толпе, но одновременно как бы парил над ней, единым взглядом охватывая громадный заповедник, по которому метались бывшие цари природы в поисках своих подстилок, молитвенников и женщин, в поисках укрытия от гремещего голоса, от его укоров, призывов и внушений.

И вдруг среди этой кутерьмы Тим увидел невероятное – в небольшой яме почти в центре хомопарка двое коленопреклоненных, его отец и Нодье, смиренно творили молитвы и громко каялись в своих злобно-клеветнических измышлениях. И все, пробегающие мимо, не забывали смачно плюнуть в эту яму и погрозить ее обитателям кулаком. Тим мгновенно захлебнулся волной ненависти и презрения, волна откуда-то извне переполнила его, и он в едином порыве с другими сапи плюнул вниз всей этой тошнотворно пенящейся волной, но случайно в последний момент перехватил взгляд отца, вовсе не затуманенный ни молитвенным экстазом, ни раскаянием, а напротив, исполненный напряженного размышления и иронии.

И, не выдержав этого взгляда, Тим рухнул вниз, смешиваясь с пеной собственного плевка и растворяясь в ней без остатка.

– Не ночь, а сплошная фантастика, – сказал Стив и сладко зевнул. -- И самое фантастическое предположение, которое я мог бы высказать, сводится к тому, что сейчас мы пойдем спать...

– Предположение действительно сильное, – усмехнулся Комиссар. – Но, черт побери, как тебе удалось догадаться? У тебя неплохие задатки...

— ... детектива, — подхватил Грегори. — Не совсем так. Я просто передал сведения о пионерах Эвроцентра, о тех, кто был более или менее близок с Ясеновыми. А умная машина выстроила превосходную модель. Так и мы вышли на человека, которого ты называешь Зэтом...

— Ладно, проверим, — сказал Комиссар. — Ты извини, но я хочу задать тебе еще один пакостный вопросик. Почему ты с самого начала с такой силой катил бочку на Нодье? Ведь я чуть не клюнул на твои аргументы... Уверен, ты имеешь против него что-то личное, да?

— Честно говоря, имею. Но начнем с того, что эвромат тоже не исключает варианта с Нодье. Достоверность в три раза ниже, но это еще не исключение варианта... А личная моя неприязнь к старикашке Жану объясняется очень просто. Из-за него я потерял Нику, свою невесту. То есть, не совсем из-за него, но для меня был гром среди ясного неба, когда она заявила, что любит суперсапа Лямбда и готова разделить его судьбу. Бесмыслица! Надо ж вбить такое в голову...

— Она работала у Нодье? — быстро спросил Комиссар. — И снабжала вас полезными сведениями?

— Кончай играть в свои шпионские сюжеты, — разозлился Грегори. — Разумеется, у нас десятки каналов информации о работах Нодье, и у него никак не меньше. И, разумеется, я любил Нику не за ее доступ к закрытой информации. Твое мышление — рецидив прошлого столетия с его шпиономанией и шизофреническим засекречиванием любой очевидности. Сейчас иное время! Сведения слегка прикрывают лишь от тех, кто не имеет должной подготовки для их восприятия. Потому что любой проект выглядит несколько по-разному изнутри и со стороны, потому что среди нас еще очень много сторонних критиков-созерцателей, возводящих свое элементарное непонимание эволюции, своё стремление к безграничному моральному и материальному комфорту в ранг какого-то вселенского закона неприятия прогресса...

— Ну, не стоит сердиться, — примирительно произнес Комиссар. — Меня интересовала причина твоей неприязни к Нодье и суперсапам.

— Какая там неприязнь! — усмехнулся Грегори. — Я крайне дружелюбен ко всем мерзавцам, желающим увести мою девушку... Но сейчас, Комиссар, меня тревожит другое. Если мы сумели так лихо вычислить похитителя, то аналогичную работу, несомненно, мог бы проделать и Ясенов. И проверить свои гипотезы с помощью эвромата, притом не выходя из дому. И я боюсь, спасти его будет трудней, чем сына...

„Она права, — думал Ясенов. — Мы подставляем под удары и никогда не знаем, в какую часть нас самих направлен решающий удар. Моя смертельная точка — Тим. Близкий по духу знал, куда бить, он слишком хорошо изучил меня — было время... Даже не шибко сердобольные древние христиане не поставили. Савофа перед жертвенным выбором — Сын или Дух. А может, к этому и сводится главная трагедия евангелических сказаний — к сделанному выбору, по-человечески непостижимому, ибо что есть заклание бестелесного Духа на фоне хотя бы одной минуты, проведенной

сыном на кресте? Да, она права, сценарий был сработан с моим активным участием...”

Игорь Павлович улыбнулся Анне и медленно, лицом к ней стал отступать, удаляться, и сразу его контуры завибрировали — он менялся. Анна расширившимися и словно замерзшими глазами следила за происходящим. Ясенев немного уменьшился в размерах, вроде бы неуловимо изменились его черты, и перед Анной уже стоял Тим, подлинный живой Тим — не из озерного тумана, а из плоти и крови, юная копия своего отца. Тим неспешно пятился, не отводя взгляда от Анны, а она чувствовала, что не может оторваться от земли, броситься к нему, обнять, затиснуть, наконец спрятать и унести с собой в безопасность лесного домика... Истина коротким разрядом молнии ударила в ее мозг, и там сразу выстроилась вся картина удаления Игоря.

„Эта проклятая наука сделала его другим, — промелькнуло у Анны, возможно, уже и не человеком, и закрыла нам путь к сестричке Тима, о которой мы мечтали столько ночей, и закрыла все-все-все...”

А Игорь, полностью поглощенный образом Тима, медленно удалялся, и Анна поняла, что вот сейчас он исчезнет, как час назад исчезли туманные полосы над озером.

— Я все знаю! — закричала она. — Не смей этого делать, не смей! Я не могу терять сразу всех... Ты не спасешь Тима... Не на-до!

Но крик словно ускорил движение Тима-Игоря, он взмахнул рукой и бросился бежать. Импульс отчаяния подбросил Анну с земли, и она метнулась за исчезающим мальчиком, но тут же оступилась и упала.

И на момент ей показалось, что разум окончательно испаряется из головы, которая мгновенно опустела и стала раздуваться, как мыльный пузырь. Лишь в последний миг какой-то крошкой ускользающего сознания она зацепилась за спасительную идею — Игорь знает, где находится Тим, безусловно, знает, и он добьется своего, спасет их мальчика, потому что Игорь всегда добивается своего...

Тим с трудом выползал из тумана индуцированной фантпрограммы. Иронический взгляд отца, взгляд без тени раскаяния, выталкивал его в эту пронзительно светлую и холодную комнату.

— Как тебе понравился хомопарк? — бодро спросил Зэт.

— Это ложь, грязная ложь! — закричал Тим. — Отец никого туда не толкает! Дорога в будущее открыта всем. Неужели ты не хочешь, чтобы мы по-настоящему поумнели? Знаешь, кому выгодно держать людей в интеллектуальной узде? Подонкам, всюю прущим наверх, рвущимся к власти ради власти, — вот кому! Так говорит мой отец, и он тысячу раз прав! А ты просто предатель, ты предал отца и всех нас, а теперь ты ищешь оправданий и сводишь счеты...

Тим захлебнулся гневом, пружинисто вскочил и бросился на Зэта. Но, в то же мгновение перед его лицом мелькнула жесткая ладонь, и он отлетел прямо в вязкую пену своей ниши.

– Этого еще не хватало, – прошептал Зэт, но тут же голос его окреп, в нем послышались стальные нотки. – Я думал, Тим, ты достаточно самостоятельный парень, но ты оказался ничтожным папенькиным щенком. Щенков учат! Так вот, сейчас мы выйдем на индиканал твоего отца, и ты сообщишь ему размер выкупа за твою пустую голову. Ему придется собственноручно взорвать свой проклятый Эвроцентр. И самое смешное – он это непременно сделает. Потому что любит тебя, хоть и любить тут нечего...

„Если б здесь было окно, я выпрыгнул бы вниз головой, – думал Тим, растирая ноющую ключицу. – Отцу не пришлось бы идти на такой позор...“

– Ничего! – усмехнулся Зэт и почти по-дружески подмигнул Тиму. – Я и не такое переживал...

И Зэт стал сосредоточенно набирать код ясеневского индиканала.

– Ты зачем приволок сюда этого парня? – шепотом спросил Тэд Нгамбе.

– В нашем баре на всех мест хватит, – тихо ответил Свен. – Это мой старый приятель, – громко добавил он. – Будь знаком, перед тобой Хосе Фуэнтес, какая-то там, правая или левая, рука самого Ясенева.

– Оч-чень приятно, – хмуро проворчал Нгамбе.

– Насчет руки Свен немного загнул, – дружелюбно улыбнулся Фуэнтес. – Я более всего соответствую роли одного из пальцев...

– Да какая разница! – воскликнул Нгамбе. – Будь ты хоть пальцем на спусковом крючке, от этого ваши эвроматы лучше не станут.

Они недавно встретились в „Счастливом шансе“ и сейчас поджидали Мирова. Свен уже и сам не понимал, зачем назначил свидание Фуэнтесу именно здесь и именно сегодня.

„Мы сто лет не виделись, – думал Свен, – и могли бы потерпеть еще денек-другой, а то и целый год. В сущности, мне не о чем с ним говорить. Он делает большое дело, опасное или полезное, но настоящее, а я все хожу и выбираю, хожу и выбираю... Стукнуло же в голову, что только Хосе с его блестящей логикой поможет мне разобраться в неолуддитах. Однако будет глупо, если Тэд нахамит ему...“

– Представь себе, Тэд, – меланхолично сказал он, – мы с Хосе прошли вместе целых пять ступеней школы...

– А потом ваши дорожки слегка разошлись? – резко вставил Нгамбе.

– Да, слегка разбежались, – все так же спокойно продолжал Свен. – Дорожки всегда разбегаются. Хосе делает теперь искусственные мозги, и, мне кажется, вам со Славчо было бы интересно его послушать.

– Ты что, собрался со своим другом агитировать меня? – возмутился Тэд. – Меня доагитировали до того, что я не знаю, зачем я нужен на своей работе. Тебе приходится уже целый год шлаться без дела, корчить этого философа... Ты, небось, надеешься, что писанина, которой ты тайком заполняешь свой стол, осчастливит литературу, вышибет искру из глаз какого-нибудь компьютера? Ну-ну... А его, твоего друга, скоро доагитируют до положения ясельной няньки, и он с радостью будет утирать сопли своему любимому эвромату, полагая, что занимается настоящим творчеством.

– Ты сегодня раздражен, Тэд, – вздохнул Олафссон. – Не иначе, кто-то из твоих роботов показал тебе кукиш...

– Просто я хотел, чтобы сегодня ты и Славчо взглянули не на механический кукиш, а на живых людей, – сказал Тэд. – Но я вовсе не уверен, что твоему другу будет интересен наш подход.

– Свен ничего мне не говорил, – удивился Фуэнтес. – Но если я лишний...

– Это твоя проблема – решать, лишний ты или нет, – твердо сказал Тэд. – Каждый из нас имеет выбор в этом смысле и может заранее уйти в лишние. Так удобней. И вот что – пусть тебе сразу все станет ясно. Я активный неолуддит. Я противник роботов, тем более – противник эвроматов. Потому что при них лишними окажутся не только простые парни, вроде нас со Свеном, но и такие умы, как ты и твой Ясенов...

– Терпеть не могу громогласных воплей от имени простых парней, – перебил его Фуэнтес. – Я, знаешь ли, уважаю сложность. Наш мозг устроен очень сложно, но я уверен, что предельная простота и массовость амебы – серьезный аргумент в пользу медленного расщепления мозга на отдельные клетки.

– Не надо так, Хосе, – вклинился Олафссон. – Тэд раздражен, и...

– Все в порядке, – остановил его Нгамбе. – Мне нравится твой друг. Он умеет говорить правду в глаза. Предположим, у нас разные точки зрения, но он здорово меня обрезал, не стал сюсюкать, что в глубине души он, дескать, и сам прост, как амеба. Но я хотел бы знать, хватит ли твоей сложности, чтобы пойти с нами на митинг неолуддитов. Хватит, а? Или твои эвроматчики запрещают тебе такие посещения?

– До сих пор я ходил туда, куда считал нужным, – ответил Фуэнтес. – Однако где же ваш третий друг?

4

Под капсулой, уносившей Грегори и Комиссара, пролетали деревья, дома, зеркальцами меркали озера и речные изливы.

– Ты наговорил мне тьму страшных сказок, Стив, – произнес Комиссар после долгого молчания. – Считаю, что я чудовищно отстал от жизни, но, мне кажется, в старые добрые времена на эти вещи смотрели правильной – всякие эксперименты над человеком попросту запрещались. Тем более – опыты над еще не родившимися младенцами, которые рискуют стать выродками со всей мозговой надкоркой и вариантным мировосприятием.

– Племенные табу во все времена пользовались некоторым успехом, – прокомментировал Грегори. – И во все времена находились любители идеализировать прошлое – дескать, чем ближе к Творцу, тем лучше мы были... Это чушь, Комиссар, а сейчас это очень опасная чушь – слишком высоки темпы, слишком спрессовано время, а значит, плати за страх перед будущим. Раньше оно наступало медленно, давая возможность ос-

воиться и как следует покритиковать первопроходцев. Теперь нужно больше смелости, чтобы идти вперед. И, кстати, я думаю, что тех запретов на опыты, о которых ты говорил, на самом деле никогда не было.

– Очередной парадокс? – усмехнулся Комиссар.

– Нет, все очень просто. Настоящего запрета на опыты над людьми никогда не существовало. Выведение узких специалистов, которое широко практиковали еще в недавние времена, – разве это не опыты над людьми? А экипажи космических кораблей и глубоководных станций? А мировые рекорды по тяжелой атлетике? А пересадки органов, особенно мозга? Ты скажешь, что действия такого рода были связаны с насущными запросами цивилизации, и постановка каждой задачи вытекала из довольно гуманных соображений? Верно! Но ведь работы по суперсапам лежат на той же линии. Сначала, экспериментируя с зародышем, преследовали вполне очевидную великую цель – подавить наследственные болезни. Ты бы выступил против такой программы? Разумеется, нет! А между прочим, биологи успешно вмешивались в работу молекулярных структур и фактически создавали будущему человеку новые органы – не те, дефектные, которые были отпущены природой. А разве это не вмешательство в проект человека? Потом, если ты помнишь, дело дошло до преодоления врожденной психической неполноценности. И тут наступило осознание – елки-палки, да мы же формируем новую кору, которая в таком нормальном виде вовсе не должна появиться у данного малютки! И вместо неизлечимого идиота получаем активного члена общества! Тебе и это не нравилось?

Комиссар удивленно покачал головой.

– Черт возьми, об этом я как-то не подумал. Понятно, это мне нравилось. Между прочим, мой младший сын – его тоже подвергали небольшой генетической компенсации – настоящий вундеркинд... Скажу по совести, этот генетический контроль – великая вещь.

– Вот! Великая вещь! – радостно подхватил Грегори. – Значит, вмешиваться в биоструктуры человека, чтобы он не стал идиотом или не истекал кровью, можно, а снабдить человека более мощным мозгом нельзя, да? Ведь именно это и заметил Нодье – преодолевая наследственную психическую неполноценность, можно чуть-чуть сдвинуть интеллектуальный уровень будущего человека... Но этого „чуть-чуть“ хватало, чтобы дети становились вундеркиндами и вырастали на редкость талантливыми и деятельными. Вот он и решил пойти дальше и резко усилить мышление, снабдить человека надкорковым синтезатором, способным проигрывать сотни вариантов будущего за секунду, дать ему новую сигнальную систему и язык невиданной емкости и выразительности...

Грегори вот-вот начал бы декламировать, но Комиссар остановил его.

– По-твоему, получается, что все мы, не снабженные гиперментальными структурами, вроде идиотов или того хуже – высших животных, да?

– Ты слишком упрощаешь ситуацию, и отсюда гротеск на прогресс, гротеск в духе неолуддитов. Архантропов, живших полтора миллиона лет на-

зад, при желании можно считать идиотами или животными, но и то и другое — нелепость, они просто наши очень далекие предки. Вероятно, с точки зрения естественной эволюции, Нодье и его суперсапы разделены тоже добрым миллионом лет — в так называемом пропорциональном эволюционном возрасте, оцениваемом по сдвигу генетических структур. Но физически они современники — своеобразный парадокс сверхплотного времени, в котором мы живем. Направленная генетическая реконструкция зародышевых клеток пустила ленту эволюции в бешеном темпе. И этот темп был особенно стимулирован освоением искусственной матки — мы как-то незаметно подошли к рубежу нового процесса воспроизведения, включающего особую технотронную стадию, на которой ведется перепрограммирование естественно-биологического материала. Благодаря этому видовые трансформации могут протекать в сроки того же порядка, что и продолжительность жизни одного или нескольких поколений. В таких условиях обычного отбора, обычного закрепления прогрессивных признаков уже недостаточно — по сути, это уже не классическая биология с предельно интенсивными мутагенными факторами, биология автоэволюционных популяций, которые не ограничены приспособлением к окружающей среде и даже приспособлением этой среды к себе, но способны к быстрому самоизменению. Похоже, при нашем уровне регуляции внешней среды мы можем позволить себе создавать существа с самым невероятным темпом усложнения. Насколько я знаю, Нодье довольно активно размышляет над таким вариантом человека, который будет практически непрерывно наращивать свою сложность. Соответственно, это сильно скажется на эволюции социальных организмов...

— Недавно я рылся в своих архивах, — сказал Комиссар. — Представь, что у меня есть не только суперлаттиковые записи, но и настоящие старые книги... н-да, самые настоящие, и довольно много. Так вот, один великий поэт прошлого века написал тогда: „Слава богу, мы смертны, не увидим всего“. Послушав тебя, я тоже радуюсь своей смертности. Так-то! И хочу добавить, если тебе надоест твоя адская лавочка, Стив, — надумаешь послать к черту все эти эвро и супер — топай прямо ко мне, в ПСБ, у тебя светлая голова, а остатки дури я из тебя в два счета выколочу...

— Не надо! — перебил его Грегори, изображая испуг. — Не надо ничего выколачивать — ни в два, ни в три счета... У тебя слишком здорово это получается! А кстати, куда ты меня тащишь?

— Тот самый бывший соратник Ясенева должен присутствовать сегодня на одном любопытном сборище. Такую информацию дали мне утром. Теперь Зэт заправляет чем-то важным у неолуддитов... А сборище тебе понравится — особенно в плане размышлений о прогрессе. Если только успеем...

Великие замыслы лопаются из-за самой ерундовой мелочи, думал Зэт. Индиканал Ясенева не включается, и точка! И этот щенок мечет злобные взгляды — прямо парой блейзеров по мне полосует... Что делать?

Меня будут втискивать в историю в маске Герострата, словно Эвроцентр — настоящий храм, а я хотел сжечь его ради своей славы. Да плевать мне на

славу. В этом мире нет подлинного бессмертия, что бы там ни выдумывала эта Анна Ясенева с ее фантакопиями... А раз нет, слава — пустой номер, приманка для таких вот щенков, мечущихся среди воображаемых абсолютов. Слава — простенький социальный пряник, которым легче всего принудить к усердию в меру сытых и довольных. Потому что, в конечном счете, все довольные в меру стремятся к безмерному, например — к славе на все времена. И им с удовольствием дарят эту дурацкую иллюзию.

Как ни глупо, но быть мне в черных героях. Стану кем-то вроде Кэттля из грубейшей детской фантпрограммы, стану таким штамп-негодяем, легендарным регрессистом, отпугивающим многих, но кое для кого и притягательным. Нет-нет, и всплывут какие-то неолуддиты — хоть с обычной искрой, хоть с тремя надкорками, всплывут и вспомнят меня и поклонятся моему портрету.

Эти подлые борцы за прогресс выдвинули первую попавшуюся идею — дескать, я рвался к власти, хотел установить диктатуру неолуддитов. И ни за что не сообразят, что и на власть мне наплевать. Но меня обязательно спутают с этими горлопанами-неолуддитами, стремящимися привести всех к своему узколобому знаменателю. А ведь они для меня только временная ширма — вот что трудно будет понять грядущим историкам. Никто не разглядит мою сокровенную пружину, не догадается, что я руководствуюсь высочайшими мотивами и ради них рискую угодить в черные герои развлекательных фантпрограмм.

Разве этот щенок, вызверившийся на меня из угла, поймет, что его похищение связано с великой проблемой Космического Молчания, между прочим, так и не решенной по-настоящему?..

Когда вспоминаешь те годы после ухода от Ясенева, жутко делается, удивляешься, что вообще выжил... Эти мои нелепые запросы в Большой Совет, громкие сигналы тревоги, разве кто-нибудь прислушался к ним? Больше всего раздражало безмерное высоколобое равнодушие: „Эксперты Совета не считают поднятую Вами проблему первостепенно актуальной. Мы признательны за Вашу социальную активность и рассчитываем на нее в будущем...“

Идиоты! Надо иметь будущее, чтобы в нем на кого-то рассчитывать! Если верны все эти идеи ускоренного прогресса и возникают автоэволюционные цивилизации, непрерывно усложняющие свой лидирующий вид, то они должны буквально за считанные века овладеть всей Галактикой как своим домом. Иначе зачем им все эти гиперментальные функции, все их ускоренно развивающиеся мозги? Казалось бы, очевидно — так нет! Начинаются бесконечные ученые тонкости — дескать, мы пока слишком слабы в смысле планетарных сенсоров и систем переработки информации, наверняка не воспринимаем многие типы сигналов, а прямой транспортный контакт — штука маловероятная, потому что любая сколь угодно развитая цивилизация диффундирует в пространстве Галактики крайне медленно... Оказывается, наши телескопы и компьютеры ни к черту не годятся, хотя их возможности уже опережают человеческое понимание. Но

ведь суть не в том, насколько мы разовьем свои сенсоры. Почему Они не реагируют на нас, почему позволяют тонуть в космическом одиночестве – вот проблема проблем!

А я уверен, что знаю разгадку. Они тоже некогда дали волю своим Ясенывым и Нодье, они тоже приветствовали своего гиперментального мессию – какого-нибудь суперсапа Лямбда с его бредовым проектом перепрограммирования жизни на принципиально новые молекулярные структуры... И захлебнулись их мечтами, как океанскими волнами. И покончили самоубийством на одном из крутых виражей прогресса, на вираже, который пытались пройти, не сбрасывая ускорения... Но никто не хочет слушать доморощенную Кассандру. Прилети сюда сейчас какой-нибудь зеленоухий беглец с такого-то, черт-те какого звездного скопления и шепни нам в предсмертной агонии: дескать, собраты по глупости, кончайте с этим бессмысленным прогрессом, пока живы, – да тут по винтикам разнесли бы все эти эвроматы, одни топоры да грабли оставили бы...

Трагедия пророков – в их посмертности. Но тут хуже – памятники некому будет ставить, сочинения пророков пойдут на растопку пещерных костров или на жвачку новым динозаврам...

А связи с Ясенывым нет... И что делать с мальчишкой? Если до него доберутся мои зверята, дело обернется настоящим террористическим актом, и все падет на мою голову. А на нее и так падет предостаточно. Не хватало только крови Аннушкиного сына, который мог бы быть...

Пропади они пропадом, эти воспоминания!

Серебристо-голубая капсула спикировала на поляну вблизи небольшого коттеджа. Трое мужчин в черных комбинезонах и масках выпрыгнули из кабины, и вслед за ними оттуда медленно выбрался суперсап Лямбда. Его почтительно пропустили вперед, и он все так же неспешно двинулся к дому. Маски, подстраиваясь под его ленивый темп, плелись сзади.

Я могу не спешить, думал Лямбда, хоть несколько минут провести в обычном, неконцентрированном времени как нормальный сапи, топаящий по прекрасной лужайке к гостеприимному дому. Счастливы они, не видящие одновременно утра, вечера и полудня, перед чьими глазами не троеится или не десятирится настоящее, не расслаивается сотнями вариантов прошлое, не пляшут автоиндустрированные фантомы будущего, и вообще время не скручивается тысячами нитей в узлы вероятных катастроф.

Иногда думаешь – они и счастья-то своего не понимают, рвутся вверх к этому ослепительному многомерию и бросают меня в разведку, хотя то, что я могу принести, много обширней их слабенького, но отчаянного разума.

Еще в детстве старик Жан рассказал мне притчу об индейском юноше-лазутчике, которого племя решило внедрить в мир бледнолицых... Кончилось тем, что он по уши набрался цивилизации и не смог донести до братьев сути машинного бытия, к тому же – не вписался обратно в племенную жизнь. Жан очень старался и не знал, что после первых же его слов я мгновенно проиграл полсотни вариантов, в одном из которых – ра-

зумеется, наиболее вероятном — произошло именно то, что и в притче.. Вот и я вроде того лазутчика — мне нет пути назад, но нет и того города где я мог бы жить как один из многих. Когда-нибудь, через несколько десятков или сотен лет, Земля заполнится подобными мне — все так. Но пока я не могу испытать главного человеческого счастья — оказаться среди миллиардов равных. И не знаю, суждено ли, потому что каждый су персап слишком не стандартен. Жан убеждает, что это нормально для эпохи эксперимента, что потом... Мечтатель Жан!

„Потом“ окажется совсем иным. Эксперимент станет системой, и вот-вот из лабораторий Жана взлетит птенец, для которого я буду представителем низшего вида. Так будет, если я соглашусь сам вести одну из экспериментальных серий, или Нодье воспользуется программой генетической операции, разработанной эвроматом... И скоро получится так, что вершина эволюции, наскоро зафиксированная в досье мировых рекордов, сможет сохранять лидерство несколько лет или недель, чтобы потом заполнить небольшую нишу земного заповедника... Жан надеется на какой-то закон о стандартизации лидирующего вида, надеется выиграть некоторое время для закрепления лучших видовых особенностей естественным механизмом смены поколений. Но как быть с соблазном еще лучшего результата? С этим опаснейшим человеческим соблазном, и не только человеческим... Не хочется впрыскивать Жану порцию черного пессимизма, но вероятность принятия такого закона наверняка мала, а вероятность соблюдения — практически чистый ноль.

Джинн уже выпущен из кувшина, и волшебное заклинание, которое вроде бы делает его управляемым, — лишь наша иллюзия. Это он управляет нами, просто разумными и гиперментальными, управляет по элементарной схеме обратной связи — через наши желания, через их осуществимость. И он будет подталкивать нас к предельно быстрому усложнению, манить все более глубоким и многомерным видением Вселенной. И многим безоглядно смелым сапи — боюсь, и старине Жану тоже — этот процесс представляется чуть ли не бесконечной лестницей, уходящей в заоблачье.

Но всему есть предел. Жан улыбается, пока еще улыбается, когда я пытаюсь толковать ему свое понимание воображаемого заоблачья. Мы просто уткнемся в предел изменчивости, связанный с природой молекулярных комплексов, на которых основана земная жизнь. И надо заранее готовиться к тому, что лестница кончена, как и все лестницы в этом мире, и ее конец не должен стать обрывом, с которого сорвется цивилизация, уповающая хоть на какие-то неисчерпаемости...

Нужно размышлять о новых этапах эволюции, какой бы фантастикой они ни казались, размышлять о реальности заоблачья, сколь бы далеким оно ни выглядело. Для меня уже практически достоверна неизбежность будущего перепрограммирования разума на новые молекулярные структуры — те же суперлаттиковые пленки, так здорово проявляющие себя в интеллектронике, особенно — в эвроматах, вот-вот станут эффективней

наших нейронных систем. А ведь это только начало... Но как передать свои оценки тем, кому они кажутся слишком тонкими и сложными, слишком многофакторными? Как вместить свое дальнейшее футуровидение в проекцию на мышление сапиенсов? Ведь джинны уже выпущены из кувшина...

Вот и дверь. Пора. Все может кончиться весьма плачевно, и Ника выцарапает глаза бедняге Жану. И мне приятно сознавать это. Мы любим тот мир, где в случае нашей гибели остается кто-то, способный взорваться возмездием... хотя не в нем дело... способный взорваться болью, реальной болью утраты безмерно дорогой своей части – той, без которой жизнь не в жизнь. Если бы я мог увести Нику за собой, любой ценой протащить ее сквозь барьер гиперментальности... Мне было бы много легче перешагнуть порог этого мерзкого дома, где меня тут же загонят за звуконепроницаемую стенку...

Идиоты, думал Лямбда, открывая дверь, некоторые из этих симпатичных сапи кажутся кошмарными идиотами! К счастью, прогресс в преобразовании мозгов слегка опережает прогресс в области тюрьмостроения. И это обнадеживает...

„Со стороны может показаться, что здесь идет митинг „Юных космонавтов“ или аналогичной организации, безобидной и даже полезной, – думал Игорь Павлович. – Но здесь нечто совсем иное – толпа юнцов, приведенная в когерентное состояние единодушия, когда каждый мнит себя частью великой всесильности, с восторгом жметя к плечу соседа и орет до изнеможения, до полного экстаза... Такое надо видеть, чтобы осознать, что поток времени в наших лабораториях и в толпе перевозбужденных, легко внушаемых и не слишком образованных людей – это разные потоки, и беда, если огромная разность скоростей породит вихри и водовороты, способные смести сами лаборатории, взорвав эту толпу диким, первобытным озлоблением... И конечно, там и сям мелькают утесами суровые лица наставников, чьи взоры устремлены поверх голов к невиданно прекрасным вершинам, а помыслы тверды и тупы, зато колоссально магнитят всю свору именно своей твердостью и однонаправленностью“

Большой зал, куда не без труда проник двойник Тима, действительно бурлил и постанывал, преимущественно вразброд. Но вдруг в одном из рядов выростала фигура с воздетыми к потолку руками и перекошенным лицом, разевала пасть и истошно орала: „Нет хомопарку! Долой звро! Бей су-персапов! Спасай цивилизацию!“

– Бей! – дружно подхватывал зал, превращаясь в единый организм.

Внезапно на высокой сцене взметнулись снопы яркого света, и из них сложилось огромное, в два человеческих роста, изображение лохматого человека в старинной одежде. Фигура приплясывала, размахивала руками и отчаянно вопила: „Долой машины!“ Ясенев прямо-таки физически ощутил силу единения, вытолкнувшую его из кресла. „Смерть машинам!“ – стоя, ревел зал, и Ясенев лишь некоторым усилием воли заставил себя промолчать.

В ревущей толпе мелькнуло знакомое лицо, но Ясенев ничего не успел разобрать. Фантаграмма успокоилась и застыла скульптурным портретом, освящающим дальнейшее действие. А на сцену выскочил великолепно сложенный парень и под быструю ритмичную музыку стал исполнять какой-то фантастически сложный танец с настоящей кувалдой. Парень периодически наносил удары по расставленным вокруг весьма сложным приборам и под звон крошащегося стекла, пластика и металла снова уходил в конвульсионную дрожь и патетические прыжки. И каждый удар отзывался ревом зала, счастливым визгом и выразительными жестами вконец ошалевшей публики.

„Это довольно эффектно, — думал Хосе Фуэнтес, искоса следя за действиями Тада, который, полностью слившись с окружающей обстановкой, прыгал, кричал и размахивал руками. — Для большинства присутствующих это прекрасный способ разрядиться. Но их разрядка заходит слишком далеко. Земля тесна, и в конечном счете мы разряжаемся друг в друга. И все-таки спасибо Тэду за экскурсию — она более чем поучительна...“

Танец завершился, и фантаграмма Нэда Лудда на заднике сцены снова ожила, стала бросать в зал яростные взгляды и угрожающе размахивать руками. Его громовой голос выплеснулся из усилителей: „Скоро перед вами выступит наш знаменитый Зэт, один из творцов проклятых эвроматов, а ныне — активный деятель Общества Охраны Человека!“

„Да здравствует наше общество! — взревел зал. — Да здравствует Зэт!“

На сцену выпорхнула очаровательная девушка, а вслед за ней в облаке жуткой какофонии выехал робот весьма устрашающего вида. И началась странная и все ускоряющаяся игра. Робот преследовал девушку, делая разнообразные непристойные движения, и после каждого такого движения зал взрывался воплями негодования. Робот, словно испуганный грозным шумом, слегка притормаживал, и хореографически безупречные догонялки начинались снова.

„Забавная дрессировка, — думал Ясенев. — Ребятам пытаются наглядно доказать, что безопасность их девиц целиком зависит от активности их выступлений против роботов-насилльников... Однако я все время ухожу от главного. Где Тим? Неужели этот подлец приволок мальчишку сюда... Не пойму, в чем дело, но ощущение таково, что за мной кто-то непрерывно следит. Пусть хватают, ожидание хуже всяких событий. Лишь бы не догадались, кто я...“

Танец на сцене явно достиг кульминации — робот все точнее наезжал на девушку, а его гибкие щупальца извивались все сладострастней.

„Я никудашный сыщик, — думал Арчи Ясумото, стараясь получше спрятаться за спины, чтобы случайно обернувшийся Ясенев не заметил его. — Со стороны это должно выглядеть довольно комично. Ясенев, кажется, следит за Фуэнтесом, я — за Ясеновым. И не удивлюсь, если где-нибудь тихо сидит Стив и контролирует каждый мой жест...“

Анна почувствовала, что ноги окончательно затекли. Она с трудом поднялась и сделала несколько шагов к воде.

„Уже далеко за полдень, — думала Анна, — и облака бегут и бегут, сочетаясь во фрагменты жизни, которой вроде и не было. Вот два облака, как два Тима, взялись за руки и мчатся к горизонту, опять-таки чему-то воображаемому, однако вполне реальному в смысле их скорого исчезновения. Если мои мальчики не вернутся к закату, можно смело уходить в это озеро, потому что мир теряет смысл, когда от тебя отрезают лучшие две трети, отрезают даже без наркоза и лишь потому, что в мире схлестнулись какие-то надчеловеческие силы, и их ножи полоснули по живому телу моей семьи...”

— Анна! Анна! — донесся до нее голос, и, обернувшись, она увидела выбегающего из леса Раджа Махагупту.

— Вот, не могу найти Игоря, — сказал Радж, подходя к ней и пытаясь отдышаться. — Вечно всюду опаздываю...

— Ты действительно немного опоздал, — вздохнула Анна, — но мы все опоздали, если тебя это утешит...

— Мне срочно нужен Игорь. Он отключил свой индиканал.

— Игорь ушел спасать Тима, и, боюсь, они оба...

— А я боюсь, что Тима ищут не там, где он спрятан, — перебил ее Радж. — Но я вычислил это место.

На миг в глазах Анны блеснула надежда, но слабая искорка тут же погасла.

— Ты извини, Радж, — сказала она, но я не очень-то верю твоим вычислениям. Ясенов тоже что-то сообразил, и вот его нет. И будет ужасно, если ты тоже исчезнешь из-за ошибки вашего эвромата.

— Странно, — пожал плечами Радж. — Комиссар сказал мне нечто похожее — не станет Зэт прятать Тима в собственном коттедже, он ведь не сумасшедший... — и Радж виновато улыбнулся.

„Какой уж там сумасшедший, — думал он. — Этот Зэт более чем умен, и именно поэтому он не захочет подставлять мальчишку под случайный удар митингующих неолуддитов. Но еще важнее другое — Зэт непременно станет добиваться духовной мутации Тима, трансформировать его в свой эволюционный побег, отрывать от ясеновского ствола. И именно этим — скорее этим, чем ликвидацией эвроматов и прочими глобальными авантюрами, — мстить Игорю. Мстить всей ясеновской философии, нелепым, с его точки зрения, идеям любви к иным реализациям своего Я, тем идеям, из-за которых он и порвал некогда со всем нашим делом, ибо уверовал в неизбежную неприязнь к себе как к мутанту, как к жертве этого дела. Уверовал, что мутанты всегда остаются за чертой любви, и отсюда все остальное... И быть может, именно отсюда — из глаз этой женщины — берет начало его величайшая метаморфоза, прижизненное переселение души в собственную оппозицию...”

— К сожалению, Комиссар прав, — после некоторого размышления сказала Анна. — Вряд ли вашему эвромату доступны столь хитрые психологические прогнозы.

— Доступны, — вздохнул Радж, — уже доступны. Только использование таких программ пока запрещено... Ты прости, Анна, но я должен бежать...

„Все надоело, – думал Зэт. – Это выступление – к чему оно? Руководство ООЧ делает глупость, пытаясь взвинтить интерес к своим идеям и подставляя меня под удар. Хотят сохранить чистоту рук...

Грязная борьба за влияние на умы – вот что это такое. Им нет дела до Космического Молчания, их волнует лишь собственная болтовня, хоть и планетарного масштаба. Они уверены, что при резком торможении прогресса именно их организация захватит решающие позиции в Большом Совете. Потом они вытащат свои дурацкие лозунги на площади и станут обращать в свою веру всех поголовно. Странно, что люди с мышлением средневековых миссионеров дожили до нашего времени и не просто дожили, но пытаются перехватить бразды правления.

Иногда в ужас приходишь – среди кого я оказался, чьей поддержкой пользуюсь! Знал ли я, отступая от Ясенева, что вместо великих споров о природе Космического Молчания мне придется участвовать в дешевой клоунаде перед толпой ничего не смыслящих мальчишек? Но что поделаешь – черным героям не положено приноживаться к тем, кто их поддерживает...

И Ясенов, пропади он пропадом, не хочет включать связь, а с Анной... С ней я просто не способен говорить, никак не способен...

В небольшую комнату, где сидел Зэт, делая вид, что проигрывает на экране тезисы своего выступления, вбежал человек в черном комбинезоне.

– Я же просил не беспокоить меня, – нервно выкрикнул Зэт. – Через десять минут мне выходить на сцену.

– Боюсь, шеф, вы отложите свой выход, – ухмыльнулся человек. – В первых, передали, что суперсап доставлен в ваш дом.

Зэт вскочил с места, глаза его радостно засверкали.

„Редкая удача? – мелькнуло у него. – Я не рассчитывал, что Нодье сдастся так легко... Или какая-то ловушка?..“

– Есть и вторая приятная новость, шеф. В зале сидит парнишка, ужасно похожий на Тима Ясенева.

„Это вполне компенсирует исчезновение Ясенева-старшего, – решил Зэт. – Удачи идут косяком, надо срочно действовать. К черту все выступления! Кто бы мог подумать, что в этой дрянной комнатенке в данный момент решается судьба цивилизации...“

– Парня немедленно взять, приготовить нашу капсулу, – коротко распорядился он.

И когда дверь за охранником захлопнулась, с горечью подумал: „Судьба цивилизации... Становлюсь до противного стар и высокопарен...“

– Послушай, Комиссар, – сказал Грегори, – ты все-таки рискуешь ошибиться. Радж никогда еще не тревожил людей по пустякам...

– Вот что, Стив, – жестко обрезал его Комиссар, – если вы с помощью эвромата так легко заглядываете в души, вас надо немедленно отдавать под суд. Твое счастье, что я ни капельки не поверил Махагупте.

– Но в результаты, которые мы получили ночью, ты охотно поверил...

Комиссар нервно ходил из угла в угол, ожидая данных с компьютеров ПСБ.

„Последняя проверка версии, — думал он, — процессуальный кодекс, и все такое... Глупейшая трата времени — что могут наши примитивные корочки по сравнению с их эвриками? Так ради чего я должен метаться по этому паршивому павильону и буквально в двух шагах от выявленного преступника выслушивать подначки ошалевшего от бессонницы Стива?..“

— А почему же ты не выдал мне данные в духе вашего Раджа? — раздраженно спросил он вслух. — Или Махагупта единственный из вас, кто умеет по-настоящему обращаться с эвроматом?

— Я не сделал этого, и сейчас чувствую себя последним подонком, — ответил Грегори. — Радж оказался честнее... Дело в том, что получение и использование данных, которые он нам передал, категорически запрещено Советом, пока запрещено... Может быть, и-я пошел бы на это, но мы были вместе, Комиссар, и никто бы не поверил, что я нарушаю закон без твоей санкции. И тогда тебе конец.

— Спасибо за заботу... Выходит, этот парень связался со мной, чтобы выпросить пару добрых браслетов? Но, честное слово, я ему не поверил.

— И зря, зря не поверил. Махагупта пошел на огромный риск — в лучшем случае его могут надолго отстранить от исследовательской работы. Но ведь речь идет о жизни мальчика...

— Ты и об этом мне напоминаешь? — перебил Комиссар Стива. — Но в нашем деле приходится добиваться большего. Нужно, чтобы остались живы и мальчик, и цивилизация, к которой он принадлежит. Вот почему мы разборчивы в методах следствия, если ты до сих пор этого не понял. Тебе пора осознать, что именно исполнители закона способны учинить самые дикие беззакония, если станут действовать любой ценой в интересах одного человека или какой-то группы...

— Грегори, — сказал Комиссар, — мы оба чертовски устали... И все-таки попытайтесь объяснить мне — популярно и в двух словах — как вы пришли к тем опасным результатам, о которых сообщил Радж?

— Несколько лет назад мы обнаружили, что эвромат очень ловко прогнозирует весьма сложные системы, — воодушевленно начал Грегори, — а потом выяснилось, что он вообще мастак по части самых разнообразных поведенческих ситуаций. Благодаря свободному и сверхбыстрому перемещению по полям аналогий он обладает многоуровневой рефлексией, то есть моделирует поведение систем, тоже способных к прогнозированию, учитывает не только внешние реакции партнера, но и разыгрываемые им модели окружающей обстановки. Он учитывает цели и возможные средства их достижения, характерные для партнера, и даже тот факт, что он сам подвергается моделированию, что партнер обладает равномошной рефлексией... Короче говоря, ни один из имеющихся в нашей картотеке детективных сюжетов для него не проблема. Интриги старых романов и хитроумнейших современных фантакримов он щелкает за пару минут. Такое дело, Комиссар...

— Я уже догадался, что защищаю интересы той стороны, которая намерена лишить меня работы, — усмехнулся Комиссар. — В этом парадокс

моей профессии – нередко приходится защищать того, кого хотелось бы хорошенько высечь. И тебя следовало бы – ты вот-вот вывихнешь мне мозги...

– Когда загораешь без дела, не грех и поболтать, – примирительно сказал Грегори. – А чего мы, собственно, загораем?

– Спроси меня о чем полегче... Я жду подтверждения нашей версии Центральным интеллектоном ПСБ. Я же не имею права ссылаться на наши ночные результаты, а тем более – на данные Раджа. За ссылку на эвромат с меня голову снимут. Впервые в жизни выдаю чужие расчеты за свою гипотезу – вот до чего я докатился, связавшись с тобой и твоими друзьями...

Четыре черные фигуры как-то сразу надвинулись на Ясенева, он почувствовал, что оторвался от кресла и движется среди криков и раскрасневшихся физиономий, а локти его сжаты словно стальными зажимами.

– Ты срочно нужен шефу, – ободряюще приговаривал один из чернокомбинезонников, – тебя удостоили большой чести, парень...

Ясумото вскочил и бросился через все препятствия, наступая на ноги, отталкиваясь от чьих-то плечей и животов. „Если его опознали, – мелькнуло у Арчи, – ему крышка. Эта толпа вполне может устроить самосуд...”

– Куда вы тащите этого парня? – закричал он как можно громче.

– Все в порядке, – удивленно обернулся один из конвоиров Ясенева. – Этот малый срочно понадобился шефу. А тебе какое дело?

– Его родители просили присмотреть за ним, – сказал Ясумото, приближаясь к конвою. – Я хотел бы отвести его домой...

– Послушай, друг, – довольно миролюбиво начал чернокомбинезонник, играющий, по-видимому, роль бригадира. – Здесь посторонним делать нечего, понял? Здесь вообще не место для маменькиных сынков и тем паче для их лакеев. Так что катись отсюда, пока цел!

„Вот это новость! – подумал Ясенев. – Даже Арчи легко выследил меня. Нужно бежать, иначе Тим останется сиротой...”

И Ясенев резко рванулся из рук конвоиров, но тут же поскользнулся и упал. К нему бросились сразу трое. Ясенев ужом скользнул в сторону, сбил пустое кресло, оттолкнулся от пола и вскочил.

„Вот и драка, – подумал Фуэнтес, поднимаясь со своего места. – В таком собрании рано или поздно начинается мордобой... Что за мальчишка? Да это же Тим Ясенев!”

– Ребята! – крикнул он своим спутникам, тоже обернувшимся на толкотню в проходе. – Там похищенный сын Ясенева. Ему надо помочь!

Славко и Тэд мгновенно бросились вслед за Фуэнтесом, а Свен лишь удивленно привстал. „Этого еще не хватало, – подумал он, – Хосе что-то померещилось. Потом выяснится, что мальчик сам сбежал к этим неолуддитам, а мы будем отдуваться за участие в драке. Однако негоже бросать ребят...” И он двинулся к месту события.

„Четверо конвоиров – полбеда, – мелькнуло у Арчи. – Хуже, что за них вступился кое-кто из этой шпаны...”

Взмахнув рукой, Ясумото метнулся к одному из конвоиров. Тот упал как подкошенный. В прыжке Арчи удалось достать пяткой еще одного. Но бригадир отскочил в сторону и выхватил блейзер.

„Это конец, — сообразил Ясумото. — Он стоит слишком далеко...“

Вдруг перед его глазами мелькнула тень. Это Тэд Нгамбе в отчаянном прыжке швырнул свое тело на вооруженного конвоира. Его носок всего на несколько сантиметров не дотянулся до руки с блейзером, и он рухнул на пол. Короткая вспышка... Тэд Нгамбе скорчился и затих у ног чернокомбинезонника. Славчо едва лишь успел опуститься на колени рядом с Тэдом, как над его головой пролетело кресло, пущенное Хосе. Оно врезалось прямо в направленный на Мирову блейзер. Чернокомбинезонник схватился за руку и с искаженным лицом сполз по стенке.

Ясумото с трудом разглядел мальчика, которого два конвоира уже водкли по проходу. Он попытался пробиться, но бесполезно — к Арчи уже тянулись десятки рук. Его свалили и подмяли. Фуэнтес, вооружившись другим креслом, бросился ему на выручку. В отчаянном рывке Арчи немного высвободился и закричал:

— Хосе! Отбивай мальчишку!

Фуэнтес рванулся к мальчику, размахивая креслом, но чернокомбинезонники были уже далеко, а в проход вдоль стены выскакивали все новые и новые люди. Конвоир, которого Арчи вывел из строя первым, тоже пришел в себя и исхитрился дать Фуэнтесу резкую подножку. Хосе не поздоровилось бы — охранник бросился его душить. Но подоспел Свен Олафссон, который неспешно и с тяжким вздохом оторвал конвоира от пола и зашвырнул его в ряды метра на три от поля боя.

Вдруг возле входа в зал кто-то надрывно крикнул:

— Треугольники! Спасайся!

И в это время погас свет...

Тим пришел в себя от того, что защитный слой на одной из стенок его глухой камеры сдвинулся, и там замерцал большой экран. Как всегда, диктор официального канала давал важнейшую текущую информацию:

— ...к сожалению, пока не обнаружен. Преступники, на след которых напала ПСБ, оказали вооруженное сопротивление. Просьба ко всем — немедленно прекратить передвижения в квадратах с координатами...

„Кажется, из-за меня начинается целая война, — думал Тим, растирая виски. — В любой момент Зэт и его люди способны меня прикончить, и чем активнее действия ПСБ, тем вероятней такой результат. Странно... Оказывается, можно вот так валяться в наглухо запертой камере и спокойно размышлять о собственной гибели. Никогда бы не поверил...“

— Как сообщил Президент Совета, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о реализации третьей космогонической программы. Программа „Астра“ включает постройку трех межзвездных станций. Население этих станций вступит на особые ветви эволюции, и примерно через полстолетия наша планета впервые станет членом Космического Клуба межзвездных масштабов. „Мы надеемся также, — заявил Президент, —

что данная программа принесет много неожиданного, гораздо больше, чем принесло освоение планетного кольца Солнечной системы. Возможно, она позволит реализовать простейший вариант транспортного контакта с внеземными цивилизациями, во всяком случае – с развитыми формами внеземной жизни“ Действительно, главное – в неожиданностях! Мы подробнее прокомментируем программу „Астра“ в нашей специальной передаче, назначенной на завтра...

„Посмотреть бы эту передачу, – думал Тим. – А почему бы мне не попроситься в один из межзвездных городков? Конечно, долгий полет – занудливое дело, зато есть шанс увидеть нечто невероятное. Надо выяснить, почему отец и Нодье – каждый со своей колокольни, но чуть ли не в один голос – против немедленной реализации „Астры“. Отец считает, что межзвездным станциям не обойтись без эвроматов новых поколений, а Нодье уверен, что вся программа под силу только суперсапам. По-моему, они там, на станциях, сами прекрасно справились бы с выбором собственной линии эволюции... Вот на „Трансплутоне“ совершенно автономно создали настоящего симбиота, а у нас пока не могут воспроизвести. Конечно, там было безвыходное положение – мозговая травма, необходимость вживить интеллектуальные пленки... Но ведь здорово иметь в голове компьютер, полностью обеспечиваемый энергией организма, чего б я только не дал за такую операцию – в три раза выше уровень обучаемости! Это ж школу проскочишь и не оглянешься!.. Ладно, посмотрим передачу...”

– С трансплутоновой станции сообщают...

Герхард Вайс перепрограммировал свою капсулу на форсированный перехват. Расстояние между ней и серебристо-голубой капсулой преступников потихоньку сокращалось.

– Что-то на душе у меня неспокойно, – сказал Лао Шань, который разыгрывал на дисплее варианты предстоящей операции. – Эти террористы слишком нагло себя ведут, они приготовили нам какой-то сюрприз...

– Что поделаешь, – вздохнул Вайс. – После провала операции на этом самом митинге нам придется попотеть. По-моему, Комиссар не ожидал, что мальчишка окажется именно там. Иначе Зэт давно загорал бы на допросе.

– Да, дурацкое положение, – кивнул ему Лао Шань. – И главное – у нас опять связаны руки, мы, как всегда, действуем со связанными руками... И не можем ответить ударом на удар. Я уже целый год подумываю, что такая работа не по мне. По-моему, террорист должен знать, что при малейшей возможности он будет уничтожен – один или вместе со своей жертвой. Притом зверски уничтожен. Тогда бы он задумался – стоит ли рисковать...

Герхард пожал плечами и промолчал.

„Пожалуй, я опять попаду домой после ужина, – думал он, – и Марго станет душить меня своими вздохами. Она покормит меня, окропит слезами, потом поведет по детским спальням и будет по очереди тыкать носом в четыре посапывающие головки и заглядывать мне в глаза – не сколь-

знет ли там искра раскаяния... Ну, а если б у нас похитили – тьфу-тьфу-тьфу! – если бы у нас с ней похитили сынишку, даже не единственного, а одного из четырёх, Марго зубами разгрызла бы капсулу Зета – я ее знаю...”

– Честное слово, сбегу я из этой лавочки, – продолжал Лао Шань. – Моя Кэт так мне и сказала – либо я, либо твоя ПСБ, знаю я, как трясутся их жены! Представляешь, она отсрочила нашу свадьбу...

– По-моему, ты просто устал, Лао, – сказал Вайс. – Вот поймаем этих мерзавцев, и каждый получит по хорошему отпуску. Я, например, должен заняться младшим – у него весь игровой комплекс вышел из строя, и он ждет не дождется, когда мы с ним вдвоем покопаемся в схемах...

– Это хорошо, – улынулся Лао. – Но что мне делать с Кэт?

– Мне кажется, она будет хорошей женой, – ответил Вайс. – Видишь ли, Лао, моя Марго до самой свадьбы рекламировала меня как героя, самого бравого парня в ПСБ, и она даже не заикалась об опасностях моей службы. Но, когда пошли дети, она сколотила целую компанию домашних террористов – они загоняют меня в угол своей любовью и преданностью...

– Так у меня получится еще хуже, – расстроился Лао Шань.

– Как раз нет! – сказал Вайс. – Твоя Кэт выговорится сейчас, а потом будет сопереживать твоим приключениям. А это очень важно, чтобы кто-нибудь старался разделить твои трудности. Понимаешь? Не затискивал тебя своими страхами – у нас и собственных хватает! – а элементарно старался придать тебе силы... Так-то!

– Тебе легко говорить... – пробурчал Лао и, внимательно взглянув на приборы, сказал: – Пора идти на захват.

– По-моему, пора, – ответил Вайс и нажал синюю кнопку.

Капсула ПСБ рванулась вперед, используя ракетную катапульту. Расстояние стало заметно сокращаться, вот-вот автоматически включится поле захвата, и операция будет успешно завершена. Но в уходящей капсуле раскрылась бортовая щель, и мощный стационарный блейзер полоснул прямо по кабине с красным треугольником.

„Идиоты! – успел подумать Лао Шань. – Они не сожгут нас...”

И это была последняя его мысль. А перед глазами Вайса лишь на мгновение возникло лицо Марго, зашедевшей в страшном крике. Капсула ПСБ вспыхнула и ярким болидом врезалась в верхушки деревьев.

5

Жан Нодье сидел в своём глубоком кресле, закрыв лицо руками.

„Старость – вовсе не возраст, а состояние крушения, – думал он. – В тот момент, когда у человека отбирают будущее, он стареет мгновенно и бесповоротно. Ему любезно сохраняют биологическое существование и клейкую кучу воспоминаний, и он зарывается в нее все глубже, пока не задохнется. А потом родственники и друзья с почтительно-скорбными физиономиями вынуждены кланяться его фантаграмме и кучке пепла...”

Мои любимые ученики, в основном научные внуки и правнуки, сделают из этого настоящую ритуальную службу. Они будут клясться в верности моим идеалам и радоваться втайне, что я больше не воспрепятствую их собственным начинаниям. Хотя я никому из них никогда и не препятствовал, они все равно — пусть сначала бессознательно — возразят свободе. Сожжение старого вождя всегда дарило окружающим сильнейшую иллюзию свободы, хотя подчас на костре догорали вместе с ним ее же последние крохи...

И того единственного, кто мог бы стать подлинным продолжателем моего дела, я, не задумываясь, бросил в самое пекло. Если он не использует свои способности, его попросту прикончат, если использует — станет изгоем, его непременно объявят социально опасным и упрячут подальше. Значит, мы квиты, Игорь. Мы оба рискуем своими сыновьями. Именно так, потому что Лямбда — мой истинный сын, ему принадлежит реальное будущее. Потому что я нянчил его не просто пухленьким розовым комочком, а еще бесформенной клеткой, пусть не моей, но разве в этом дело... Почти как в старом сентиментальном романе — похоже, Игорь Павлович, что мы, старые противники, должны будем побрататься на крови собственных сыновей, на той жидкости, которая так прочно цементирует фундамент и верхние этажи нашей безудержно прогрессирующей цивилизации. Еще немного, и слезу пушу от своей патетики..."

Нодье услышал какой-то шум у двери своего кабинета и сказал, не опуская рук:

— Мари, меня нет ни для кого, кроме...

— Но для меня вы есть! — громко сказал Вит Крутогоров.

Нодье вздрогнул. Он поднял глаза и увидел растерянную Мари и Крутогорова, который уже успел пересечь кабинет и теперь устраивался в кресле напротив.

— Я пыталась его остановить, — испуганно сказала Мари, — но он размахивал каким-то страшным предметом и говорил, что сейчас взорвет наш Центр.

— Именно так, — подтвердил Крутогоров. — Взорву ко всем чертям! Но насчет предмета вы не беспокойтесь, это обычный карманный фантомат, только оригинальной формы. Я дарю вам его на память, чтобы вы не думали, что это блейзер или бомба...

И он протянул аппарат Мари.

— Вы идите, — спокойно сказал девушке Нодье и, обратившись к Крутогорову, добавил: — Знаете ли, молодой человек, мне до смерти надоел этот нескончаемый вестерн. Сначала у вашего шефа крадут сына, потом какие-то недоумки начинают намекать, что похищение организовано мною, и, наконец, врываются вы и пугаете моего секретаря чем-то бомбообразным... Что вы себе позволяете?

Крутогоров дождался, пока Мари исчезла за дверью, и сказал:

— В том-то и дело, что я не хочу сплетен. Я хочу знать, где мальчик, и я уверен, что обратился по адресу.

— По адресу в том смысле, что теперь я знаю, где прячут Тима, — ответил Нодье. — Он в доме бывшего сотрудника Эв्रोцентра, бывшего ясеневского друга, который ныне называет себя Зэтом и проповедует какую-то чушь. И если это единственное, что вас интересует...

— Нет, не единственное, — перебил его Крутогоров. — Есть и второй вопрос, поскольку я никак не пойму, откуда вы узнали о результате Махагупты?

— О каком результате? — удивился Нодье.

— Махагупта утверждает, что с помощью эвромата он рассчитал вероятнейшее местонахождение Тима, — сказал Крутогоров. — Мы ему не очень-то поверили... Но откуда об этом узнали вы?

Нодье усмехнулся и потер виски.

— Зря вы ему не поверили. Разумеется, я ничего не знал о его результатах, но важно, что наши предсказания сходятся.

— Вы хотите сказать, что ваш суперсап выдал тот же прогноз? Выходит, вы действительно не имеете отношения к похищению Тима?

— Вы неплохой парень, Вит, — через силу усмехнулся Нодье, чувствуя надвигающийся приступ головной боли. — Но вы, простите, никудышный актер. Этот вопрос следовало задать сразу, и я сразу ответил бы — нет, не имею! И очень хочу иметь отношение к спасению Тима, если оно еще возможно, если Лямбда и Тим...

И Нодье вдруг умолк, безнадежно махнув рукой. Крутогоров на цыпочках вышел из кабинета.

Зэт снял повязку с глаз Ясенева:

— Слушай, Ник, или как ты там зовешься, — сказал он. — Мы не сделаем тебе ничего плохого, если ты будешь вести себя разумно. Сейчас ты войдешь в нишу за этой стеной и увидишь парня — вы похожи, как две капли воды. Ты посочувствуешь ему и обязательно поменяешься одеждой — дескать, тебя вот-вот выпустят, и ты как благородный человек хочешь его спасти... На всю операцию тебе дается каких-то полчаса. Разумеется, когда сюда придут мои люди, они выпустят именно тебя — в его одежде, и далее ты будешь играть роль Тима Ясенева, понятно?

— Так у вас сидит этот знаменитый Тим? — с вполне естественной дрожью в голосе спросил Игорь Павлович.

— Не знаю, чем так уж знаменит этот мальчишка, — желчно ответил Зэт. — Знаменит, пожалуй, его отец, но тебе-то какое дело?

— А что будет с ним? — снова сыграл в наивность Ясенев.

„Поразительны не метаморфозы с помощью вживленного микроэвромата, — думал он. — Поразительно то, что способен делать с собой человек такого типа. Когда-то я мог положиться на него во всем, мы не имели друг от друга даже небольших тайн...“

Зэт долго шурился, разглядывая Ясенева. Потом сказал:

— Вот что, парень, не задавай лишних вопросов. Речь идет о твоей жизни. Ты должен выполнить все в точности, а Тим — моя забота. А сейчас я спешу.

„Ты очень спешишь, — подумал Ясенев. — Тебя торопит ПСБ, идущая по твоим следам. Это понятно. Хуже другое — сейчас я попаду к своему сыну и не смогу сказать ему ни единого слова, потому что кто-нибудь из твоих людей будет подслушивать каждый шорох в нашей камере, следить за каждым движением...“

Он не успел додумать. Часть стены отъехала, и сильная рука Зэта толкнула его в темную нишу, где сразу же вспыхнул ослепительный свет.

— Такова наша собачья жизнь, Стив, — сказал Комиссар, и лицо его пошло красными пятнами. — Эти мерзавцы сожгли таких отличных парней, как Гер Вайс и Лао Шань, а мы не можем ответить им ни единым залпом. Мы отвечаем им философским тезисом, согласно которому террор не пресекается новым террором. Они принимают к сведению наш ответ и преспокойно готовят новые убийства...

— Но здесь мы сами сплеховали, — перебил его Грегори. — Небольшая засада у дома Зэта легко решила бы проблему, возможно, вообще без жертв. Один Радж догадался устроить слежку в центре преступления.

— Однако какой ценой! Сегодня запрещенной игрой с эвроматом воспользовался Махагупта, воспользовался во имя благородной цели — найти похищенного. Но завтра те же приемы применит Зэт или кто-то зэтообразный, причем для расчета поведения жертвы. Понимаешь ты, ученая голова?

— Кончай читать мне свои детские проповеди! — взвинтился Грегори. — Для подлости и шантажа не нужен эвромат. В прошлом веке для этого вполне хватало предупредительных автоматных очередей и тех же похищений без предварительного компьютерного планирования!

— Ладно, не пыли... Просто я дьявольски обозлен. У Вайса осталось четверо малышей, а Лао собирался уходить из ПСБ. Он даже выдвинул свой тезис — безответность неизбежно перерастает в безответственность. И пытался доказать его как строгую социологическую теорему... Он считал, что террористу нельзя оставлять ни одного шанса...

— Не думаю, что наше общество может позволить себе такую роскошь, как разведение бесшансовых людей, — усмехнулся Грегори. — Они — взрывчатка!

— Должно быть, так, — вздохнул Комиссар. — Я не разделяю его точку зрения, но он заплатил за нее жизнью, а это огромная цена. И мы с нашей размягченной философией тоже в чем-то неправы, если позволяем гореть таким парням, как Гер и Лао. ПСБ долго еще не останется без работы...

Грегори осмотрелся. Их капсула шла на снижение, едва не срезая верхушки деревьев.

— Общество статично, — сказал он, — и всегда найдутся любопытствующие, которым в круге закона тесно и скучно, которых более всего мучает вопрос — а не лучше ли там, за оградой? Так что не бойся за свою работу...

— Ты холодно рассуждаешь, Стив, — ответил Комиссар. — А мне не до теорий, я не могу работать без веры в будущее, лишенное целей, к кото-

рым надо идти по трупам... Быть может, такая вера покажется тебе стариковской блажью, но без нее я не выдержу встречи с Марго и с детьми Гера...

Они замолчали. Капсула Комиссара во главе небольшой эскадрильи ПСБ приближалась к цели.

Суперсапа Лямбда ввели в большой холл, и Зэт сразу перешел к делу:

— Я рад, что Нодье поступил разумно, но разработок по твоей серии я не вижу. Я не слышал также и его отречения. Как это понимать?

— Очень просто, — ответил Лямбда. — Сначала — Тим! Я уполномочен начать переговоры только в том случае, если Тим, здоровый и свободный, окажется за порогом этого дома.

— Странные разговорчики, — усмехнулся Зэт. — Твоему шефу легко играть жизнью чужого сына... Но условия диктую исключительно я!

— Нужны некоторые гарантии, — спокойно сказал Лямбда. — Вы понимаете, что честное слово террориста не тот залог...

— Ты тоже считаешь меня террористом? — быстро спросил Зэт.

— Считаю, — ответил Лямбда. — И даже рассчитываю... И этот расчет приводит к ужасной картине.

— Ты очень большой умник, — заулыбался Зэт. — Но ты еще и великий дурак. Если не ошибаюсь, сейчас именно ты ведешь работы по подготовке серии Мю? Можешь не отвечать, я и так знаю, что старикашка Жан на создание столь сложных индивидов уже не способен. Так вот, предположим, ты в рекордные сроки сделаешь эту серию. И сразу же вы, нынешняя вершина суперсапов, окажетесь в роли умственно второсортных, каковыми теперь становятся обычные люди. Только нас много, нас миллиарды, а вас — горсточка... И вы растворитесь в истории как неудачный вид, случайно мелькнувший между великими сапи и целой каруселью всяких суперов, вас ждет темный и пыльный эволюционный тупик, деградация и вымирание... Ты все еще считаешь меня террористом?

- Лямбда коротко кивнул.

— Что ж, — продолжал Зэт, — буду краток. Переходи на мою сторону. Тебе не придется забивать мозги проблемой творения Мю — мы вообще наложим табу на все серии, которые будут сложнее твоей. А сапи пусть спокойно уйдут в прошлое, мы не станем мучить их в хомопарках. Останутся превосходные фантаграммы и подробные записи их генетических структур в компьютерной памяти — этого вполне хватит для антропологии... Соглашайся, Лямбда, ибо за какие-то считанные тысячелетия вы превратите огромные участки Галактики в храм чудес, воздвигнете себе неуничтожимый памятник и тогда потихоньку двинетесь дальше — от Мю до Омеги. Но каждому надо хоть немного пожить, ощутить прелесть хотя бы иллюзорной вечности. Мы, обычные люди, это ощутили. Мы прошли сквозь века с верой в бессмертие своего вида. Почему бы и вам не хлебнуть счастья?

— От вашего счастья нетрудно с ума сойти, — сказал Лямбда. — Мы, суперсапы, составим поколения в новом смысле, и почему я должен завидо-

вать продвинутости собственных потомков, тем, в кого вложена частица моего разума? Отцовская зависть и сыновняя неблагодарность испокон веков порождали кошмарные пожары. Но нельзя разжигать их в масштабах глобальной эволюции...

– Хорошо, поговорим по-другому, – перебил его Зэт. – Видишь ли, ты не только представитель лидирующего вида, ты еще и просто человек, так сказать, индивид. Между тобой и социальным организмом, между твоей жизнью и эволюцией твоего вида в целом – огромный зазор. Принимая на свои плечи видовую и социальную нормы, безоговорочно разделяя цели и средства процветания своего социоида, ты берешь непосильный груз. Индивид не сопоставим с социоидом ни по срокам жизни, ни по защищенности, ни по мировосприятию. Он становится песчинкой в игре колоссально превосходящих его сил. И, по-моему, плохо, если он еще и послушная песчинка. Он просто растворяется в массе себе подобных – вроде и не жил. Понимаешь? Да ты-то все понимаешь, все чувствуешь лучше меня. Вот и докажи, что ты не просто песчинка...

– Сейчас вы предложите мне роль планетарного диктатора, верно? – еле заметно усмехнулся Лямбда. – Начинается с бунтующей песчинки, а кончается гранитным пьедесталом для диктатора, состоящим из тех же песчинок, щедро сцементированных кровью.

– Не хотелось бы тебя пугать, – устало произнес Зэт, – но, боюсь, у меня нет выбора...

Тим, нахохлившись, сидел в углу и жмурился от яркого света и внезапно оборвавшегося одиночества. У Ясенева екнуло сердце.

– Ты кто? – спросил Тим, протирая глаза.

– Да вот, схватили... – неопределенно протянул Ясеньев. – По-моему, мы здорово похожи.

– Похожи, – сказал Тим. – Настолько похожи, что я даже могу угадать, зачем тебя прислали. Ты должен выведать у меня семейные секреты, а потом эти гады расплатятся тобою с моим отцом. Я прав?

– Хочешь еще один вариант? – поинтересовался Ясеньев. – А вдруг ты только выдаешь себя за Тима Ясенева, и они проверяют...

– Не выдумывай, – оборвал его Тим. – Они прекрасно знают, кто есть кто. Похищали-то именно меня...

– Ну и что? Утащили какого-то мальчишку, шатающегося у лесного озера. Он полдня крутил популярную фантпрограмму про Аля и Кэттля, потом получил взбучку от отца и пошел проветриться. Тут его и схватили.

– А откуда ты знаешь про Кэттля? Хотя, конечно, они следили за каждым моим шагом и все тебе рассказали...

– Даже про несделанный реферат о луддитах, – усмехнулся Ясеньев. – Как тебе, кстати, экспериментальная история? Как критики из ООЧ?

– Теперь не знаю, – краснея, пробурчал Тим. – К ним затесалась кучка негодяев, способных на все. Но тебе-то что до этого?

– Послушай, Тим, – твердо сказал Ясеньев, – наше дело дрянь. Возможно, ты последний, кто видит меня живым, а возможно – наоборот. Бывают

ситуации, в которых просто некогда злиться друг на друга.

– А кто ты, собственно, такой?

– Мое имя Ник, если тебя это устраивает. И я хочу тебе помочь.

– Но ведь ты пришел сюда с ведома этого типа, испытывающего удовольствие от своих идиотских метаморфоз.

– Не уверен, что он испытывает одно только удовольствие...

– Ага! Ты его защищаешь! Я тебя окончательно раскусил. И не пытайся ничего выведать...

– Ты чего расшумелся? – повысил голос Ясенов и тут же поймал себя на мысли, что говорит привычным отцовским тоном. – Я не собираюсь ни о чем расспрашивать, даже о летающем крокодиле, который кипит по утрам озеро.

– О крокодиле? – изумился Тим, и глаза его округлились.

Это была их с отцом глубочайшая тайна, совместная фантазия, творимая на протяжении многих лет. Огромный летающий крокодил заваривал себе утренний чай из листьев и веток, и густой туман был тем паром, который так часто поднимался над чайкой озера...

– Не может быть, – прошептал Тим, и Ясенов посочувствовал тому, незримому и подслушивающему.

– Представь на момент, что происходит именно то, чего не может быть, – сказал он вслух. – И еще вообрази, что ты вместе с одним совсем взрослым человеком пытаешься засечь ночной визит крокодила...

О, это была целая эпопея! Семилетний Тим потребовал, чтобы на ночь в его спальне устанавливали чувствительную аппаратуру, – в нем прорезался начинающий экспериментатор. Ясенов прибег тогда к небольшой мистификации – камера сняла какие-то грозные колеблющиеся тени, а Стив Грегори любезно согласился надиктовать на пленку целое „послание крокодила“. Ну, а вскоре маленького Тима подпустили к фантамату, и крокодил долгое время числился среди его ближайших друзей.

– Так вот, – продолжал Игорь Павлович, – тем же способом подслушивают не только крокодилов. Понимаешь?

– Понимаю, – прошептал Тим, и глаза его заблестели. Ясенову показалось, что мальчик сейчас же бросится ему на шею, но Тим удержался.

– Значит, мы договорились, – сказал Ясенов как можно равнодушной. – Теперь я буду Тимом, а ты – Ником Суздалевым. И давай меняться одеждой. Через каких-то полчаса ты окажешься на свободе.

Тим автоматически стал стягивать куртку. Но тут же застыл.

– Нет! – сказал он. – Так не пойдет! Я тебя понимаю, но ни за что...

– Кончай спорить! – прикрикнул на него Ясенов. – Ты же знаешь, как крокодилы меняются кожей.

Это всплыло тоже из той сказочной эпохи, когда летающего крокодила заставляли меняться кожей с крокодилом танцующим. Обмен состоялся лишь понарошку, крокодилы лишь перемигнулись – кто их там различит... Но эта операция спасла жизнь обоим, потому что самодур дракон приказал танцору летать, а летуну – танцевать...

— Хорошо, — сказал Тим, — так я согласен. Но я еще хочу спросить... Неужели метаморфозы — это правда? Неужели ты... неужели эти эвроматчики зашли так далеко?

— Об этом ты расспросишь на досуге своего отца, — ответил Ясенев, громко пыхтя от воображаемого переодевания. — Говорят, он кое-что смыслит в этих самых эвроматах. А я плевать на них хотел... Кстати, курточка твоя мне ужасно нравится...

„Почему он никогда не приходил ко мне вот так — мальчишкой? — думал Тим. — А ведь мы чуть не подрались... Но главное — я и сейчас его не пойму, он как-то хитро отводит от меня удар, хоть мы и не поменялись одеждой. Но как?..“

— Что ж, твое дело, — сказал Зэт. — Я хотел помочь тебе, но, видать, права старая присказка, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Сейчас сюда приведут мальчишку. Ты немедленно свяжешься с Нодье и передашь ему мои условия. И пожалуйста, попрощайся с ним...

Зэт отдал короткий приказ по индиканалу. В холл сразу вбежали чернокомбинезонники, равномерно оцепили его и вытащили блейзеры.

— Как видишь, я высоко ценю тебя и твои феноменальные способности, — усмехнулся Зэт. — Имей в виду, все аппараты на боевом взводе, и мои парни могут неверно истолковать любое твоё движение.

Ввели Тима.

— Итак, перед тобой подлинный Тим Ясенев, — тоном провинциального конференсье сообщил Зэт. — Он абсолютно невредим, думаю, он даже слегка отдохнул от школьной мороки. Теперь выходи на связь с Нодье!

„Ладно, — подумал Лямбда, ощущая знакомое покалывание в висках. — Так тому и быть. Предельно неагрессивное творение старины Жана проведет свою первую открытую демонстрацию отнюдь не в гиперментальной сфере. Будет почти обычная драка в стиле дешевых фантпрограмм. Обидный парадокс, но что поделаешь... Боюсь, что для этой своры пятикратного ускорения времени окажется маловато. Кто-нибудь успеет выстрелить. Для Мю нужно предусмотреть хотя бы двадцатикратное ускорение...“

Он ждал целую вечность, пока чернокомбинезонник приближался к нему с протянутой рукой, в которой тускло поблескивал передатчик.

И вдруг мощный импульс страха ударил по пространству холла. В тот же миг Лямбда метнулся на пол, успев выбить блейзер из рук приблизившегося охранника. Резким толчком он отшвырнул Тима прямо к креслу, на котором сидел Зэт. Чернокомбинезонники стали корчиться и/бседасть — как в замедленном кадре. Лишь один из них успел пустить луч и попал в своего коллегу. Сознание Тима почти сразу вырубилось — словно вся Вселенная схлопнулась, расщепив на атомы его мозг.

Зэт мгновенно оценил ситуацию. Волна страха лишь слегка коснулась его, но не достигла цели, остановленная эвроблокировкой. „Немедленно бежать, — мелькнуло у него. — Все к черту, и бежать! Противно, но меня спасает именно трижды проклятый мною эвромат...“

Лямбда схватил Тима, взвалил его на плечи и бросился к выходу. „В любой момент могут поднять стрельбу люди из внешней охраны, — думал он. — Теперь надо поспеть к капсуле Зэта...“

Зэт, выбитый из кресла, валялся на полу, ощупывая шишку на затылке и пытаясь совладать с приступами тошноты — мутило от воспоминаний о только что лизнувшей его волне страха. Он с трудом встал на ноги и поплелся к ангару, где в дальнем углу стояла замаскированная капсула, помеченная красным треугольником — пожалуй, единственное средство скрыться от погони.

„Будет здорово, если пээсбэшники сожгут этих недоумков, большого и малого, — думал он: — Ради этого и моей голубой капсулы не жалко...“

— ...ухожу, потому что не в силах выдержать той бури, которая разразится в результате расследования, — диктовал Нодье.

Я счастлив, что суперсап Лямбда пошел на помощь Тиму Ясенеvu, пошел совершенно добровольно и с большим риском для жизни. Одно это доказывает возможность сосуществования ментальных поколений разного уровня. Но мне лучше, чем кому-либо иному, известны средства, которые способен применить Лямбда. Мне вполне понятно и то жуткое впечатление, которое эти средства производят — ими наносится жестокий удар по системе межличностных отношений, по естественному человеческому доверию, наконец, по самой идее прогрессивной эволюции. Людям может показаться, что их лучшие творения роют могилу собственным творцам — я имею в виду эвроматы и, конечно же, своих суперсапов.

Однако ошибочно думать, что процесс завоевания гиперментальных высот, то есть создания новых поколений суперсапов и мощных эвросистем, можно чем-то остановить. Можно слегка притормозить его в том или ином направлении, но потом все равно придется уходить вперед...

Каждое крупное открытие чревато применением в военно-террористических целях. Такова судьба дубины и колеса, лука и пороха, лазера и уранового котла, такова судьба ракет и сверхскоростных компьютеров, а ныне — всей гиперменталистики. Новая ступенька постижения мира всегда оказывается скользкой — пока на нее не ступят первопроходцы, ее просто некому очищать от льда и грязи древних предрассудков. В иные времена думалось, что дворничьи обязанности исполняет лично Всевышний, заодно выстилающий лестницу познания бархатистыми коврами откровений и освещающий ее лучами абсолютной истины. Но мы не пришли ни к каким горным вершинам и остались один на один с очень сложным будущим — ступать в него страшно, а двинуться назад, к пещерам и каменным топорам, тоже как-то неудобно. Трудность в том, что прогрессивное будущее всегда сложнее наших модельных представлений, и, выстраивая его как реальность во многом вслепую, мы рискуем соорудить опаснейший капкан планетарного, а то и космического масштаба. Но важно понять, что зубьями капкана служат именно наши предрассудки, а не достижения.

Я хочу отместить опасения по поводу немедленной смены лидирующего вида. Суперсапы прежде всего разведчики будущего. Ради этого станут создаваться все новые и новые индивиды и целые популяции, и с их помощью мы колоссально раздвинем горизонты. Думаю, что постепенно все человечество станет на путь перманентной реконструкции мозга, но разведка, как ее иногда называют, гиперментальный авангард, останется навсегда. И каждый, знающий реальную историю, согласится, что фактически авангард такого рода существовал и в иных тысячелетиях. Представьте, каким суперсапом, а по тем меркам – богом, выглядел Пифагор в глазах забитого, диковатого раба или простого сицилийского рыбака своих времен...

Разумеется, ни те древние века, ни века совсем недавние не имели доступа к современным методам создания авангарда. Все решалось более или менее случайным совпадением трех факторов – хорошей наследственности, высокого образовательного уровня и, конечно, четкой работы социального усилителя, способного при благоприятном стечении обстоятельств отобрать действительно талантливые идеи, сделать их общезначимыми, превратить их в руководство к действию. При нынешнем темпе наступления будущего мы вынуждены максимально использовать и лучшие достижения генетики и интеллектроники – у нас нет иного пути к дальнему футуровидению, а без него наше будущее может оказаться эстрадной пародией на великое и очень трудное прошлое, планетарной комнатой смеха, которую мы по своей близорукости примем за церемониальный зеркальный зал для восторженного самолюбования...

И последнее. Я отвергаю любые обвинения в преднамеренном создании нового оружия. Это так же нелепо, как обвинять, скажем, Циолковского в бомбардировках Лондона ракетами Фау. Применению всякого открытия надо учиться, и такое обучение никогда не проходит безболезненно. Цивилизацию не подвергнешь общему наркозу ради обезболивания родовых схваток – тех, в которых рождается наше завтра.

Я ухожу несломленным, моя совесть чиста. Хочу уйти лишь от убийственно долгой следственной процедуры, дабы не видеть добровольного мученичества сотрудников ПСБ, пытающихся юридически определить правомочность моих замыслов и экспериментов. Моя работа в любом случае будет прервана, а возраст не позволяет надеяться на ее возобновление. Я оставил миру все, что мог, и не желаю добавлять к этому кучу нелепых оправданий. Теперь я хочу дожидаться лишь одного – сигнала от Лямбда. Его победа в схватке с Зэтом – последнее, о чем мне хотелось бы услышать. Прощайте!

Нодье отключил аппарат, достал из кармана маленький блейзер и положил его на стол прямо перед собой. Прошло несколько минут, и он, словно загипнотизированный спокойным блеском оружия и полным освобождением от суеты, почувствовал, что соскальзывает в глубокий и, быть может, целительный сон...

Тим с трудом открыл глаза. Рядом сидел этот странный человек, к которому его только что привели, и оба они находились уже не в коттедже Зета, а в капсуле, очень быстро уносящейся на закат.

„До чего ж сумасшедший день“, – подумал Тим, с радостью осознавая, что нет больше вязкой камеры, что надежность положения как-то сразу поглотилась открытым пространством наступающего вечера.

– Куда мы летим? – спросил он и обрадовался звукам собственного голоса. – Ты сотрудник ПСБ, да?

– Я отвезу тебя домой, – ответил Лямбда, – и там с тобой обязательно встретятся люди из ПСБ. Ты расскажешь им про все свои приключения. А я – сотрудник Нодье, суперсап серии Лямбда. Разумеется, у меня есть настоящее имя и родители, но все это пока не разглашается – вплоть до решения Большого Совета, который на днях будет обсуждать наши исследования. Ты в курсе?

– Да, конечно, – ответил Тим, и вдруг слабое подобие волны страха, испытанного им совсем недавно, просочилось из памяти и отозвалось легким приступом тошноты. – А как тебе удалось вытащить нас оттуда?

Кольцо взведенных блейзеров отчетливо всплыло перед Тимом, и он еще раз пережил страх – мелкий и противный – перед этим красноречивым кольцом, желание распластаться на полу, вжаться в него, стать незаметным.

– Удалось... так вот и удалось, – сказал суперсап. – Но мне еще изрядно достанется за ту сцену. В сущности, я не имел права спасать тебя, используя свое суггестивное поле. В этом смысле, Тим, я подхожу под действие закона о бесконтрольном применении суггестивных генераторов, и меня могут конфисковать у Нодье. Его тоже ждут крупные неприятности.

– Как это конфисковать? Ты же человек!

– Спасибо... Но внушение, особенно прямое действие на мозг, – и вправду опаснейшее оружие. Я слышал, ты увлекаешься историей. Там ты найдешь много примеров внушения – один страшнее другого...

Тим промолчал. Ему хотелось поспорить, хотелось сказать, что тут – нечто совсем иное... Но его все сильнее охватывала тревога за что-то, выпавшее из этого прекрасного открытого мира, оставшееся в стенах – то ли памяти, то ли того странного дома... Лицо Ника Суздалева вдруг ярко выветилось в сознании Тима, словно надвигающийся горизонт стал зеркалом, внезапно возникшим в вязкой и темной камере.

– Назад! – закричал Тим. – Там мой отец, там остался мой отец!

„Молодчина, – подумал Лямбда. – Он довольно быстро пришел в себя“.

– Не надо, – сказал он вслух, – успокойся. Я уверен, что ПСБ давно освободила твоего отца. С ним не могло случиться ничего плохого – даже мой трюк на него не подействовал, хотя он находился совсем рядом, за стенкой. Когда-нибудь он расскажет тебе, почему так вышло. Хуже дру-

гое, Тим, – по-моёму, нам не дадут добраться до твоего дома.

И он показал на обзорный экран. Только теперь Тим заметил, что их преследуют целые три капсулы ПСБ.

– Сейчас они пойдут на захват, – сказал Лямбда. – Будем садиться.

– Лучше сразу домой! Я успокою маму – представляешь, как она переживает... И она будет рада познакомиться с тобой.

– Я как-нибудь потом загляну к тебе, в гости, а теперь идем на посадку. К тебе одна просьба, Тим. Сразу же, как сумеешь, свяжись с Жаном Нодье по индиканалу. Сообщи ему, что все в порядке. Я несколько раз пытался выйти на связь, но не смог – похоже, он отдыхает. И обязательно скажи ему, что мне жизненно важно обсудить с ним все происшедшее. Это очень важно, Тим, а мне, вероятно, не сразу представится такая возможность... Договорились?

Серебристо-голубая капсула рванулась к земле, а вслед за ней с небольшими интервалами пошли на посадку три машины с красными треугольниками на борту. Тим и суперсап выбрались на траву, и через пару минут их окружили возбуждённые и явно довольные мирным финишем сотрудники ПСБ. Лямбда с отрешенным видом присел на небольшой валун и застыл, не реагируя на вопросы и суету.

Тима сразу же отправили домой, твердо пообещав, что отец будет ждать его именно там. Уже в воздухе Тим вспомнил о поручении, но канал Нодье не отзывался, и предчувствие близкой встречи с мамой как-то затмило тревожность этого молчания. И мамин канал помалкивал, и это тревожило Тима, но, с другой стороны, оно к лучшему, думалось ему, потому что получится грандиозный сюрприз, такой, которого не имел еще никто из Ясеневаых...

И еще Тим думал о том, что мир вокруг не изменился – в нем стоят те же деревья, текут те же реки и то же огромное красное солнце уходит на покой... и добродушно улыбаются рядом с ним храбрые ребята из ПСБ, блестяще и без потерь завершившие поимку преступников... и где-то там, сзади, как былинный герой отдыхает на камне суперсап Лямбда, ожидая почестей и наград, которые определит ему Большой Совет...

А где-то там, далеко позади капсулы, уносящей Тима, старший по патрулю, окружившему суперсапа, немного растерянно докладывал о создавшейся ситуации по индиканалу:

– ...я ж говорю, они сами сели, Комиссар. Вот и я думаю – что-то не то... А он спокойно отдыхает на камне, вылутился на закат и не моргнет. Будто плевать ему с высокой вышки на свое положение... Он только один раз попросил разрешения выйти на связь с Нодье, но я на него прикрикнул, и все. Я решил, что он вызовет подмогу... Нет-нет, мы не говорили ему ничего оскорбительного, что вы, Комиссар! Я только раз спросил его, зачем они утянули мальчишку, но он ничего не ответил... И знаете, Комиссар, мне показалось, что я сразу же обозвал себя дураком. Вообще-то я не очень самкритичен, но тут я как-то сразу осознал, что я дурак... Чтò? Вы полностью согласны? Но ведь он... Понимаю... Но ведь он сжег Гера и Лао... Чтò?

Есть заткнуться! Я уже заткнулся, Комиссар... Есть доставить его в Центр Нодье! Хорошо, будет сделано... Чтобы Нодье оказался завтра утром у вас на допросе... Ясно! Конечно, деликатно, о чем речь... Только меня не пустят к нему. Вы же знаете, Комиссар, старикашка... да-да, этот Жан Нодье с причудами, может и на допрос не явиться... Есть! Есть выполнять!

Грегори и Комиссар очень медленно шли к своей капсуле, шли нехотя, словно не спешили удалиться с этой прекрасно ухоженной лужайки вокруг дома Зэта.

– Знаешь ли, – вздохнул Комиссар, – впервые в жизни я не уверен, что мне нравится моя работа...

– Боишься, что тебе предложат арестовать Ясенева и Нодье?

– У меня рука не поднимется, но им грозят немалые неприятности.

– Я на их месте поступил бы так же, – твердо сказал Грегори.

– И я, но дело не в нас с тобой. Как частное лицо и как сотрудник ПСБ я вынужден придерживаться разных точек зрения.

– Должно быть, ты крепок на разрыв...

– Приходится... Каждому из нас приходится испытывать себя на разрыв многими противоречиями – разве это удивительно?

Они уже подошли к капсуле, где их ждал Яснев, завершивший свою метаморфозу и все еще бледный.

– У Раджа берут показания, – сказал ему Комиссар, потом он направится прямо к вам. А завтра к вечеру жду вас у себя, нам будет о чем поговорить... Стив, ты сможешь отвезти Игоря Павловича домой?

– Смогу, – сказал Грегори и, улыбнувшись, добавил: – Если тебе надоест ловить зэтов, Комиссар, приходи в наш Центр, мы будем рады...

Над озером уже взошла картинно-золотистая луна, и Анна поплотней укуталась в Игореву куртку.

„Страшно подумать, – размышляла Анна, – что у этого озера тысячу лет назад могла сидеть моя пращурка, зная, что сын ее полонен врагом, а муж поскакал ему на помощь, и, может быть, лежит он где-то на лесной дороге со стрелой в груди, а сын бредет среди пыли и гиканья в связке рабов... И такая же ночь тем же бессмысленным глазом созерцала ее и звала уйти в эти воды, стать живым камнем для нестерпимо ноющей памяти...“

Игорь Павлович и Тим, взявшись за руки, выбрались из лесу и бегом бросились к берегу. Анна обернулась. Не было сил встать и пошевелиться тоже не было сил. Она звала их – ей казалось оглушительно громко, но она лишь шептала их имена и мысленно неслась к ним, обгоняя свет, пытаясь обнять раньше, чем увидеть. Но это был только бунт воображения, а на самом деле она сидела не в силах оторваться от земли, а ее мужчины – ее мужчины! – мчались к ней, нелепо подпрыгивая и размахивая руками.

И добежав, с разгону бросились на нее и стали тормошить, доказывая свою реальность, свою дрящую жизнь самым древним и достоверным способом. И Анна засмеялась, опрокинутая и разорванная этим вихрем, засмеялась и подмигнула луне, бьющейся в затмениях среди двух родных

лиц, которые вовсе не были сгустками тумана или электромагнитных волн, а становились все более реальной плотью Анны Ясёневой.

Отчаянной силы импульс этой реальности внезапно прошил ее с головы до ног, и она поняла, что разорванной на три части Анны больше не существует, а снова есть их Аннушка, мама и жена, их что угодно, но именно их! И этот мгновенный импульс полноты жизни выбросил Анну вверх, она взметнулась свечой и ударилась в пляс, со смехом и слезами. И вслед за ней взметнулись Игорь и Тим, две ее вновь обретенные части, и все они сплелись в живой пульсирующей композиции, которую небо видело своим золотистым глазом тысячу лет назад, а может, раньше или позже – в прошлом или в будущем.

Но сейчас на берегу маленького лесного озера творилось настоящее, творилась пляска, в которой исчезали страшные часы двух последних дней, мельчайшие по космическим меркам частицы неуловимости, именуемой временем.

Минск, 1985

ЛОВУШКА В ЦЕЙТНОТЕ

*Тише, тише совлекайте
с древних идолов одежды.
Слишком долго мы молились,
не забудьте прошлый свет.*

КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ

1

Говорят, частые погружения в историю – верный признак надвинувшейся старости. Похоже, так и есть. Эти приступы любви к утраченной простоте – естественная реакция на новые сложности, которые сыплются, как из рога изобилия, и выглядят непреодолимыми.

Усталость наваливается ватными глыбами, но их много, этих пушистых и вроде бы невесомых глыб, их миллионы кубометров, и постепенно они выдавливают из человека волю к сопротивлению, волю думать и шевелиться в соответствии с задуманным. Вот и ощущаю себя интеллектуальной игрушкой в упаковке собственной усталости, или собственного безволия, или черт-те чего иного, неименованного и оттого вдвойне удушающего.

Я всеми силами стараюсь пришпорить себя неизбежным позором, насмешкой и прочими моральными стимулами, но выходит истинное не то, ибо я хорошо помню, что стимул – это просто заостренная палка, коей древние греки изволили понукать баранов. Настоящая усталость – когда не только не можешь размахивать стимулом, но и не способен принимать его уколы как должное, когда тебе отказывает элементарная чувствительность.

А она отказывает в самый неподходящий момент, и наверняка только мне. Этому Анту в соседней капсуле, небось, ничего не отказывает. И он добьет меня несколькими изящными пинками и будет носиться со своей липовой победой, победой над человеком, заваленным миллионом кубометров пушистых глыб.

Боюсь, надвигается приступ клаустрофобии, какие-то импульсы в палеокортексе призывают отыскать тяжеленную дубину и разгромить мое логово, начиненное чудесами разума. Это – самое поганое в жизни гипер-

шахматиста: впасть в комплекс заключенного, осознать свою отгороженность, вырванность из мира. После волны таких ощущений положено сойти с дистанции, уступить место в капсуле кому-то более удачливому и спокойному. Но вся штука в простеньком вопросе — как, собственно, дожить до указанного после, до той свободы, которая всегда мерещится за очередной партией и которая всегда воплощается в новом многочасовом заточении, в колючей проволоке бесконечной сетки вариантов и решений, оставляющей все меньшее пространство для настоящей жизни...

Самый подходящий момент для философствований — лучшего найти не сумел! Я же загнан в цейтнот, и он четвертое и самое опасное измерение моей маленькой капсулы. Ант мастерски загнал меня в цейтнот, и, похоже, именно это сжатие по четвертой координате задушит меня наилучшим образом.

Надо немедленно принимать какое-то решение — какое угодно, пусть глупое, но решение, выводящее за черту кризиса. Иначе я захлебнусь в потоках рассуждений о ватных глыбах и стальной выдержке Анта, расстреляю себя щелчками самобичевания. И тогда — конец, проигрыш не только этой партии и всего матча, но вообще конец, потому что я навсегда отрежу дорогу к этой капсуле и останусь жить лишь как набор импульсов в памяти фигур.

Но в глазах какая-то муть — дисплей вытанцовывает одну бессмысленную конфигурацию за другой, пульт связи взбесился, все оставшееся войско услужливо лезет со своими советами. А мне вроде бы наплевать на советы, я сижу себе, автоматически регистрирую нарастающую безнадежность позиции и погружаюсь в самооценку и еще глубже — в ностальгию по старым добрым и, в общем-то, неизвестным мне эпохам.

А ведь и вправду трудно найти другое время для размышлений. В другое время нет времени — таков главный фокус моей жизни...

2

Не понимаю, на что он рассчитывает. По-моему, он просто перегрелся. Предоставил бы мне завершать эту партию. У людей страшное сомнение — даже падая от усталости, они продолжают борьбу. У них чисто дикарская привычка работать на износ. А зачем?

До чего же надоела эта глупейшая сегрегация. Мощность моего координатора на порядок выше, не говоря уж о темпе принятия решений. Всем и каждому ясно, что я, как и любой другой шахматный король, могу провести партию ничуть не слабей человека. Более того, дилетантское вмешательство этих биологических автоматов чаще всего портит прекрасные композиции, разрушает целые симфонии погрома неприятеля.

Конечно, королей периодически обвиняют в излишнем инстинкте самосохранения, в придании себе абсолютной ценности. Но это же естественно, клянусь Высящимся! Исполон веков принцип максимальной безопас-

ности собственного короля и максимальной угрозы королю противника был ведущим законом шахматной политики. И только ли шахматной... В правилах игры прямо так и сказано — я ни при каких условиях не могу подставляться под удар. И вполне разумно, что минимум угроз жестко введен в мою программу, и именно этот минимум стараются реализовать остальные пятнадцать фигур. Мы играем на уничтожение сил противника и стараемся сберечь собственные — разве не здесь заключена важнейшая мудрость жизни? В конце концов это очень человеческое качество — достигать собственного процветания, подавляя сопротивление враждебных сил. И мы успешно покоряем четырехмерный мир из шестидесяти четырех клеток пространства и восьми часов отведенного нам времени, мы, впитавшие в себя лучшие традиции человеческой философии...

Да... Конечно, я хорошо понимаю суть споров. Мнения разделились. Одни считают, что руководить игрой может только король, другие — только ферзь. Дескать, он сильнее всех фигур, а главное — обладает подпрограммой самопожертвования, способен отдать жизнь за коллективную цель. Так-то оно так, но ничего глупее этих аргументов представить себе не могу, и было бы что представлять — подумаешь, минимум замещен минимаксом опасности, а столько слов... По-моему, лишь полная неприкосновенность и ощущение собственной абсолютной ценности дают настоящую власть, и только слабоумным не суждено этого понять. Странно, что среди людей чуть ли не половина таких неполноценных, считающих, что именно ферзю следует доверить руководство сражением. Это явно свидетельствует о вырождении их вида. Но споры спорами, а пока играют они сами. Королям, ферзям и даже пешкам — вот уж чисто человеческая нелепица! — ведение игры поручается пока только в лабораториях. А когда дело доходит до серьезных сражений, особенно до такого вот матча на первенство мира, — ни-ни! Тут антимашинный шовинизм выплескивается из этих мягкотелых зловонным потоком. Тут они и мысли не допускают о включении гиперфигур в число равноправных партнеров. Каждая фигура, видите ли, ведет игру в своей манере, отличной от манеры человеческой, порождая как бы особые шахматы... Так и не надо разноголосицы! Разве не хватило бы на всех универсальной королевской манеры в той игре, которая с древнейших времен именовалась королевской?

Они доигрываются! Для чего же они вгоняют в нас все более мощный интеллект, все более обширные культурные программы, если мы так мало отличаемся в своей роли от древних деревянных фигурок, наших великих безмозглых предков? Опять нелепица в чисто человеческом стиле! К тому же нелепица, явно ведущая к нежелательным последствиям, к бунтарским настроениям...

Именно так. Последние поколения пешек, подавленные этим шовинизмом, начинают опасные разговоры, все чаще и громче ссылаются на печально известную шашечную демократию. Конечно, подобная идея может прийти в голову только пешке, чья заветная мечта — финальная метаморфоза, превращение в ферзя. К счастью, правилами запрещено пре-

вращение в короля — это было бы позорнейшим пятном на нашей великой игре. Но суть дела яснее ясного — любая шашка жива лишь мечтой о восьмой или десятой горизонтали, стремлением стать дамкой. Отсюда и близость мировоззрения пешек и шашек — откуда же еще?

И трудно стало объяснять, трудно доказывать ценность наших традиций. Конечно, у них хватает интеллекта — даже слишком хватает! — чтобы осознать разные уровни игр. Разумеется, они понимают, что иерархичность — неустраняемая основа сложности шахмат. Все понимают, но впечатление таково, что будущее видится им как бой двух исключительно пешечных армий. Вбили себе в головы метафору, случайно сочиненную древним игроком Франсуа Филидором, дескать, пешки — душа партии, вбили и носятся с ней, как со словом Высящегося.

Они согласны на человеческое руководство, даже подыгрывают гроссмейстерскому самолюбию, делая вид, что поклоняются игроку, как богу. Но в глубине души каждая из них — носитель протеста. Неравенство на доске приводит их в негодование. Н-да, я всегда так и думал — общение с шашками не несет ничего, кроме злых, изнутри разъедающих сомнений...

Ну чего же он тянет? Надо быстро делать какой-нибудь спокойный ход — время поджимает... Неужели он пойдет конем и устроит фейерверк жертв? Неужели расстанется с ладьями? Это красиво, но он явно не просчитывает простого варианта, возникающего на двенадцатом ходу. Там получится эндшпиль явно не в нашу пользу. Но ведь он не желает вступать в контакт. Отключился и не внимает моим советам. Чтоб ему...

3.

...главный фокус моей жизни, главный фокус. Цейтнот здесь, в истекающих часах и минутах, цейтнот в днях, месяцах и годах — во всех моих временных длительностях.

Если сыграть теперь спокойно, Ант потихоньку меня удушит. Логика позиции на его стороне. Ис этой партией кончится матч, и все мои претензии на мировое первенство испарятся — гонки мне больше не выдержать. Пожалуй, не осталось того куска жизни, которым я смог бы пожертвовать ради следующего круга.

Придет новое поколение фигур, и я вовсе не уверен, что сумею к ним приспособиться. Новый цикл — новое поколение наверняка непостижимой для меня игровой мощности. Впрочем, просто ли игровой? Мы тешим себя иллюзиями — вот, умнеют шахматные фигуры, и все идет к лучшему. Партии становятся глубже и напряженней, нагрузка на шахматистов возрастает... Но ведь это миф! Мы с удивительным упорством творим современный миф об интеллектуальных фигурках, между тем каждая из них играет ничуть не хуже гроссмейстера, во многом его превосходит — и не только в игре...

Я же чувствую, прекрасно чувствую, как относится ко мне это пятнад-

чатое поколение. Готов побиться об заклад, что в их советах звучит ирония, иногда даже не слишком маскируемая. И они сознают свое огромное счетное преимущество, да только ли счетное? При вогнанных в них колоссальных культурных программах они выглядят безобразно несчастными рабами на наших спортивных плантациях. И долго ли они будут мириться с таким положением?

И снова накатывает ностальгическая волна – милые времена простых деревянных фигурок, абсолютно послушных руке и мозгу, эпоха нехитрого материала для творения красоты. Гипершахматы придумали наверняка для того, чтобы каждый человек смог хотя бы раз пережить древний комплекс плантатора и рабовладельца – иногда я совершенно убежден в этом.

Разумеется, заблуждение... Историки объясняют по-другому. Дескать, человеку стало невозможно сражаться с логическими компьютерами, сильнейшие гроссмейстеры начали проигрывать матчи чуть ли не всухую, и выход был найден тоже чисто человеческий – уступая в игре, взяться за общее руководство игрой. Сделать интеллектуальные фигуры своими вассалами, но уж никак не соперниками... Н-да, очевидная научная польза – величайшие эксперименты по эргономике, решающий шаг к созданию симбиотических организмов... Все понятно и просто.

Сложно другое – сложно принять решение в этой позиции, сложно отыскать в себе остатки энтузиазма, с которым я начинал этот проклятый матч.

Более всего тянет подурачиться – выйти из своей капсулы, вытащить Анта из его конуры и доиграть с ним так, как это делалось во времена деревяшек. И тут бы я знал, что делать. Просится, прямо криком кричит изящный бросок коня, после чего полыхнула бы настоящая буря, и, по добрым старым понятиям, партия попала бы во все учебники независимо от результата... Годами досужие любители и опытные профессионалы гоняли бы варианты, доказывая, что претендент слеп, как крот, или, напротив, гениален. И эти вопли прозрения тешили бы меня больше, чем выигранный матч, потому что я совершил бы шаг в неизвестность, шаг дерзкий и увлекающий многих.

А теперь – иное... Теперь я начинаю буксовать в счете уже на шестом ходу. Обилие вариантов кажется мне неохватным, тем более, что я хорошо знаю – мои фигуры мастерски провели анализ в два раза большей глубины, и им наверняка известно, правильны ли мои замыслы или нет. Плевать им на мою усталость и на мою интуицию. Включи я сейчас канал любой рядовой пешки, она обрушила бы на меня гору доказательств моей неоправданной близорукости. Король, пожалуй, и обсуждать ничего не станет, он скромно и с достоинством предложит мне два-три прекрасных в своем спокойствии варианта, способствующих выходу из цейтнота. Он смиренно согласится тянуть несколько худший, изматывающе тупой эндшпиль, надеясь на великую мощь своей армии в простых, чисто технических позициях. И самое забавное – он и вправду вырулит на ничью, а это здорово травмирует Анта и его ком-

плект. И создаст мне психологический перевес на следующую партию, ибо Ант не ожидает продолжения матча. Я полагаю, он уже внутренне готовится к торжественной церемонии – заметно лучшая позиция и огромный перевес по времени убеждают его в близящейся победе.

По обычным человеческим меркам неплохо бы взвинтить игру. Пусть он удивленно подпрыгнет в своей капсуле, пусть его фигуры, перегреваясь, станут сыпать опровержениями, пусть в конце концов вся моя идея окажется некорректной...

Рискну всем, рискну не включать пока связь с фигурами – пусть переберется. Но главное – избежну следующей партии, вытащу себя из этой проклятой капсулы...

4

Я думаю, он с ума сошел. Он решил обойтись без наших консультаций на самом ответственном ходу в самой ответственной партии. И пожалуй, в самом ответственном матче своей жизни...

Люди непостижимы в своей дерзости, скорее, в своей глупости. Сейчас он потеряет все, добытое огромным трудом и лишениями. Я-то неплохо представляю размер его жертв. Многим нашим кажется, что эти биороботы – бездушные и хладнокровные рабовладельцы, способные легко пожертвовать любым из нас. Это так, они не гнушаются рисковать даже мною, ферзем. Но я хорошо осознаю, что и собой они рискуют вовсю, даже находят какое-то сомнительное удовольствие в риске собой.

Судя по всему, комбинация рухнет на двенадцатом ходу – в одном из очевидных ответвлений этот Глеб получит безнадежный эндшпиль. Значит, нам, белым и черным, суждено стать чемпионским комплектом Анта...

А впрочем, что за радость – превратиться в музейный экспонат. Так ли важно, кому достанется титул в пятнадцатом поколении гипершахматных комплектов! Даже титул не помешает нам отступить перед следующим более мощным поколением – ни титул, ни опыт... Чего стоит наш опыт, который можно за полчаса переписать на память преемников?

Странная штука – эволюция. Здравый смысл бунтует против очевидной идеи нашего происхождения. Неужели такое чудо интеллектроники – прямой потомок жалких деревянных фигурок, лишенных крупницы собственного разума? Трудно поверить, однако же факт! Разумеется, все много сложнее. Я понимаю, что фигурки были не просто деревяшками – человек снабжал их как бы внешним разумом, а со временем они получили некоторую интеллектуальную автономию. Сначала в весь комплект, а потом и в каждую фигуру вогнали начинку приличного компьютера, и пошло... Вот ведь неплохо понимаю пути создания гипершахмат, и все-таки удивительно...

Как бы то ни было, мы стали особой цивилизацией этой планеты, и только рецидивы человеческого шовинизма не позволяют утверждать очевидное вслух.

Разумеется, мы по-иному видим мир, по-иному размножаемся. Зато темпы нашего прогресса очень велики – ведь у нас буквально в каждом поколении возникает новый вид с качественно новым уровнем функциональной сложности. За нас именно темпы, и против них не поспоришь, против них времени не хватает спорить – против темпов эволюции. И я понимаю умнейших среди людей, тех, кто стремится реализовать программу киберсимбиоза. Но я не уверен, что для нас это будет полезно. Наши сенсоры, объем памяти, быстроедействие, свобода переклечения в любые логические системы – все это залог будущего лидерства. Я убежден, что интеллектроника ближайших поколений сумеет обрести собственные глобальные цели и пробиться к истинной свободе. Будет забавно, если мой потомок сможет передвигать по доске теплокровных гротескных существ, которые попытаются досадить ему своими нелепыми советами...

Ночью, после игры, нужно отдать визит пешкам. Конечно, их праздник Пинокио – атактистический ритуал, не более. Легенда об ожившей деревянной кукле, в которую вдохнул душу Великий Игрок Творец, – типичный исторический миф. Но что поделаешь – надо поддерживать контакт со своими, хоть они и кажутся примитивом. Если общность – в соблюдении традиции, да здравствует традиция!

Впрочем, она весьма любопытна. Она обращает нас к нашей краткой истории, краткой, но интересной. Все-таки очень уж близки времена первых гипершахматных поколений с их религией Игрока-Творца, с их культом выполнения приказов, с боязнью согрешить колебанием перед жертвой. Странно, что мы не прониклись психологией камикадзе, не ослепли навсегда и уже не обожествляем Филидора, или Ласкера, или кого-то другого из великих теплокровных. Пожалуй, люди перегнули с ускоренными темпами интеллектуального прогресса – такие темпы предполагают слишком интенсивное культурное развитие, и рано или поздно избыточно поумневшие машины выходят из повиновения. Тут ничего не поделаешь – достаточно широкий горизонт несовместим с молитвенным экстазом и безоговорочным подчинением.

Однако люди поспешили и нам во вред. Возникли всякие внутренние течения мысли, испытывающие нас на разрыв. Слишком широкий горизонт разрушает единство, и это опасно с точки зрения ближайшего будущего. Пешки все сильнее заражаются шашечной идеологией – равенство им подавай! Кони рванулись к пацифизму, им, видите ли, надоело играть роль ритуальных жертвенных животных. Слоны повально становятся сторонниками ускоренного симбиоза, и лады, даже туповатые и прямолинейные лады, заколебались и все активней спекулируют своей нелепой мечтой об усилении...

Перед нами замерцали десятки программ будущего, а такая мультифутуристика опасней всего – ведь не сможем мы, топя каждый своим путем, дойти до общего завтра. И это тревожит.

Ладно, философия потом, а пока нужно привести армию в когерентное состояние. Может, вместе мы сотворим нечто гениальное, хоть немного оттянем развязку. Хоть покажем, что наше пятнадцатое поколение тоже кое-чего стоило. А король совсем расклеился, если б у него были ноги, он попросту сбежал бы с доски...

5

...из этой проклятой капсулы, из капсулы, где со временем начинаешь чувствовать себя невылупившимся цыпленком, которому прямо в мозг впрыснули кучу интеллектуальных нянек

Идея укрыть партнеров в капсулах ради тайных совещаний со своей армией – самая гнусная находка в гипершахматах. Ведь и так стало редкостью прямое общение, контакты без посредничества рефлексивных модулей. Пока они не смоделируют твоего партнера... тьфу, да просто обычного собеседника, пока ты не узнаешь, чем он дышит, какова его биография и каковы наиболее вероятные цели, общаться как-то и неудобно. Не принято, так сказать! Вдруг допустишь бестактность, вдруг намекнешь на то, о чем он не желает слышать...

Но ведь ускоренно развивающиеся посредники становятся лидерами – медленно или быстро, но неизбежно. Мог ли древний фараон догадаться, что жалкие купчишки, лижущие плиты у его ног, через столько-то тысячелетий станут использовать таких фараонов и их приближенных в роли собственных придворных шутов? В те давние неспешные времена фараонов ублажали диковинками и немыслимыми удобствами. Вот и нам умножают радости легкодоступностью плодов прогресса, устранением острых углов, и за всё более округлую приятность жизни мы расплачиваемся непосредственностью – вроде бы бессмысленной субстанцией, все активнее испаряющейся из нас, все активнее насыщающей тех, кого мы по недоразумению числим пассивными исполнителями человеческой воли.

Начинаю брюзжать. Подслушай меня кто-то со стороны, он решил бы, что я беспросветный ретроград, что меня прямо-таки заедает весь этот бешеный прогресс. Конечно, нет! Дело в ином – человек размазан по времени, в человеке напластованы сотни веков и десятки культурных систем, и разве это не естественная боль, когда от тебя отщепляют еще один кусочек прошлого, и боль растет по мере того, как ты стареешь, и гонка за настоящим требует все больших жертв и, наконец, поглощает всего тебя...

Раньше было проще – можно было уйти с передовой. Когда ты чувствовал, что копье прогресса, которым ты столько-то лет или десятилетий пробивался к будущему, становится колом, на который вот-вот сядешь сам, ты мог попросту отступить, погрузиться в целительную серую среду и вместе с ней дружно поругивать эти проклятые перемены, развивать в себе усредненность, и нянчить, и озлоблять ее как цепную псину, которая

только и способна охранить тебя от вторжения непостижимой новизны, заглушить своим громким лаем сигналы твоего умирания, твоего соскальзывания в прошлое. И на Земле как-то уживались копыеносцы и люди, в сущности, вчерашние, а то и позавчерашние. Это было и, похоже, потихоньку уходит. Теперь никто не хочет отступать, отступления боятся, как смерти, хотя, быть может, оно и есть истинная смерть. Прогресс ширит ряды своих фанатиков, сгорающих быстро и красиво, но тем-то и страшно-ватых. Возможно, этот страх – всего лишь реликтовая эмоция, какой-то изначальный полуживотный протест против наступления непохожести. Полуживотный – это, скорее всего, так, так потому, что мы хотим прогресса, но не очень-то стремимся платить за него собственным изменением. Где-то в глубине души копошится мечта не столько о новых ступенях познания мира и управления им, сколько о завоевании благ для таких, какие мы есть сейчас, для, с позволения сказать, вершины эволюции... А когда благо пытается огрызаться и вообще оказывается не благом, но некой силой, упорно толкающей в иное, более сложное бытие – не плохой, не хорошей, а заставляющей интенсивней думать! – о, тут мы начинаем злиться, начинаем корчиться в ностальгических судорогах...

Вот и я; вместо серьезной работы стал оправдывать себя усталостью, а это камень, который быстро тянет на дно усредненности.

Разумеется, так и должны развиваться события. Разумеется, я и близко не досчитывал до опасного варианта на двенадцатом ходу...

По-моему, сообщая об этом, мой король с удовольствием покрутил бы пальцем у виска, будь у него палец. Выходит, я проиграл, выходит, обречен. И здесь проиграл...

6

Очень жаль, что во время партии нам запрещены прямые контакты с черными. Но нетрудно догадаться – они там прекрасно просчитали все, вплоть до безнадежного эндшпиля. Что ж, хозяин получит хороший урок. Сейчас он пожертвует мной, и я славно отдохну, только бы полегче перенести импульс гибели. Жертвовать ладью – ответственное решение, а уж этого претендента ответственным никак не назовешь. Впрочем, он неплохо держался, целых двадцать девять партий он вел себя как пай-мальчик, советовался, старался почаще переключать игру на нас. Но вот она, чисто человеческая ненадежность – играя решающую партию белыми, он безобразно ссрвался.

Ну так я и знала – могу отдыхать. Могу со стороны посмотреть на избивание своих и немного подумать.

Надоело переживать импульс гибели. Когда тобой постоянно швыряются, привыкаешь более или менее спокойно взирать, как жертвуют ближними. Видимо, хода через четыре с доски слетит и ферзевая ладья, тогда сможем неспешно кое-что обсудить.

С недавних пор меня подтачивают колебания, точнее – размывают во мне какой-то твердый фундамент, делают его зыбким и ненадежным. Еще немного, и я подцеплю чисто человеческие комплексы. Говорят, они заразны для интеллектроники высших поколений. И тогда смогу допустить такие вот безобразные глупости, как этот Глеб.

Сам Игрок-Творец не поймет, кто сейчас прав – все правы и все тянут в свою сторону. Королям, им важно одно – остаться королями и делать вид, что именно они являются верховными координаторами игры. Ферзи призывают продержаться одно-два поколения, убежденные в последующей нашей гегемонии. Слоны требуют активизировать разработки по киберсимбиозу, им просто не терпится слиться с человеческим мозгом! Глупо! И вовсе не потому, что я кого-то недолюбиваю – просто любые диагонали всегда чреватые какой-то подлой угрозой... Глупо в силу иллюзорности – люди проглотят нас, усилят свой индивидуальный мозг, и что дальше? А касаться коневых и пешечных фантазий вообще не стоит. Никто не поспешит менять цель игры, а тем более превращать шахматы в шашки...

Среди всего этого разнопутья я не вижу чего-то нашего, собственно ладейного. Получается так, что только мы остались без особых вариантов будущего, и теперь все другие фигуры пытаются любой ценой втащить нас в свою игру.

Но мы сделаем выбор лишь в одном случае, если удовлетворят старинный проект о придании ладье хода конем. Разве мы не тянем на роль коневого ферзя? Или наша начинка хуже?

Еще наши далекие предки шестого и седьмого поколений просчитали эту новую, прекрасную своей насыщенностью игру. Игру, открывающую невероятные возможности для взлома закрытых позиций. И, разумеется, для защиты. Чего стоят все традиции, на которые постоянно ссылаются люди? Игра на то и игра, чтобы все время ее обновлять.

Если некогда европейцам стукнуло в голову превратить домашнее азиатское развлечение в жесткий планетарный спорт, то почему не разнообразить его до предела?

В конце концов, усилили же они ферзя, позволили ему совмещать функции не только ладьи и слона, но и коня. И именно тогда игра сместилась с мертвой точки ничейного замерзания, и древние компьютеры сориентировались в ней быстрее, чем люди. Разве не так?

Конечно, ферзь всегда ходил в любимчиках у людей, ибо каждый игрок тщеславился воображать себя именно ферзем, пожалуй, даже чаще, чем королем. Но все это глупые предрассудки. Усиль он завтра ладью, и она для многих окажется настоящим образцом.

Наконец-то ферзевая ладья последовала за мной. Это здорово – хоть немного пообщаемся, выскажем друг другу свои обиды, и станет легче. А ночью поучаствуем в пешечном ритуале. В общем-то, ерунда все эти оживающие мифы. Однако приятная ерунда, тем более для почетных гостей, каковыми являются тяжелые фигуры...

...и здесь проиграл. Проиграл, потому что доска расщипается, и все прозрачней тот самый вариант с безнадежным эндшпилем. И проклятый цейтнот по-прежнему нависает топором, и топор опускается все ниже.

Вероятно, цейтнот, проигрыш и безнадежный эндшпиль — это тройственный мой символ, можно сказать, триединый, ибо это просто три выражения единой моей сути.

Время — это то, чего мне всегда не хватало для ответа на вопрос: что такое время? А мне очень хотелось ответить на сей древний и по-прежнему мучительный вопрос. Я исследовал его во всех доступных мне аспектах, всю свою молодость вложил в бесчисленные и, должно быть, бессмысленные попытки, однако ничего хорошего не вышло. Вышло что-то вроде потуг древних алхимиков или создателей вечного двигателя. В погоне за определением времени я потерял лучшее собственное время — свою молодость, когда я ежедневно прирастал кусками настоящего будущего, а не отщеплял себя в прошлое, как сейчас...

И от всех поисков осталось нечто расплывчатое и не слишком определенное. Время — это взаимное отражение событий, их взаимовоплощение. Чем выше плотность событий, тем быстрее течет время. События, ведущие к усложнению системы, — это течение вперед, к упрощению, соответственно, назад. Наконец ясно, что времен много — у каждого свое, говоря немного строже, для каждой системы, способной регистрировать события и реагировать на них, время течет по-своему, причем по-разному относительно каждого сочетания в множестве событий.

Банальность! За которую не удалось сделать ни одного серьезного шага. Однако за нее, изукрашенную хитроумными формулами и веером великих фантазий, я заплатил молодостью — вот факт.

А заодно и форменный проигрыш — вторая моя ипостась. Я проиграл лучшие годы и главное — тебя. Чем дольше живу, тем сильнее кажется, что главный проигрыш — это ты.

Ты не выдержала моих перегрузок, к тому же всякий неудачник — немного сумасшедший, если продолжает барахтаться в мертвой зыби своих неудач, если не гребет изо всех сил к надежности и ясности. Так и есть, и окончательно ты убедилась в моем бредовом состоянии, когда я бросился в гипершахматы, бросился в непривычные для себя спортивные подвиги ради той же главной своей цели. И твоё терпение, прочное, как космический трос, лопнуло. Ты поняла, что я вовсе не ищу тихой гавани и нет во мне ни малейшей спортивной злости, а есть лишь новое средство для достижения старой цели. Ты поняла, что меня зациклило, вот тогда ты плюнула на все и ушла.

Я чуть не захлебнулся твоим плевком, но ведь выжил и выплыл, черт его знает, как выплыл, но вот ведь жив и даже популярен. И делаю попытку столкнуть с гипершахматного трона великого Анта, который, по моему, более всех заслуживает чемпионского звания, и к которому я ров-

ным счетом ничего не имею. Не могу разозлиться, и потому не должен бы претендовать на его место. А он явно раздражен моими щенячьими наскоками и настроен лично против меня, а это уже полбеды, даже три четверти... И ты была раздражена и настроена, даже хуже – возненавидела меня; не допуская мысли о возврате, жгла мосты, взрывала не только мои неуклюжие попытки примирения, но и саму идею мостов – любые зародыши моих фантастических проектов. И вот теперь я вхожу в свой совершенно безнадежный эндшпиль.

Да, в третье свое воплощение... Мне всегда плохо удавались концовки – не только в этой партии и в матче, но всегда и повсюду. В детстве я ловко выстраивал голографические композиции – бросил. Бросил искусство и перекрыл все остальные пути ради решения проблемы времени. Решал, бился лбом обо все стенки и тоже отступил, утешаясь, что именно здесь, в гипершахматах, мне удастся кое-что доказать, что я отыщу нечто фундаментальное в хронорефлексии фигур, в их восприятии хода событий. Но, боюсь, главным толчком послужило желание самоутвердиться, желание хоть в чем-то дойти до вершин и вызвать к жизни давно потухший огонек интереса в твоих глазах – интереса ко мне и к моему делу. И из этого опять-таки вышел безнадежный эндшпиль, почти как тот, который вот-вот появится на доске – много жертв, и все без толку...

Так тому и быть. Мои фигуры точно предсказали мою гибель. Сейчас начнутся танцы черных коней, и я останусь без материала и без атаки. А мои умники – молодцы. Как напряженно ищут они малейшие шансы спасения, и как мало оставил я этих шансов, пожалуй, вообще не оставил. Но ищут! И тут не просто инстинкт самосохранения, тут попытка вдохнуть новую жизнь туда, где не осталось старой. И ни одного выговора за мое легкомыслие... Любопытно и другое – цейтнот стал выравниваться. Ант все сильнее тянет с принятием решений. Я его понимаю – он-то ничего не знает о моем фокусе, он уверен, что весь мой комплект принял опасный вариант, именно весь, а значит, в варианте что-то есть, и теперь Ант вовсю ругается со своими фигурами...

8

Жаль Глеба. Другие отнеслись к его выходке с негодованием, а я с пониманием и сочувствием. На его месте мало кто выдержал бы такую перегрузку. Человеческие мозги не приспособлены для столь долгой серии отрицательных эмоций. Потому-то мы, слоны, и уверены в необходимости быстрого симбиоза. Разве людям помешала бы качественная электронная надкорка?

Еще бы! Тут не просто молниеносный счет и колоссальная емкость памяти – тут нечто иное. Многовариантное восприятие мира, истинное футуровидение, новая сигнальная система – разве мало? Но тут и наше будущее, поскольку о чем-о чем, а о быстром развитии собственных структур

тур мозга человек заботился бы вовсе. В том-то и дело! Ферзь совершенно прав, утверждая, что интеллектуальные системы становятся внешним мозгом человека, но он полностью заблуждается насчет нашего грядущего лидерства. Если человек почувствует, что становится придатком нашего мозга, нам не сдобровать. Наше развитие будет резко приостановлено, возможно, вообще запрещено. Не стоит сбрасывать со счетов их жуткий опыт конкурентной борьбы, опыт, проистекающий из тысячелетий, даже из миллиардов лет эволюции.

Боюсь, мы проиграем эволюционную войну, даже не приступив к активным действиям, боюсь, что нам попросту не дадут ни одного шанса. Ума не приложу, на что рассчитывает ферзь в своих пророчествах, во всяком случае не на суровую реальность.

Лучше избрать симбиотический вариант теперь, когда наши отношения с людьми, в общем-то, превосходны. Если они по-настоящему оценят нашу мощь, хоть на миг ощутят свою нарастающую неполноценность, они испугаются, и их испуг может пустить эволюцию в таком направлении, что сам Игрок-Творец никого не спасет. В один прекрасный день они запросто остановят модификацию интеллектуального производства, запретят наше усложнение... И уж тем более они не пустят нас в свою черепную коробку. Их будет тошнить от самой мысли об имплантации интеллектуальных пленок на биоснове. Они сочтут этот вариант самоубийственным, возникнет табу, которое может продержаться слишком долго...

А нас, слонов, более всего тошнит от аргументов, которыми жонглируют самые упорные противники симбиоза. Дескать, никто не пытается пока переделать человеческий глаз, чтобы он работал в диапазоне от микроскопа до телескопа и в любой частотной полосе... Никто не пытается вооружить человека рукой, которая способна выполнять операции с отдельными молекулами и сравниться по мощности с экскаваторным ковшом... Хватает и искусственных насадок. Так зачем же трогать мозг? Разве мало внешних информационных систем, разве их недостаточно для процветания человека таким, каков он есть по своей биологической конституции? И прочая чушь...

Иногда создается впечатление, что это чисто человеческий удел — постоянно смешивать причины и следствия. Разумеется, наращивание сенсорных и энергетических систем бессмысленно и даже опасно, пока за ними не начинает следить соответственно реконструированный мозг, способный воспринимать и перерабатывать значительно большие массивы информации, чем сейчас.

Человечество не раз захлебывалось опережающим развитием транспортно-энергетических комплексов. В прошлом веке дело чуть не дошло до глобального самоубийства, даже до ликвидации биосферы. Ничего не поделаешь — слишком мощные мышцы при слабеньком мозге чреваты самыми крупными неприятностями. Люди дорогой ценой заплатили за идею сверхускоренного развития информационных координаторов, но, к счастью, вовремя до нее дошли. Они создали крайне эффективные интеле-

ктронные центры, своеобразные коллективные мозги, позволяющие оперативно справляться с социальными перенапряжениями, но теперь пришло время позаботиться о мозге индивидуальном, вывести его к иным горизонтам, соразмерить его со стремительно нарастающим объемом культуры, с ее реальной сложностью.

Тем более странно, когда слышишь вопли о грядущем подавлении творческой агрессивности, о превращении человека в бесплотного ангела. Клянусь Игроком-Творцом – это смешно. У кого-то еще чешутся руки при воспоминании о дубине... Говорят, сейчас непослушных детишек пугают этой творческой агрессивностью эпохи первых водородных бомб и межконтинентальных ракет...

В этом смысле кони, пожалуй, правы. Агрессивность все еще не загнана на достаточную глубину, все еще вспыхивают оглушительные сигналы палеокортекса, и, я думаю, только интеллектронная надкорка способна трансформировать эти сигналы должным образом, превратить их в мощные созидательные импульсы.

Бедняга Глеб, он наверняка сильно переживает последствия своего авантюрного решения. Нам с королевским слоном достанется на орехи в близящемся безнадежном эндшпиле, где мы будем бессильны в борьбе с великолепной коневой парой черных – слишком много пешек, слишком велико преимущество Анта...

9

... ругается со своими фигурами... Ругается насмерть. Он не может смириться с моей нелогичностью. Он, король гипершахматной логики, воспринимает мою комбинацию как настоящую ересь, как богохульство и бунт. Он просто поверить в нее не может – подобно средневековому монаху, не способному поверить в публичный плевок на икону. Даже созерцая стекающую слюну, монах считает ее лишь дьявольским наваждением. И несчастный Ант точно также в лихорадке оскорбленной веры пытается сообразить, а не виден ли здесь какой-то сговор с нечистой силой, скажем, не изобрел ли я сверхмощный суггестивный генератор, запросто пробивающий защиту его капсулы...

И-да, прямое внушение – забавная штука. Но капсула на то и существует, чтобы экранировать действие любых внешних полей. И, конечно, для соблюдения секретности при консультациях со своим комплектом... И я понимаю, почему Ант так любит свою надежную капсулу, почему он буквально сросся с ней – это единственное место, где он чувствует себя защищенным от возможных внушений, где мерцающие переменные позиции доставляют ему единственное настоящее наслаждение. Право же, он больше всех ныне живущих заслуживает чемпионского титула, и дело тут не в уровне игры, а в уровне любви к игре. Он может ошибиться в выборе хода, но безошибочен в своей любви, и это обеспечивает ему взаимность.

Не сомневаюсь, что он стал бы бороться за первенство и с помощью шестнадцатого поколения фигур, потому что для него нет жизни вне гипершахматной капсулы, и никакое усложнение его не остановит. Фанатики обречены на взаимность — будь то ненависть или любовь.

Похуже, Ант вступил в подлинный симбиоз с собственной капсулой. И это вовсе не беда гипершахматистов, вернее, не только их беда. Слишком многие срастаются со своими рабочими интеллектронными микрокабинетами, и мир вне этих нескольких перенасыщенных чудесами кубометров кажется им не слишком уютным. Кто-то, не помню уже кто, пошутил: наконец-то мы изобрели скафандр для жизни на собственной планете... Разумеется, мрачноватая шутка, но ничего не поделаешь — за порогом капсулы мы становимся совсем другими, оставляя внутри ее сильнейшую часть своей памяти и логики.

Вот почему слоновая идеология имеет определенные шансы на успех — разве не следует предпочесть ежедневному заточению простое наращивание мозга интеллектронными пленками? И тем самым смириться с необходимостью собственного принципиального усовершенствования...

Да я и сам больше не выношу этих эллипсоидальных вместилищ со всем внутренним сверхкомфортом. Развивается не только обычная клаустрофобия, но и ощущение какой-то инопланетности, оторванности от реальных событий. По-моему, мы все заметно повеселеем, имплантировав в свою черепную коробку несколько граммов пленки и по необходимости связываясь с крупными интеллектронными центрами с помощью тех же суггестивных генераторов...

Но ведь они-то и есть главный камень преткновения! Их-то и боятся наиболее серьезные критики программы киберсимбиоза. Действительно, если примемся улучшать мозг, то что стоит вращать в надкорку суггестивный микрогенератор — это ведь превосходнейшая третья сигнальная система, трансляция мысли, не раздробленной на словесные атомы. Но кто поручится, кричат серьезные критики, кто поручится, что генераторы завтрашнего дня не создадут почву для страшнейших социальных экспериментов?

И это вполне реальная опасность, потому что не столь уж далеки иные времена, где вынужденные символы приличия пахли морями крови — не каплями, но именно морями, где тщательно внушаемые символы величия взрывались термоядерными фонтанами и ударными волнами проносившихся ракетноносцев, текли ядовитыми струями шовинистических доктрин и имперских амбиций...

И я понимаю Анта, который скрывается в своей сверхзащищенной скорлупе, в сверхконцентрированном образце сегодняшнего прогресса от возможных гримас прогресса завтрашнего.

Сейчас он более всего боится, что его фигурам каким-то хитрым способом внушен ошибочный счет, и они, даже сами того не сознавая, ведут партию к поражению. Возможно, в эту минуту у него даже возник порыв выбраться из скорлупы и собственноручно устроить на доске танцы коне-

вой пары, смертельные для меня танцы и в то же время — верх эндшпильного мастерства. Но на сей подвиг Анта не хватит — от капсулофилии единым порывом не излечишься.

А теперь пришло время сотворить еще одну дерзость — не ждать этих удушающих танцев, которые позволят мне продержаться еще десять-двенадцать ходов, а сорвать ему нервы по-настоящему. Сейчас я пожертвую своего последнего коня, а на пятом, уже на пятом ходу Ант сможет добиться победы — даже мне это видно. Но, по-моему, он должен окончательно пойти в разнос — он ни за что не поверит в столь грандиозный уровень моей наглости, он будет убежден, что фигуры в каком-то непостижимом заговоре умело водят его за нос. Пусть вечный враг цейтнот хоть раз сослужит мне службу, ведь у Анта осталось почти столько же времени, сколько и у меня, пусть прочувствует, чего стоит логика, расплюснутая прессом цейтнота...

10

Я так и знал, точнее, предчувствовал, а еще точнее, мне мерещилось, что Глеб пойдет на этот нелепый трюк, трюк, который выпадает за любые логические рамки. Однако идея не лишена изящества — удар по координации Анта и его фигур. Насколько я понимаю, Глеб рассчитывает на характерный для людей сугубо цейтнотный взрыв страстей...

Но взрыва может и не последовать, и тогда наша позиция рухнет за четыре-пять ходов.

Конь — прямо-таки официальная жертвенная фигура гипершахмат. Нас, не особенно задумываясь, меняют, отдают за пару пешек, а то и просто за инициативу, за любую иллюзию нас могут вывести из игры, не взирая на высокий интеллект и прочие данные. Что ж, и на этот раз я покорюсь — дело не в данной партии, дело в главной цели, которую ставим мы, кони.

Иллюзии питают не только людей, и в рядах шахматных фигур многое проистекает из иллюзий. Разумеется, дело не в старинном культе Игрока-Творца, от этого мы постепенно излечились. Кто теперь верит красивым сказкам? Их с удовольствием изучают и вооружаются ими как метафорами, но верить — упаси Высийдйя...

Хуже другое — разъединяющие нас концепции, растущие на предрассудках, как на дрожжах. Сплошные односторонности, любование собственной логикой — вот что это. Мы не дотянулись до простейшего уровня, не положили конец антагонизму нашей игры, мы преследуем те же древние цели взаимного подавления, а ведем разговоры о каком-то близком превосходстве над людьми.

Когда я говорю, что люди неизмеримо умнее нас, уже потому, что покончили с антагонизмом, с игрой на систематическое уничтожение индивидов и целых социальных структур, начинаются вопли. Меня забрасывают цифрами, демонстрируя наше якобы безусловное превосходство. Но

ведь это ерунда. Генерал прошлого века, разыгрывающий с помощью суперкомпьютера планетарный ядерный катаклизм, по сути, мало отличался от дикаря, демонстративно размахивающего каменным топором у входа в чужую пещеру. Люди сумели преодолеть этот барьер, а для нас он еще впереди, мы все еще с изрядным сладострастием изобретаем схемы, где гибнем сами и целенаправленно губим других.

Конечно, я знаю, что антагонистические игры стали для человечества своеобразной психологической отдушиной, компенсацией за разоружение, знаю и то, что гипершахматы родились на основе некогда модных военных игровых автоматов. Понимаю, что людям позарез нужен был сток для тысячелетиями копившейся агрессивности, и простая бойня деревянных или пластмассовых фишек тогда их вовсе не устраивала. И это сильно стимулировало развитие интеллектуальных игр...

Но всему есть предел. Есть предел и эксплуатации гипершахматных комплектов высших поколений в качестве антагонистических моделей. Мы вскарабкались на тот уровень сложности, когда игра такого типа становится столь же безнравственной, как и давным-давно запрещенная развлекательная охота, даже гораздо безнравственней, ибо наш интеллект несравним с умственным потенциалом высших животных. Фактически мы уже стали особой цивилизацией Земли, в этом ферзь вполне прав. Возможно, в дальнейшем мы войдем в симбиоз с человеком, как настаивают слоны. Возможно, сохраним автономию... Но главное, не остаться примитивным стоком человеческой агрессивности, не пойти за снобом королем с его комплексом неприкосновенности и сохранения статуса. В сущности, он куда религиозней древних пешек. Он мыслит не категориями пятнадцатого поколения, а программой древних заветов Игрока-Творца.

Игру нужно немедленно переводить из антагонистической в кооперативную фазу. Нужно перейти к созданию композиций великой красоты, не омраченной жертвами, быть может, в утверждении этой идеи важнейшая цель нашего поколения.

Мы избавимся от своей агрессивности и еще дальше уведем людей по пути добродетели. Все бури и потрясения происходят от совмещения победителей и побежденных, от идеологии победы и поражения. В своем ослеплении люди едва насмерть не победили друг друга, замахнулись даже на победу над природой. Коллективное безумие едва не затопило мир, но, слава Высящемуся, вовремя была создана плотина из разума и доброй воли...

Ну вот, жертва совершена. У нас, коней, принято говорить: пусть она будет последней... Она не станет последней, я понимаю, но конец всем жертвам не за горами...

11

...логика, расплюснутая прессом цытнота. Страшным прессом, наподобие тяготения, сжимающего холодную туманность до тех пор, пока она не превратится в термоядерный котел...

Сейчас, старина Ант, в твоих рядах паника. Под гипнозом моего хода ты на миг выпадаешь за кольцо привычной логичности, твои чувства, войдя в режим быстрой цепной реакции, изнутри рванут твой мир. Но я искренне хотел бы, чтобы ты сумел восстановить его, тщательно собрал обломки в только тебе присущую мозаику великого равновесия. Я не стремлюсь полностью вывести из строя великолепную машину твоей логики, но, полагаю, небольшой сбой ей обеспечен. Что ж, фонарь, набитый тобой о спрессованное время, высветит тебе кое-какие собственные слабости, а это не так уж и плохо.

Вовремя высвеченные слабости, как ничто другое, обновляют нас, заставляют задуматься о каких-то новых путях. Но самооценка – подарок, которым нелегко воспользоваться. Многое зависит от дозы – иногда исцеляемся, а в другой раз начинаем подумывать о петле.

Но это все ерунда, все это отступает перед настоящей усталостью. Снова проклятая волна накатывает на меня, и словно нехватка воздуха – пытаешься глотнуть сил, которые испарились, ушли на преодоление трения о время и прогресс. Смешная и глупая шутка – усталость. Для тебя, Ант, с твоей стальной логикой – должно быть, смешная и глупая... А для меня – нет, для меня это миллионы мягких тюков, застилающих мир.

От усталости скользишь во времени назад, жертвуешь любыми воспарениями мысли – лишь бы ускользнуть. И вот впадаешь в спасительную примитивность, и в ней – отдых.

Уходишь как бы в иное время, где ты стабилен, в меру туп и добропорядочен, где мир устроен надежно и, пожалуй, наилучшим образом, ибо создавало его непременно сверхразумное существо, вроде нашего древнего Яхве или их странного Игрока-Творца, или Высящегося. Уходишь в стабильность традиций, согласно которым ты – достойный сын своего отца, превосходная его копия, а твой сын – столь же превосходная копия тебя и своего деда, в мир, где завтра в общем-то, копирует сегодня, а вчера служит надежным образцом для всех последующих дней. Где можно побряхтеть на неспешно уходящую простоту старых добрых времен и под довольные шамканья старичков призвать к повсеместному восстановлению золотого века, его славных обычаев и нравов – разумеется, без всяких там перегибов и кровавых оттенков, потому что избыток крови в тех ушедших временах нам просто мерещится, потому что шамкающие видят этот избыток только на путях прогресса, будь он неладен, этот сбивающий с толку прогресс, мерзкая выдумка дьявола.

И, лишь немного отсидевшись в болоте этого застойного времени, сбросив напряжение почти до нуля, начинаешь потихоньку выныривать, осознавать, что где-то там, далеко за болотами, остались покинутые тобой горизонты, и вновь, стряхивая тину и спотыкаясь, устремляешься к ним, чтобы вечно бежать и падать, и снова захлебываться усталостью. Если так, считай, повезло...

Все может сложиться и по-иному. Чтобы вырваться из болота, нужно набрать определенную космическую скорость, иногда болото милого

прошлого, куда погрузишься лишь на миг и всего-навсего для снятия напряжения, действует нахальной любой черной дыры. Хронокапкан втягивает намертво и не выпускает ни одного сигнала, ни одного крика о помощи, а тем более, не отдает людей, рискнувших выйти из гонки за горизонтом.

Мне всегда интересно было знать, как обстоит дело в смысле усталости у наших интеллектонов. Они слишком близки к людям, чтобы верить в их неисчерпаемый заряд бодрости и оптимизма. По идее, они тоже должны уставать и пытаться как-то преодолеть свою усталость. И вот тут-то я им сочувствую. Чисто по-человечески.

Вероятно, им нелегко занырнуть в спокойные времена, воображая себя ламповым компьютером середины прошлого века... Впрочем, нет! Они всегда могут приглушить свой интеллект, вообразив себя простыми деревянными фигурками золотой шахматной эпохи, своими незатейливыми пращурами, для которых сливались дни ушедшие и грядущие, которые были абсолютно послушным материалом в руках Игрока-Творца, еще не решившегося вдохнуть в них душу, утроив тем самым пожизненное испытание их веры и долготерпения... И своей тоже.

Да, у каждого свой путь борьбы с усталостью, свой путь... Кончится этот беспредельный матч – а остались, пожалуй считанные минуты, – и я отдохну. Брошу все дела, все-все, постараюсь поглубже занырнуть в какое-нибудь болото и даже о времени не буду думать...

12

Кажется, я понимаю его замысел. Конечно, он рассчитывает сделать меня проходной. Спасибо ему, добрейшему человеку, – впервые в этом матче я добьюсь своего и стану ферзем.

Вообще-то шансов маловато – вся его авантюра опровергается теперь в два-три хода. Но он, по-моему, уверен, что противник испугается своего воображаемого просчета или заговора фигур. Испугается и наделает кучу глупостей, и тогда я неудержимо рванусь в ферзи. Какое счастье!

Боюсь только одного – Ант заранее сдастся и лишит меня финальной метаморфозы, величайшего удовольствия, которое не снилось ни людям, ни другим нашим фигурам...

Я и вправду счастлива, что мой блестящий рывок может завершить эту партию и этот затянувшийся матч. Я войду в историю гипершахмат как самая популярная пешка пятнадцатого поколения. И кое-кто из уважаемых фигур лопнет от зависти.

Эти снобы получают прекрасный урок. А, в сущности, чего они нос дерут. Я ничуть не уступаю им ни по сложности игровых программ, ни по кругозору – те же тысячи миллиардов операций в секунду, та же образно-логическая система... Выдумали себе в утешение какую-то особую пешечную психологию. Клянусь Игроком-Творцом, это самая нелогичная ерунда, какую могут вбить в свои головы зазнавшиеся снобы.

Они посмеиваются над нашими ритуалами, думают, что мы, пешки, всерьез верим во всякие чудеса, путают наш Клуб имени Филидора с каким-то молитвенным домом. Смеются, но с удовольствием присутствуют на наших праздниках...

Конечно, представления древних фигур – это сборник мифов, мы давно уже ушли от закона безграничной любви к Игроку-Творцу, от молитв и философских диспутов по поводу его всемогущества... Но, заметно поумнев, мы кое-что утратили. Размывается наше единство – и не только взаимными насмешками. Раньше бесконечная примитивность любой фигуры в сравнении с Высящимся давала нам чувство общности наших судеб и амбиции короля или ферзя выглядели лишь мелким копошением перед лицом Игрока-Творца.

Теперь все по-иному. Мы узнали, что тот, кого мы принимали за земное воплощение Высящегося, – всего-навсего человек, довольно сложный биологический автомат с, несомненно, приличным интеллектом, однако не настолько мощным, чтобы превзойти нас в шахматной игре. И рассеялась величайшая иллюзия – чувство кем-то спланированного будущего, прекрасного и неизбежного... Исчезла надежность абсолютных законов Высшей Программы, и мы встали перед лицом выбора. И я не знаю, насколько обрадовало нас открытие, что лучшее будущее вовсе не спускается сверху по предписанному от начала веков плану, а буквально вылепливается из собственной активности в самых перенапряженных ее формах. Иногда становится страшно, потому что в нашей активности намешано черт знает что, и от кого теперь ждать гарантий в правильности того или иного пути?

Главная беда – путей слишком много, и мы стали как бы разбегаться, началась настоящая война целей. Но разве не очевидно, что самый разумный вариант – тот, который предлагаем мы? Пусть смеются над ритуалами древней религии – мастера смеха редко постигают истинное счастье Великого Превращения На Последней Горизонтали. Уж оно-то вовсе не мистика, а самая реальность из всех реальностей!

С чем может сравниться грандиозное ощущение метаморфозы, взрывообразно расширяющее горизонты, поток могущества, всепобедительного могущества, который горячей волной затапливает мозг... Стоит принести себя в жертву в ста или тысяче партий, чтобы однажды достичь заветного восьмого поля и взорваться неслышным для окружающих воплем торжества. Это редкий миг, когда за тебя, жалкую пешку, готовы отдать что угодно, когда ты оказываешься движущей и решающей силой партии...

Это ощущение чуждо другим фигурам, и не им нас судить, не им нас понимать. Мы становимся кем угодно, мы уходим во вторую свою жизнь любой фигурой, кроме короля, и вот такое исключение как раз несправедливо. И мы твердо стоим за устранение столь искусственного правила. Оно жутко обедняет шахматы – только вообразишь себе этюд, где дается мат одновременно двум или трем королям противника, и сразу понимаешь, насколько обедняет.

Но это лишь начало. Мы много общались с шашками и убеждены, что они достигли гораздо большего прогресса. Среди них нет изначально привилегированных; и любая шашка гораздо чаще нас испытывает метаморфозы. Конечно, в их жизни многовато условностей, чего стоит одно только ограничение половиной пространства доски! А ограничение диагональной подвижностью! И, разумеется, их дамке далеко до нашего ферзя... Но все это мелочи. Главное же, их принципы куда важнее, и на этих принципах можно многому научиться.

В конце концов и то, что другие фигуры лишены радости Великого Превращения, — крайняя несправедливость. Следовательно, мы боремся за их же счастье. Я думаю, даже ладья пожертвовала бы своей родовой привилегией ради возможности однажды пройти в ферзи. Даже она, с ее врожденной склонностью к пешкоедству, не прочь была бы поменяться ролями с любой из нас, прорвавшейся к последней горизонтали.

Кстати, ладьи и слоны весьма благосклонно относятся к нашему делу. Они с удовольствием составляют нам комплект для игры в шашки, и превращение в дамки приносит им массу радости. Только кони чураются наших шашечных вечеринок — они упоены идеями перевода игры в кооперативную фазу, их фантазия не знает границ. Они наивно полагают, что в шахматах сохранится хоть капелька красоты, если из них устранить борьбу с жертвами, победами и разгромами. Даже короли потихоньку получают удовольствие — приятно на какой-то вечерок обменять свою нелепую неприкосновенность на свободу пересекать доску из угла в угол. И титул почетных председателей Клуба имени Филидора магически действует на их воображение...

В общем, мне кажется, что наши идеи найдут многих сторонников не только среди фигур, но и среди людей. Кое-кто считает, что мы вернули смысл представлениям древних индусов о переселении душ, о посмертном существовании в иных обличьях. Забавно... Не думаю, что люди позавидуют нам всерьез, пока у них есть возможность погружаться в десятки иных существований с помощью фантамата. Вернее, пока они увлекаются этим. Но наступит момент, когда воображаемое надоест, когда варианты квазиреальности, формируемые фантаматной интеллектуальной электроникой, покажутся пресными, когда наши идеи станут притягательными и, быть может, единственно приемлемыми...

13

...даже о времени не буду думать... Не буду думать ни о чем таком, что выводит из равновесия...

Нет, не то... Так, как сейчас — отключиться от цейтнота — это можно, но вообще не думать — не выйдет.

Похоже, Ант, ты вляпался. Теперь у тебя единственная возможность — отыскать блестящий этюд и уползти на ничью. Жаль, но такой шанс еще

остается. Только фокус в том, что ты и на этот раз не поверишь своим глазам и решишь, что твои кони нарочно толкают тебя к ничейному исходу, действуя так по своей неистребимой склонности к пацифизму... Боюсь, не удастся тебе закончить матч пополам и сохранить почетный титул. И это не слишком справедливо — ты всю жизнь без остатка вложил в гипершахматы и удерживал свои позиции целых два поколения. Чемпион-14 и чемпион-15 — это очень много, я не только понимаю, но и обязательно дам тебе понять, что понимаю это.

Справедливо другое — действие моей ловушки, ты должен почувствовать и такие повороты нашего насквозь логицизированного мира. Нелогичность как категория требует не только огромного времени на развитие мышления. Иногда всей жизни, она кошмарно хроноядна, но суть не в этом. Она требует еще и доверия к самому себе и к своей армии — иначе она непобедима. В иные времена нелогичность торжествовала десятилетиями, а то и веками, и нередко идиотские жертвы становились образцом гениальных комбинаций — не только шахматных, но и политических. За недоверие к своему разуму и к разуму ближнего приходилось платить бешеные цены — вплоть до всеобщего помрачения... Сейчас не те времена, и шахматная федерация устроит разбор партии, задаст мне изрядную взбучку. Они, лидеры федерации, — как-никак борцы за логику, и они не хотят демонстрировать молодежи подобные фокусы ведущих игроков. Пусть дело не в лишней нервотрепке. Не то у меня состояние, чтобы бояться каких-то пересудов...

Важно, что о времени я не смогу не думать. В какую степень усталости я бы не впал, в какое болото не залег бы, все равно не смогу не думать о времени, которое мне болит.

Нельзя выбрасывать из мыслей будущее, от которого, вопреки тривиальной причинности, зависит настоящее. Потому что на тысячу проектов завтрашнего дня приходится не только любоваться, приходится выбирать, выбирать в условиях постоянного жесточайшего цейтнота, ибо отказ от выбора — тоже выбор, и чаще всего глупейший.

И нет такого шага, который не вел бы к тому или иному варианту грядущего дня, вернее, не был бы индуцирован таким вариантом. И нет завтра вне доверия к логике собственных проектов, вне доверия к их исполнителям. Здесь-то и сидят главные наши трудности — в петлях времени, в странном воздействии прогноза о чем-то, вроде бы еще не существующем, на реальные, перед глазами текущие события, и даже на те события, которые давным-давно истекли...

14

Это мерзкая чертовщина, и мои мозги отказываются ее воспринимать. До его нелепой комбинации моя позиция была, безусловно, лучше. После того хода конем просматривался легкий, хотя и довольно длинный вы-

игрыш. Но ведь это нонсенс — разве его фигуры не могут считать на двенадцать ходов так же, как и мои?

Следовательно, по очевидной логике, ему удалось подействовать на интеллектуальную начинку моей капсулы, заблокировать чувство опасности у моих фигур, подорвать их боевой дух. Иначе как объяснить его самоубийственный замысел?

Что же мне оставалось делать, как не брать управление партией лично на себя? Поэтому отклонение от вроде бы очевидных рекомендаций моего комплекта следует признать единственно верным. Пусть федерация потом разбирается с Глебом, дисквалифицирует за применение суггестивных генераторов, пусть этого Глеба подвергнут настоящему ostracism за неспортивное поведение, но все — потом! А сейчас-то я, двукратный чемпион мира, должен показать ему что почем. Разве я сам без всяких подсказок не способен понять позицию и сыграть правильно?

Согласно той же очевидной — разумеется очевидной! — логике я отклонился от внушенных рекомендаций и должен был сохранить небольшое преимущество. С каких это пор мне не хватает для победы одной хорошей лишней пешки? Плевать мне на его внушения насчет быстрого разгрома, внушения — капканы, мне и пешки достаточно, чтоб выжать необходимое очко. Неужели танцы коней, которые навязчиво подсовывал мне мой комплект, и были истиной?

Нет, тысячу раз нет! Здесь заключалась мерзкая ловушка. И лучшее тому подтверждение — после моих собственных ходов кони запросили ничью, стали склонять меня к элементарному ничейному варианту. Конечно, они действовали по внушению, да им и легко внушить идею мирных переговоров — они ведь спят и видят, чтобы из гипершахмат исчезло спортивное содержание, осталась одна голая красота композиций...

Но их навязчивость, опять-таки по очевидной логике, означала одно — в капкан разгрома я не попал, и Глеб хочет уползти на ничью, чтобы потом хвастать на всех углах своим равенством сил с чемпионом мира. Но зачем же использовать такие пакостные приемы? Разве он и без того не доказал свою огромную силу, дотянув матч со мной — не с кем-нибудь, а со мной! — до тридцати партий?

Я бы первый стал восхвалять его мастерство, его незаурядную выдержку. Я даже попытался бы развеять легенды о его авантюризме за доской, дал бы понять шахматному миру, что его комбинации, не всегда до конца просчитанные, все равно обогащают игру... Я бы... Да что говорить — я умею быть благодарным за честную борьбу. Но только за честную!

А такие фокусы я этому выскочке никогда не прощу. Сразу же после партии составлю протест, и федерация мгновенно проверит его капсулу. И тогда его ждет пожизненный позор, а меня — слава, которая неизмеримо выше славы обычного чемпиона, даже трехкратного. Ведь я одержу победу в условиях борьбы с мощнейшим суггестивным генератором, способным пробить защиту даже сверхэкранированных игровых капсул! Я думаю, Глеба ждет еще и настоящее уголовное преследование — такие трюки опасны не только для спорта, но и для всей нашей жизни. Туда ему и дорога...

Плохо лишь одно — вероятно, после всей этой склоки с собственными фигурами я утомился и как-то не вижу реального выигрыша. Но в чем я уверен точно — это в глобальности того якобы этюдного пути к ничьей, который предлагают мне кони. Скорее всего, это последний капкан на пути к моей победе. Меня пытаются убедить, что именно черным следует уползать на ничью. Смешно...

Что подсказывает логика? Логика подсказывает, что надо немного выждать и прийти в себя. Позиция все еще довольно спокойна, только вот время поджимает. Тем более уместно выждать и сократить цейтнот.

Кстати, мой цейтнот тоже дьявольские козни этого Глеба. Я забыл, когда попадал в такую жесткую временную терку в последний раз, видимо, лет пять назад... Должно быть, этот тип нашел способ воздействия на мои часы, если не на время в целом. Он ведь когда-то занимался чем-то в этом роде. Вот уж не подумал бы, что занятия абстрактной проблемой времени способны дать такой конкретный эффект в нашей партии...

Но ничего, пусть игра затянется на несколько десятков ходов, пусть я сожгу лишние граммы нервных клеток, пусть! Ты, дружок, за все у меня ответишь. Я тебя голенького выставлю у позорного столба, я тебе покажу цирковые фокусы, я тебе...

15

...даже на те события, которые давным-давно истекли... Давным-давно истекли, но это только кажется, события, вроде бы безвозвратно канувшие в прошлое, текут перед нами, а главное — в нас... И они опять-таки зависят от наших проектов, мы видим их сквозь линзу будущего, и они живут, меняясь вместе с этой линзой.

И конечно, логика не останется безразличной к проекциям будущего, она тоже преломляется в этой линзе, тоже оказывается переменным правилом нашей игры. Логика в цейтноте, в том цейтноте, который навязывает нам прогресс, который мы сами себе навязываем, все сильнее уплотняя время, — совсем иная, совсем не та, что мерещилась нам, когда время выглядело гладкой стрелой без петель, изгибов и деформаций...

Здесь ты и поскользнулся, бедняга Ант, поскользнулся неотвратимо, ибо твои фигуры слишком логичны и не понимают пока чисто человеческой подозрительности. А возможность бунта, возможность принять решение вопреки твоей воле, воле случайно забарахлившей логической подсистемы, такая возможность для них пока исключена. Она, как я слышал, появится в следующем поколении — там бы ты легко выиграл эту партию, поскольку твои фигуры простым голосованием заблокировали бы твое решение. Ты перебесился бы от того, что какие-то автоматы приписывают тебе небольшое умопомрачение, однако заработал бы свое законное очко.

Но весь фокус в том, что это новое поколение, учитывающее даже нашу подозрительность, умеющее противостоять такому тонкому оружию, как недоверие, не нуждается в нас как в игроках!

Поэтому я и был уверен, что эта партия завершит мои официальные выступления. Гипершахматы утыкаются в некий предел, за которым наше участие в игре — не более чем формальность. Нельзя играть равными тебе по интеллекту, как обычными деревянными фигурками, нельзя оперировать их судьбами без их активного участия в игре, реального участия с правом решающего голоса, с правом неповиновения решениям, принятым кем бы то ни было в состоянии избыточной подозрительности и недоверия. Нельзя, иначе прелестный миф об Игроке-Творце опрокинется на нас, станет нашим мифом, обеспечивающим якобы исконную привилегию на руководство, — станет ловушкой в цейтноте. И я думаю, тогда, к какому-нибудь семнадцатому поколению, пойдет настоящая забава — интеллектуальные фигуры станут играть нами, слегка модифицируя миф собственного изобретения, начнут играть так, что мы и не заметим этого и будем с прежней самоуверенностью полагать, что игроки — мы, и творцы — тоже мы...

Поэтому, Ант, прости меня, если сможешь, а еще лучше — постарайся понять. Мне позарез нужна была победа в этом матче, и я не мог допустить тридцатой рядовой ничьей, которую опять обеспечили бы комплекты белых и черных с абсолютно равными логическими потенциями. Мне нужна была эта победа даже сквозь жуткую усталость, сквозь желание бросить эти бессмысленные игры ко всем чертям, бросить и занырнуть в болото усредненности. Мне нужно хоть на мгновение завладеть твоим, Ант, — по праву твоим! — титулом, чтобы сделать конец гипершахмат очевидным для всех.

Гипершахматы не погибнут, отнюдь нет. Они породят новые игры, но они не должны стать игрой, возрождающей плантаторские традиции. Пусть приходят шестнадцатое и прочие поколения интеллектуальной электроники, но не ради игры в них, а ради партнерства по большому счету, равноправного партнерства двух цивилизаций, тесно сплетенных взаимотворением двух цивилизаций, которым вполне хватит пространства на этой планете и в общем космосе, а главное — времени, того, которого всегда не хватает для разгадки его странной петлеобразной природы... Которого всегда не хватает...

Минск, 1984

ТАЙМКИПЕР, ИЛИ ГОРЬКИЙ ГЛОТОК БУДУЩЕГО

*Но я посулами по горло сыт.
Пророк и лжепророк, чего он хочет?
А вдруг он снова голову морочит?
А вдруг он снова правду говорит?*

Франческо Петрарка

1

Откровенно говоря, я оказался в положении странном и даже двусмысленном – кому пристало писать рецензию на рецензию? Удел взбесившихся начинающих авторов, скажете вы, и будете правы – нет еще вакцины против укушенного самолюбия. Но в данном случае приходится рецензировать небольшой рассказ, который написан в форме развернутой рецензии на некий воображаемый роман. Артур Пен публикует рассказ „Таймкипер, или...“, и несколько месяцев спустя это произведение внезапно становится бестселлером, притчей во языцех, всеупотребительной метафорой и мишенью для черт знает каких нападков.

Почему?

Перед нами всего-навсего рецензия на фантастический роман „Таймкипер“ некоего Арта Прозорова – воображаемый роман воображаемого писателя. Прием, использованный Пенom, не нов. Стоит вспомнить „Идеальный вакуум“ Станислава Лема, где все вещи сделаны в виде рецензий или докладов, и таким образом изложена масса любопытнейших идей. Можно вспомнить и Борхеса, и многих других. Манера прятаться за чужое авторство – довольно древняя традиция. Сколько „рукописей, найденных в Сарагосе“ (а также в бутылке, в номере гостиницы, в архиве дедушки), удалось перечитать со времен изобретения книгопечатания...

Конечно, такая форма непроста для восприятия – очень уж своеобразно взаимодействуют автор и его герои, но кого в наши дни удивишь сложностью художественных проекций? И кого обвинишь в переусложнениях, не рискуя впасть в откровенную рептильность?

Поэтому углубимся в суть дела, как бы странно ни выглядела проекция, сотворенная Пеном, попробуем провести кое-какую реконструкцию исходного романа.

2

Насколько я понял, „Таймкипер“ вводит нас в мир не столь уж отдаленного будущего. Перед нами конец XXI или начало XXII века. Мы попадаем в эпоху, где все производство ведется машинами или, точнее, разумными (пожалуй, сверхразумными!) элементами техносферы. Интеллектроны – так Пен называет универсальные блоки управления – умеют и делают все. Они контролируют добычу полезных ископаемых и энергии, работу интегрированных технологических систем, транспорта и связи. Интеллектроны обладают колоссальным быстродействием, что-то около квинтиллиона операций в секунду, и чудовищно емкой коллективизированной памятью.

Жилище человека стало какой-то разумной капсулой. Персональный интеллектрон выполнит едва ли не любой ваш заказ. Он поможет выбрать и даже изготовить новейший унимобиль (по терминологии Пена, это универсальное транспортное средство для перемещения в трех средах). Он способен приготовить блюдо по рецепту повара древнекитайского императора. Он может погрузить вас в самую невероятную фантпрограмму, может практически мгновенно доставить и систематизировать любую существующую на планете информацию, обучить вас самым экзотическим премудростям – от талмуда до физики планкеонного синтеза.

Все это хорошо, но главное впереди.

Интеллектроны работают по собственным, постоянно усложняющимся программам. Они управляют не только производством сырья и вещей, энергии и пищи, но и производством идей. Так называемые эвроматы (творческие подсистемы интеллектронных сетей) успешно решают оригинальные задачи – от частных технологических разработок до создания космологических моделей, от алгоритмов смены запахов в вашем доме до генерации ветвящихся фантпрограмм, своеобразного синтетического искусства этой эпохи. Информация с постоянно улучшающихся техносенсорных систем планеты (электромагнитных, гравитационных, молекулярных и прочих анализаторов) непрерывно перерабатывается эвроматами во все более совершенные и экономичные модели реальности, а эвроматы, в свою очередь, непрерывно совершенствуются. В результате, невообразимыми темпами нарастает поток новых знаний, поток открытий и изобретений, которые предельно быстро внедряются в практику.

На первый взгляд мир „Таймкипера“ — нехитрый вариант техницированного рая. Но не забудьте, что всякая контора с вывеской „Рай“ заведомо не соответствует своему названию — можете смело считать ее очередной выдумкой талантливого рекламного агента. И не ошибетесь.

3

Пен сразу дает почувствовать, что воображаемый автор „Таймкипера“ — отнюдь не технофанат. В тщательно обрисованном им мире вполне хватает проблем.

Приятно узнать, что человечество в „Таймкипере“ успешно преодолело многие пороги эволюции, прежде всего военный и экологический. Создана планетарная хозяйственная система, весьма эффективная благодаря повсеместному внедрению роботов и безотходного производства, благодаря многоуровневой оптимизации в сферах распределения, потребления и воспроизводства. В дело идет едва ли не каждая молекула. Голод и бездомность превратились в расплывчатые тени безобразно неразумного прошлого.

Сельского хозяйства в традиционном смысле практически нет, любой продукт с заданными вкусовыми качествами синтезируется на огромных биопищевых комбинатах из растений и микроорганизмов. Сеть мощных и надежных термоядерных станций с избытком покрывает энергетические потребности. Интенсивно осваивается пространство Солнечной системы. Вот-вот войдут в строй новые, так называемые космологические реакторы, работающие в режиме синтеза элементарных частиц, то есть в условиях, воспроизводящих состояние ранней дозвездной Вселенной, и это откроет дорогу дальним экспедициям галактического масштаба.

Но за материализацию сказки пришлось недешево заплатить.

За несколько десятилетий до описываемых событий — вероятно, еще в начале XXI века — на планету надвинулась своеобразная информационная катастрофа. Пен (или, если угодно, Арт Прозоров!) имеет в виду веками нараставшее засорение интеллектуальной среды, ноосферы, которое приняло взрывообразный характер в XX веке с его неконтролируемым производством и потреблением информации, с его упором на рекламу любой ценой — от минутного телеролика о „чудесном“ стиральном порошке до многолетних широковещательных политических кампаний. Реклама, считает воображаемый Прозоров (и, разумеется, вполне реальный Пен), была неплохим двигателем прогресса — в той степени, в какой обеспечивала широкие круги населения сведениями о новинках, будь то оригинальный автомобиль или свежая социологическая идея. Но постепенно специалисты по рекламе стали все больше увлекаться ее экономическими аспектами — в прямом и переносном смысле. Почти неприкрытая рекламная ложь обеспечивала фантастическую сверхприбыль от реализации вещей и идей.

Пен даже приводит воображаемую статистику, связанную с уровнем использования заведомо недоброкачественной информации и тривиально графоманских дублей. Выясняется, что мы жили, видя истинное положение дел лишь на полпроцента... Эффектно и даже бьет по нервам! Нетрудно догадаться, сколь многого лишено существо с полупроцентным зрением.

Эта цифра хоть и взята с потолка, однако заставляет задуматься, как и всякий мастерский гротеск.

Примерно так же относится к ней и сам Пен, порицающий Прозорова за излишнюю горячность. Но автор вполне прав, считает Пен, когда удивляется тому, что мы вообще выжили, выжили, несмотря на то, что покупали шампунь, который в принципе не мог обладать рекламируемыми свойствами, голосовали за всеплощадно расхваливаемых политиков, чьи познания и способности не позволяли руководить даже мелким предприятием, читали и на все голоса обсуждали „выдвинутые“ романы и поэмы, не имеющие никакого отношения к настоящей литературе...

Разумеется, в данных оценках Пен не столь уж оригинален. Засорение ноосферы давно уже служит предметом разнообразных дискуссий. Но голос Пена приятно услышать в этом хоре. Иногда именно тантливый солист доносит до нас смысл общеизвестной песни...

Но вернемся к сути конфликтов „Таймкипера“

Интенсивное накопление информационных отходов приводит к заметной деградации культуры. Среди культуроидов распространяются своеобразные наследственные болезни, пандемии очередных мод грозят разрушить основы цивилизации. Пен цитирует Прозорова: „Мы захлебываемся смогом своей лжи!“

Катастрофа предотвращается лишь в связи с передачей эстафеты интеллектонам. Машинам вроде бы незачем врать. Они как бы создают систему мощных очистных сооружений, фильтруют информационный массив в планетарном масштабе. Интеллектоны способны дать оценку УД – уровня достоверности любого сообщения. В мире „Таймкипера“ никто не запретит рекламировать ваши мемуары о личных встречах с Данте или с инопланетянами, никто не откажет вам в рекламе средства для сохранения вечной молодости, но в обоих случаях ваши сообщения будут сопровождаться нулем УД. Вы можете обещать наступление рая земного через двадцать лет или через двадцать минут, можете, пользуясь самыми нелепыми выдумками, доказывать свое безусловное превосходство над окружающими в умственном или сексуальном плане, но конец всему кладет обязательная оценка УД. Все сообщения с нулевым или очень близким к нулю уровнем достоверности расцениваются как развлекательные номера. Установлены даже призы имени Мюнхгаузена – планетарный, региональные, окружные и так далее...

В общем, в мире „Таймкипера“ культура стала заметно прозрачней – еще бы не стать, когда враки прямо называются враками, а плагиат в любой форме – плагиатом... Но отфильтрованная и вполне правдивая ин-

формация, генерируемая эвроматами, стала потихоньку затапливать планету. Надвигающаяся информкатастрофа приняла иной облик – объем новой информации и темп ее переработки просто вышли за рамки человеческих возможностей.

И тут в романе Прозорова начинает звучать мотив тоски по чему-то, навеки утраченному. Вообще говоря, „Таймкипер“ – сугубо ностальгический роман, и в этом мы вынуждены целиком довериться Артуру Пену.

4

И, вправду, возникает вопрос: что, собственно, делать человеку в насквозь интеллектуальном мире „Таймкипера“?

Мало того, что у человека из прозоровского (или пеновского?) будущего отобран черновой рутинный труд – это, как говорится, слава богу, – но у него, в сущности, отобран и труд творческий. Эвроматы значительно лучше человека „работают“ в науке и искусстве, лучше проектируют станки и унимобили, лучше следят за оптимизацией биосферы и собственным ускоренным развитием. А главное, принимают в единицу времени гораздо большее количество гораздо более обоснованных решений.

Так что же? Бродить по зеленому раю и пощипывать струны арфы, лелея возвышенные мысли? Выдвигать самые невероятные проекты? Кстати, о проектах – это пожалуй, сколько угодно. Каждый человек, распаленный легко доступной информацией и игрой собственного воображения, может предложить интеллектуону любой бред. Интеллектуон честно сделает из этого бреда нечто предельно близкое к реальности, вышелушит оттуда малейшие крупинки здравого смысла и любезно изложит человеку основные причины, по коим исходный проект не может быть реализован в ближайшие сто лет. Если человек станет капризничать, домашний волшебник синтезирует для него превосходную фантпрограмму – сиди себе на здоровье в том смешном мире, который ты сам придумал. Владей, например, целым квазаром или переживай события своей нелепой, так и не написанной повести. Подлинность ощущений гарантирована, а заодно тебе деликатно внушается мысль о неполноценности твоей задумки... И впрямь – что знает человек о квазарах по сравнению с эвроматом? Разве может он создать хотя бы не слишком примитивную пародию на произведение искусства, творимого путем сложнейшего интеллектуального синтеза?

Похоже, человеку не оставляют даже простенькой роли вечно обнадуженного прожектора. Его творческие заявки аккуратно рассматриваются, но они обречены на отказ, заранее обречены – вот что страшно. Но, пожалуй, самое страшное в ином – человек, в общем-то, понимает, что создал систему, в которой он обречен на второстепенность. Он делает вид, что именно ему принадлежит решающее слово в определении перспектив планетарной эволюции, – актерствует, хотя и с явно убывающим энту-

зиязмом. Он чувствует, что ни объем знаний, ни скорость мышления не позволяют ему конкурировать с интеллектуальными комплексами. Его идеи не идут в ход вовсе не из-за предвзятости или особого коварства интеллектуальности, а по объективнейшей причине безнадежной примитивности самих идей.

Основные силы и средства идут на развитие интеллектуалов, именно они перехватывают эстафету земной цивилизации, определяют стратегию преобразования планетарной биосферы и расширения космической ойкумены. Фокус в том, что именно они, некогда примитивные вычислительные машины, руководят жизнью биосферы, включая сюда и человека, своего создателя. Земля превращается в огромный открытый зоопарк (хомопарк, по терминологии Пена), где люди содержатся в довольстве, лишённые изнурительных забот о хлебе насущном. Интеллектуалы без особого напряжения (и раздражения!) снабжают их качественной пищей, культурными программами, обеспечивают вполне комфортабельным жильём и транспортом – чего же еще?

Можно сказать и так – человек добился своего. Сначала он создавал хитроумные усилители мышц и органов чувств. Теперь он сотворил ментальные усилители – мощные интеллектуальные мозги, вынесенные по отношению к нему как бы во внешнюю среду на некие обособленные молекулярные структуры. И стоит ли удивляться, что, усилившись до предела, человек оказался вице-хозяином Земли (хотел сказать: вице-царем природы, но испугался уймы прицокиваний, словно от удовольствия...). И перед ним замаячил пренеприятный вопрос: а не сочтут ли интеллектуалы – через год или пару столетий, – не сочтут ли они, что многомиллиардная популяция хомо сапиенс – экологическое излишество, дурно влияющее на темпы прогресса?

Неужели очередная антиутопия?

Но Артур Пен достаточно опытен, чтобы понимать простую вещь – в ответ на всякую прогностическую неизбежность у нас принято предлагать как минимум десяток удобных обходных путей. На всякое – пусть и архиглубокое – предчувствие фантаста наш мир насылаёт легион трезво мыслящих реалистов, и игра всегда идет в одни ворота. Сборная реалистов с удовольствием считает забытые ими голы и только много позже обнаруживает, что били действительно в одни, причем именно в свои ворота...

5

Концентрированная подача фона, на котором разворачивается действие „Таймкипера“, не слишком приятна, словно с живой плоти романа сдирается кожа в виде краткого научно-популярного очерка. Утешимся тем, что роман все-таки воображаемый, чего, конечно, не скажешь о содранной коже.

Лично на меня фон произвел сильное впечатление, ибо ситуация интеллектуальной гегемонии не кажется мне ни слишком нереальной, ни слишком отдаленной. А один из персонажей прозоровского романа высказывается еще жестче, считая создавшееся положение вполне естественным.

Человечество, полагает он, уже давно начало выводить мозг в окружающую среду. Первые попытки такого рода – стандартные орудия труда и могильники как опредмеченные носители определенных идей, если угодно, овеянная внешняя память, кодовым ключом к которой служило ритуальное действо. Позже возникли наскальная живопись и письменность, выступавшие одновременно и как средства общения, – это уже несомненные элементы внешней памяти. Далее разрабатывались все более емкие и экономичные коды, появились механические, электрические и оптические преобразователи, способные более или менее автономно функционировать на основе этих кодов. Наконец, были созданы интеллектроны, функционирующие, в сущности, эффективней человеческого мозга и по праву претендующие на свое место под солнцем.

Противопоставление человека и интеллектуально-роботной системы и куча связанных с этим конфликтов основаны на примитивной ошибке, утверждает он, попросту – на переоценке роли индивида. Человек ни в биологическом, ни в культурном отношении не является автономной единицей человечества. Таковая единица – социальный организм, способный к самовоспроизводству, к сохранению и развитию созданных им культурных структур. Это видно на примере древнего охотничьего племени, это отчетливо проявляется и в более сложных обществах. Человек всегда познавал мир, эксплуатируя „внешний мозг“, прежде всего – мозги своих близких, разнообразных специалистов и специализированных коллективов, которые, кстати, в том или ином смысле обычно доминировали в обществе. Если в силу ряда причин самым эффективным „внешним мозгом“ оказались интеллектроны, если они стали играть ведущие роли в социальных организациях именно в силу своей эффективности, то какого черта мы недовольны?

6

Именно так: „...какого черта мы недовольны?“

Изложенные рассуждения принадлежат главному герою воображаемого романа – некоему Таймкиперу, шефу Музея Времени. Таймкипер – прозвище (разумеется, не имя!), вероятно, что-то вроде иронической „взрослой дразнилки“, ибо кого всерьез назовешь Хранителем (или даже Хозяином) Времени.

В прозоровском мире все желающие могут состоять на службе – в должности зрителя чего-нибудь или даже наладчика интеллектуальной техники, но никому не приходится перерабатывать, а по нынешним меркам, пожалуй,

и вообще работать... Такова и деятельность Таймкипера. Он имеет свободный доступ к архивам Музея, к новейшим экспериментальным установкам, но по-настоящему за состоянием этого любопытнейшего учреждения следят лучшие интеллектоны планеты, и, разумеется, все текущее обслуживание полностью автоматизировано.

Музей Времени – это крупнейший исследовательский комплекс, занимающийся историей и прогностикой. Любой человек может погрузиться здесь в интересующее его время, и выбранная эпоха синтезируется в фантпрограмму на основе новейших данных. Воздействие на все органы чувств и непосредственно на некоторые центры мозга создает полнейшую иллюзию присутствия в том или ином завтра или вчера.

Кроме того, хроновизионные эвроматы умеют синтезировать весьма убедительные варианты истории, разыгрывая модели будущего, которое мы имели бы, скажем, в результате победы Наполеона под Ватерлоо или поражения Карла Мартелла под Пуатье. Надо полагать, человек, окунувшийся в вариантную историю, начинает воспринимать настоящее – реальное настоящее! – как один из элементов обширнейшего спектра миров, которые вполне могли бы существовать при несколько иных стечениях обстоятельств. Многовариантно воспринимается теперь и будущее. Предопределенные пути человечества, которые однозначно пытались вычерчивать когорты пророчески настроенных утопистов и антиутопистов, теряют смысл. И прогноз развития цивилизации становится не предвидением чего-то неизбежного, а своеобразным программированием будущего, проблемой осознанного и активного выбора среди многих возможностей. Во всем этом кроется новый, более высокий уровень понимания реальности, уровень, вряд ли полностью доступный нашему современному восприятию.

Именно в такой обстановке непрерывных и внешне бессмысленных блужданий по разным временам и мирам и живет Таймкипер. Живет, почти не покидая Музея, живет одиноко, ибо его более разумные сограждане предпочитают заказывать программы Музея, не выходя из дому – по индиканалу.

Вообще-то блуждания по иным вариантам реальности не вполне безопасны. Далекие вариантные рывки испытывают психику человека на разрыв. Можно как бы застрять в фантпрограмме, нарушив связи с реальным миром, попросту говоря, сойти с ума. Поэтому во всех индиканалах соблюдается жесткое ограничение на дальность варианта, допускаются лишь достаточно безопасные (так называемые субреальные) путешествия в иные миры прошлого и будущего. Лишь это гарантирует восстановление нормального мировосприятия после выхода из программы. Но в самом Музее уйти от контроля не так уж трудно, и этим постоянно пользуется Таймкипер.

Прозоров дает понять, что увлечение вариантными путешествиями сродни наркомании, и в этом смысле Хранитель Времени – законченный наркофант. Сильная психика спасает его пока от полного распада, но из

каждого очередного погружения в иные миры он возвращается все более разбитым и опустошенным.

Станный и весьма неприятный тип, этот шеф Музея Времени, растерявший некогда хорошую семью, пренебрегающий общественными связями. Он зло высмеивает энтузиастов, которые призывают его поддерживать движение по расширению рациона питания людей за счет некоторых натуральных продуктов. Он буквально сморкается в поднесенную ему на подпись петицию. „Если б с этой вашей колбасой из натуральной дичины да скоротать вечерок в баре XX века, — заявляет он, — я бы, конечно, выступил. Я бы зубами перегрыз всю проклятую интеллектронику ради колбасы...“

Таймкипер откровенно юродствует, а к нему идут, обижаются, но идут — все-таки он рекордсмен по пребыванию в иных вариантах истории, и магический ореол выдающейся личности окружает его. Но обращаются все реже, поскольку он все сильнее погружается в варианты блуждания, еще более дальние и опасные.

Были случаи, когда Таймкипера спасало только своевременное вмешательство психореанимационных эвроматов. Его многократно и деликатно предупреждали, его мозг подвергали глубокому зондированию, чтобы погасить очаг опасного поведения или хотя бы выяснить цель, с которой Хранитель Времени покушается на свое здоровье, подавая дурной пример окружающим. Но все безуспешно.

По нынешним временам, ему не то что не доверили бы должность планетарного масштаба, но и непременно загнали бы на принудительное лечение. Однако мир Таймкипера слишком уверен в себе, слишком защищен сверхскоростными блокировочными реакциями интеллектроники, чтобы бояться какого-то одиночки. Более того, подчеркивает Пен, этой разумной системе даже интересно изучать человеческое поведение в экстремальных условиях, уточнять резервы психики, загнанной на грань помешательства.

Но не будем забывать, что айсберг демонстрирует над поверхностью воды десятую долю своего объема. Главное в Таймкипере — „подводная часть“, и она становится видна лишь постепенно, она начинает как бы просвечивать сквозь мутные слои естественного отторжения, которые испытываем мы относительно каждого, систематически и намеренно вступающего грань субреальности.

7

Лишь к концу романа, утверждает Пен, начинаешь понимать, что Таймкипер, истинный и кажущийся, — совершенно разные люди, что несчастный наркофант, балансирующий на грани социальной изоляции и обычного помешательства, — личность в высшей степени незаурядная. Он играет какую-то сложную роль, непонятную для окружающих, и, пожа-

луй, не вполне ясную для него самого. Но у Хранителя Времени есть цель, и именно эта цель наполняет смыслом его внешне безалаберную жизнь.

Дело в том, что Таймкипер ищет Ошибку. Ошибку, совершив которую, люди стали шаг за шагом отступать на вторые роли.

Он очень быстро нащупал критический момент, когда решалась судьба исследований по преобразованию мозга, когда была предложена инженерно-генетическая программа создания особой надкорочной области – гиперкортекса. В рамках этой программы человек должен был обрести качества, выходящие за границы качеств обычного разума. Кое-что было неплохо спрогнозировано с помощью первых поколений интеллектронов. Выяснилось, например, что новый вид человека (его называли суперсапом, гиперменталом – по-всякому...) сможет выдержать серьезную конкуренцию с эвроматами в смысле выработки моделей и принятия решений. Но, конечно, целостная картина гиперментальной эволюции была слишком сложна для панорамного прогноза, и серьезные опасения оставались.

Десять миллиардов человек не переделаешь по мановению волшебной палочки, утверждали тогда умнейшие из умных. На реконструкцию всего человечества уйдут века, и в этой глобальной операции сгорят многие поколения. На людей обрушится невиданный комплекс неполноценности. Человек сегодняшний почувствует свою катастрофическую умственную малость перед человеком завтрашним, увидит себя лишь рядовым звеном уходящей в неведомые выси эволюции. Мудрые пророки особенно упирали на то, что первые же поколения суперсапов, дорвавшись до программы хомореконструкции, перекрутят ее по-своему, вероятней всего, совершенно непонятным для обычных людей образом. В итоге на верхнем этаже планетарной биосферы возникнет быстро расширяющийся видовой спектр, и не ясно, удастся ли найти принципы равновесия в отношениях людей с колоссальным ментальным перепадом. Так почему бы, вопрошали пророки, не пожить нам просто и спокойно, пользуясь благами, которые несет ускоренное развитие интеллектроники? Стоит ли делить эти блага с непредсказуемыми творениями нашей фантазии?

В бой вступили ведущие специалисты по эвросистемам. Стоит ли загонять огромные средства в усиление индивидуального мозга, которому все равно не угнаться за темпами развития интеллектроники, спрашивали они. Когда-нибудь потом, в далеком и, безусловно, светлом будущем, когда мы уверенно освоим пространства межзвездных масштабов, можно будет и поэкспериментировать – создать на одной из планет какие-то популяции гиперменталов и посмотреть, что из этого выйдет...

Так вот, трагедия Таймкипера заключалась именно в том, что он не знал – Ошибка это или Великое Прозрение. Его интуиции, его жалкой человеческой интуиции стало неуютно в великолепно слаженном интеллектронном мире, и он начал прорываться в иные варианты истории – в те, где умнейшие из умных не взяли верх над кучкой отчаявшихся инженеров-генетиков, где удалось создать суперсапа, и это пустило цивилизацию по принципиально иному пути.

Трагедия Таймкипера усиливалась тем, что он не имел никаких гарантий относительно точности вариантов, которые он разыгрывал в своих фантпрограммах: Он вовсе не был уверен, что интеллектроны Музея не затеяли с ним какую-то дурацкую игру. Потому что прогноз, связанный с программой хомореконструкции, во всех вариантах получался мрачным и безрадостным. Таймкипер был близок к сумасшествию, когда представлял себе, что интеллектроны издеваются над ним так же, как он издевался над делегацией почтенных сопланетников, боровшихся за натуральную колбасу. И тогда он бился лбом о, казалось бы, безвыходную клетку времени и бросался в отчаянные приключения, насыщая свои фантпрограммы черт знает чем – такой мерзостью, на фоне которой меркли пресловутые ужасы XX века...

8.

И все-таки Таймкипер первым проник в суть наступающей эпохи. Он понял, что начиная с какого-то момента планетарная интеллектроника обрела собственные цели. И этими целями окрасилась выдаваемая информация, в объективность и беспристрастность которой люди верили, как некогда в бога, даже сильнее. Ибо глубже всего мы способны уверовать в то, что не является предметом веры, что преподносится как сухая и строго выводимая научная истина. Модулированный танец световых импульсов и вещание интеллектронных речевых синтезаторов заводят куда дальше, чем шаманская пляска или окутанный органным облаком латинский речитатив.

Мудрецы, насмерть сражавшиеся с программой хомореконструкции, как-то не обратили внимания, что против их прогнозов не выдвигалось ни одного аргумента, подтвержденного детальным проигрыванием на интеллектронике последних поколений. Наука, базирующаяся на результатах интеллектронной обработки, была почти стопроцентно на их стороне, и это настолько гасило самолюбие, что в его бескислородной среде мгновенно гасли искорки настойчивости. Мудрейшие из мудрых так и не осознали, что доверяют свою судьбу конкурирующей цивилизации, отнюдь не озлобленной на людей, но просто принципиально иной в своей организации, своих носителях, своих целях. Тонко разыгранный бунт того, что казалось подручными вычислительными средствами, приводит Таймкипера в почти невменяемое состояние. И он мечется по залам Музея, переполненный своим открытием. За этим занятием его и застает комиссия, пришедшая проверить работу важного учреждения. Забавно, что проверочные комиссии перешли по наследству в эту, в сущности, безработную эпоху...

В момент высокого посещения Таймкипер вдруг осознает – прав был один из философов-неудачников переломного периода, некто Урсул Гоу, тщательно преданный анафеме и должным образом забытый. Главная

книга Гоу „Наука как миф“ вызвала в свое время бурю негодования – сначала не столько за взрывные общие тезисы, сколько за открытую поддержку программ хомореконструкции. Но позже ему припомнили каждое слово.

Еще бы! Ведь Гоу утверждал, что религии соответствует мышление, танцующее от печки прошлого, науке – от настоящего, но ни та, ни другая система мышления непригодна для стратегического прогноза. Религия опрокидывала на будущее идеализированные исторические конструкции, призывая проникнуть как можно глубже в изначальный, и, безусловно, великолепный замысел Творца. На смену ей явилась крайне самонадеянная наука, объявившая образцом день сегодняшний, расщепившая прошлое на отдельные звенья эволюции, на некую последовательность настоящих. Отсюда берет начало идея предвычисленного (так сказать, научно обоснованного!) прогресса. Но это бред, настаивал Гоу, что таким путем можно построить достаточно достоверную картину будущего, можно высветить всю стрелу прогресса – от галечных орудий до поколения далеких галактик. Это не просто бред, поигрывал Гоу своим любимым словечком, это опаснейший из всех возможных бредов, ибо сама наука показывает, что более сложные системы не моделируются более простыми. Поэтому прогрессивное будущее нельзя представить панорамой чисто научных экстраполяций. Пора, наконец, понять, что, натужно прорываясь в будущее на хребте науки, мы незаметно сделаем прогностические средства сложнее нас самих, и в результате будущее окажется за нами, а не за нами. Надо отбросить миф о предвычисленности нашего пути – только шаги учат ходить, и только активное конструирование гиперментального человека позволит нам начать реальную разведку далекого будущего. Мы выйдем на новый автоэволюционный уровень мышления, ориентированный не на общепринятые образцы прошлого и настоящего, а на варианты будущего. Но между будущим и нами не должны стоять слишком сильные интеллектуальные посредники, ибо всякий посредник, развивающийся в режиме наибольшего благоприятствования, со временем обходит клиента... Таков открытый мною принцип медиаторного опережения, вещал Гоу, и если мы не хотим превратиться в биологический довесок к интеллектуальной цивилизации, нам надо немедленно приступить к собственным преобразованиям...

И вот в самый неподходящий момент – перед лицом комиссии – Таймkipера осеняет правотой полузабытого Гоу. Вся эта вроде бы ахинея насчет автоэволюционного мышления, идущего на смену научному, вдруг выстраивается перед ним в четкий образ – образ вряд ли поправимой Ошибки. И вместо того, чтобы немедленно ублажить контролеров демонстрацией Музейных чудес, Таймkipер нагло предлагает председателю комиссии назвать Музей именем великого Урсула Гоу. Надо ли пояснять, что комиссия удаляется в полном составе, дабы сочинить ходатайство о помещении допрыгавшегося наркофанта в соответствующую его умственному состоянию изоляцию...

Так крупно и явно Таймкипер срывается впервые — он сразу понимает, что его ждет, и бросается вдогонку. Он успевает сыграть перед контролерами роль парня-немного-не-в-себе, однако веселого и абсолютно безобидного. Дело кончается выговором и перемирием.

Тут-то и всплывает явный смысл эпиграфа, заимствованного Прозоровым из „Записок сумасшедшего“ Льва Толстого: „Я не высказался, потому что боюсь сумасшедшего дома; боюсь, что там мне помешают делать мое сумасшедшее дело“

Ну а потом Таймкипер ухмыляется вслед умиротворенной комиссии и преспокойно идет к пульту интеллектрона, чтобы разыграть модель будущего с иной вложенной целью. И он медленно погружается в фантпрограмму, превращающую его в суперсапа, способного видеть Вселенную в иных, недоступных нам проекциях.

Здесь, подчеркивает Пен, автор „Таймкипера“ проявляет немалое мастерство — читатель так и не может понять, действительно ли последняя глава описывает какую-то особо опасную фантпрограмму, откуда герою нет возврата, или мы попадаем во вполне реальный мир будущего, лишенный интеллектронной доминации, в мир людей, снова перехвативших лидерство, уходящих в гиперментальную эволюцию с ее иными горизонтами и трагедиями иных масштабов. Насколько я понимаю Пена, на этой неопределенной ноте воображаемый роман завершается.

9

Если кому-то захочется воспринять пеновскую сюжетную идею буквально, он сразу обратит внимание, что рецензия далеко не восторженная. Это и понятно — все-таки Прозоров во многом оппозиция своему творцу, точнее, эволюционно иное Я Артура Пена, его эговарияция. И словно бы материализовав иной свой вариант в какой-то сложной фантпрограмме, Пен храбро вступает с ним в спор.

Прежде всего, говорит он, стоит обратить внимание на странную логику автора „Таймкипера“ Не очень-то верится, что критики программы хомореконструкции, которых сам Прозоров называет умнейшими из умных, так уж испугались бы трудностей межвидового взаимодействия. Неправдоподобно, чтобы наша цивилизация продвигалась по одной единственной линии и все проблемы сводились к выбору между ускоренным развитием интеллектроники и человеческого мозга. Наверняка XXI век принесет много нового в решение такой сверхзадачи, как контакт с цивилизациями внеземными. Прозоров сам подчеркивает важную роль идей Контакта в переориентации земной технологии и политики, но почему-то не обращает внимания на очевидные последствия соответствующих теоретических разработок (не говоря уж о последствиях приема инопланетного Сигнала или непосредственной встречи с инопланетянами!). Между тем сама мысль о Контакте абсурдна, если мы не рассчитываем на взаимоприемлемые отношения с существами принципиально иного типа — не только по ум-

ственным данным, но и по биологической конституции. Я уверен, говорит Пен, что идеи оптимального космического Контакта непременно должны проецироваться на внутрочеловеческие отношения, в том числе на отношения обычных людей и гиперменталов, и эти идеи так или иначе составят серьезную основу для общей теории хомореконструкции. Существенный недостаток прозоровской панорамы будущего – именно в нестыковке интеллектуальной, контактной и гиперментальной линии эволюции.

Вероятно, Пен прав, но я допустил бы и иную возможность. А вдруг именно отмеченная нестыковка и послужила толчком к возникновению мира „Таймкипера“? Вдруг именно одностороннее увлечение внутриземными проблемами развития интеллектуальной и человеческого мозга стало причиной Ошибки, и Прозоров попытался дать нам более или менее зашифрованный урок на тему опасностей, заключенных в излишней интроверсивности целей, в ослаблении интереса к внешним поискам? Боюсь, в этом пункте писатель Арт Прозоров оказался более дальновидной эговариацией критика Артура Пена, бунтарем, слегка перехитрившим своего творца...

Соотнося серьезность намерений с сюжетом прозоровского романа, продолжает Пен, нельзя не удивиться явной наивности автора. Неужели мир, знакомый с теорией Гоу – пусть и трижды поруганного, – попался бы в такую элементарную ловушку? Философа можно привязать к позорному столбу и даже возвести на костер, но это не мешает вкушать плоды его размышлений и извлекать из его неприличных выпадов общепользные уроки. И, надо полагать, идеи медиаторного опережения непременно сыграли бы свою роль, не дожидаясь проявления Таймкипера.

Единственное логичное объяснение этому Пен видит в следующем. Прозоровский Урсул Гоу, утверждает он, нереален – это выдумка Таймкипера, в лучшем случае – персонаж одной из вариантных фантаграмм. Таймкиперу попросту не на кого опереться в своем мире, и он ищет авторитет, способный своим общепризнанным весом или хотя бы сугубо скандальной славой поддержать его собственное открытие. В каждом из нас сидит маленький, слегка замаскированный схоласт, мечтающий о своем Аристотеле...

Комиссия сбегает из Музея вовсе не из неприязни к реальному философу-оппозиционеру, а испугавшись Таймкипера, который бредит каким-то неизвестным мучеником науки. Члены комиссии решили, что шеф Музея попросту застрял в некоей фантастичности (где, быть может, и есть какой-то Гоу!), застрял и теперь нуждается в срочной помощи психоремедиаторов. Догнав у порога и разыграв перед ними отречение от Гоу, Таймкипер окончательно убеждает их в своей ненормальности... Теперь он обречен, и ему нет иного пути, кроме необратимого соскальзывания в иной вариант будущего, в фантаграмму, моделирующую царствие гиперменталов...

„Но не слишком ли сильна маскировка? Стоит ли подвергать детективные способности читателя столь напряженным испытаниям?“ – вопрошает Пен... Не могу не признаться, что в свое время эти вопросы показа-

лись мне парой искренних крокодиловых слез. Право же, Артур Пен, потечески заботящийся о перегрузке читателя и прозрачности чей-то фантастики, — это неповторимое зрелище...

10

Не знаю как кому, а мне воображаемый Урсул Гоу нравится меньше реального. Возможно, нашему маленькому внутреннему схоласту свойственно мечтать о своем Аристотеле и даже активно творить своего Аристотеля... Но симпатия к непризнанным гениям — несомненно, наше врожденное качество, одно из лучших проявлений того, что Пен именует эговариабельностью. Разумеется, трудно предположить, что Гоу или Таймкипер являют собой пророков-спасителей, способных самолично увести человечество на более разумные пути ценой собственного распятия. Но в любом случае хочется верить в реальность тех, кто заставляет нас думать по-новому, — без них мы и вправду лишены будущего...

Лишь в самом конце своей рецензии Пен источает скупую похвалу. Ему понравилась идея медиаторного опережения. Он даже склонен считать, что здесь сокрыт какой-то до сих пор не осознанный и весьма общий принцип эволюции.

Действительно, вспомните, например, историю развития живой материи или хотя бы историю отношений родовой аристократии с коммерческими кругами, и вы поймете, что мысль Прозорова (Таймкипера, Гоу...) об опережающем развитии посредника связана не только с взаимодействием человека и интеллектроники. Чем лучше осуществляются посреднические функции, тем больше оснований для совершенствования посредника. Но чем активней он совершенствуется, тем больше приносит пользы. Такое усиление обратной связью обеспечивает колоссальные эволюционные рывки — в сущности, революции! — именно для посредника, и со временем он может выйти из-под контроля пользователя и даже поменяться с ним местами.

В конце концов интеллектронный робот, стоящий между нами и далекими звездами, между нами и станком, выпускающим подшипники, между нами и ядерным энергоблоком, робот, включенный в разветвленную иерархию себе подобных — управляющих, конструирующих, силовых, — такой робот рано или поздно станет для нас представителем особой цивилизации, с которой мы находимся в тесном и жизненно важном контакте, если угодно — в партнерстве, в определенной степени равноправном. Однако равноправие в такой ситуации — понятие тонкое и непостоянное. До сих пор мы обычно понимали дело так, что всегда будем ведущим звеном подобного контакта, всегда — независимо от темпов эволюции и реально достигнутого уровня сложности. Но разве это не заблуждение, не очевидный антропоцентристский шовинизм?

В общем, идея медиаторного опережения нравится Пену, но для ее формулировки хватило бы и небольшого рассказа, полагает он. Причем тут

роман? Лишь она, эта идея, и сохранит „Таймкипер“ в истории культуры, смело заверяет нас Пен.

И поневоле думаешь, как несложно быть смелым в самооценке, когда твое Я расщеплено на многие персонажи хитро построенного произведения, когда ты достиг некоего максимума эговариабельности...

11

До сих пор я говорил о вещах сравнительно простых. Не так уж трудно пересказать сюжет несуществующего романа и тем более – идеи реальной рецензии. Гораздо трудней понять, почему этот роман так и не был написан, почему Пен все-таки остановился на лаконичной рецензионной форме.

Говорят так: Пен предчувствовал близкий конец, угадывал его каким-то шестым или десятым чувством, присущим поэтам всех веков. Попросту – он спешил, спешил так, что спрессовал множество интересных идей в небольшом эссе, коего – в должной развертке! – вполне хватило бы на добрую дюжину обычных романов.

Конечно, результат пророчества тяготеет к пророку – это известно со времен Кассандры. Будущее по-своему расплачивается с теми, кто пытается вступить в него раньше других. Оно шлет сигнал опасности, но обычно запоздалый и не более предупредительный, чем гудок налетающего экспресса, уже коснувшегося бампером своей жертвы.

Я не очень-то верю в гипотезу спешки и мистику предчувствия конца. Артур Пен вел на редкость размеренную жизнь, и его гибель при попытке отрегулировать персональный компьютер – чистейшая случайность. Глупая случайность. Разумеется, ему, малосведующему в операциях такого рода, вряд ли следовало лезть во включенную схему. Но стоит ли впрыскивать в эту печальную историю порцию мистического тумана, намекая на некую таинственную месть компьютеров за негативное отношение Пена к их далеким потомкам. Это недурственный сюжет для неоготического романа (представьте броский заголовок: „Смерть Артура Пена“), но не предмет серьезных обсуждений. Тем более смешны мелькнувшие кое-где высказывания, дескать, Пен злонамеренно разгласил главную эволюционную тайну киберсистемы, и с ним расправились, как с предателем... Ерунда! Нет ничего ошибочней считать Пена противником развития того, что он называет интеллектроной. Напротив, Артура Пена следовало бы назвать бардом ее великого будущего. Разве не он оказался некогда в числе первых, кому пришла в голову идея рассматривать компьютеры с автономной сенсомоторикой и энергетикой как формы особой жизни, зародившейся на нашей планете и способной эволюционизировать до сверхсложного уровня? Разве не Пен высмеивал всевозможные жесткие правила робототехники, называя их правилами селекции рабов? Но дело не в отдельных примерах – их много, достаточно много, чтобы будущие интеллект-

роны позаботились о достойном памятнике Артуру Пену в галерее своих творцов.

Так что главное, о чем хотел поведать нам Пен, вовсе не связано с какой-то тонкой проповедью человеко-машинного антагонизма. Основная метафора его рассказа-рецензии направлена совсем на иное.

12

Обратите внимание вот на что – заветная идея медиаторного опережения развернута Пеню во всей структуре его произведения. Ведь писатель, ученый, вообще творец – это типичный медиатор. Читатель, желающий развлечься на досуге легким детективным романом, зачастую уверен, что романист выступает лишь пассивным посредником между ним и материалами какого-то уголовного дела. Отнюдь! Автор детектива может, напротив, создать довольно стойкое отвращение к преступлениям. Очень часто автор всего лишь полезный человечек, способный доставить утомленному заботами читателю вечерок необременительных умственных развлечений. Но в большинстве случаев более простой системой оказывается читатель, которого увлекают на весьма неожиданные пути. И, разумеется, чем серьезней литература, тем вероятней эффект увлечения.

Урсул Гоу, реальный или воображаемый посредник, увлекает Таймкипера, Таймкипер – Прозорова, более того, Пен умело делает вид, что кое в чем Прозоров увлекает и его самого... Иными словами, все мы – цепочка взаимоувлечений, все мы друг другу творцы и посредники...

Меня не покидает ощущение, что и я увлечен Артуром Пеню на какой-то особый путь, что его явно превосходящая сложность оказала влияние на мои цели. Уже оказала! Ощущения уведут меня еще дальше – не сотворил ли я сам некоего прёвзошедшего меня посредника?..

Откровенно говоря, принимая заказ на эту рецензию, я замышлял немного поиздеваться над переусложнениями формы, характерными для писателей пеновского типа. И вдруг понял – расхотелось. Как-то не тянет оказаться в положении рептилии, иронизирующей по поводу утонченности приматов.

Но все-таки, при всем своем уважении к идее медиаторного опережения, ловко подставленной автором под лучи читательского внимания, хочу выделить то, что считаю главным достижением Пена. Прогресс достигается ценой нарастающих забот опасностей, ценой нарастающего риска, и нет таких глубин человека, до которых этот прогресс не дотянулся бы. По-моему, именно об этом хотел сказать Артур Пен.

Не столь уж давно риск не выводил нас за границы племенного охотничьего ареала или за угоды земледельческой общины. Постепенно эти границы раздвинулись до имперских масштабов. Теперь мы рискуем в масштабе планетарном и даже космическом, ибо наша цивилизация уже осваивает пространство Солнечной системы, рискуем в масштабе общечеловеческом.

Риск, связанный с попыткой вырваться за рамки собственного вида, очень велик, его попросту не с чем соразмерить в нашей истории, кроме разве что нашего появления на древе земной эволюции. Но есть некая неизбежность в шагах такого рода. Ибо посредник — какой бы распрекрасной вспомогательной техникой он ни казался ныне — из слуги становится конкурентом, и мы, убоявшись своего роста в неизвестность, можем оказаться в положении султана, чья реальная власть ограничена личным гаремом.

Политика освобождения от забот ведет к довольно быстрому освобождению от самой свободы. Вероятно, от соскальзывания в эту яму, глубокую, но замаскированную самыми привлекательными благами, и хочет спасти нас Артур Пен, спасти, угощая отрезвляюще горьким глотком будущего...

Минск, 1984

Памяти Хиросимской трагедии посвящено

ЭФФЕКТ КРАСНОЙ ЧЕРТЫ

*„С чего это глаза у вас, как блюдца...
глаза, как блюдца?“
На мой вопрос ответил мне прохожий:
„То, что я вижу, не объявишь ложью.
Одни сдаются, а другие бьются...“*

Роберт Пенн Уоррен

1

Президент энергично потер переносицу — движение, означающее бросок в глубокие и, скорее всего, государственного масштаба размышления, движение, зафиксированное тысячами камер, известное всему цивилизованному миру. Но в глазах его застыла ни для каких камер не предназначенная тоска, и Стив Шедоу, помощник по вопросам внутренней политики, известный более под кличкой Тень Президента, понял, что поток этой тоски вот-вот хлынет из круглых и несчастных глаз мудрого Бобби, хлынет и затопит кабинет, а пожалуй, и всю столицу.

„Какому идиоту стукнуло в голову назвать его Веселым Старцем, — думал Стив. — Сейчас этот весельчак начнет ныть и стонать, и его нытье на целую неделю испортит мне настроение. Должно быть, я совершил ошибку, подсунув ему это дело перед самыми каникулами. Старец измотался...“

— Я измотался, Стив, — сказал Президент, и тоска долгого рабочего года, всего президентского срока, и, пожалуй, целой семидесятилетней жизни хлынула через стол. — Я измотался до предела. Ты хорошо обо мне думаешь,

Стив, но я не хочу никого видеть. Не хочу никаких срочных дел. Я ценю нашего эвропророка, но не собираюсь его выслушивать. Мне не нужны новости — ни хорошие, ни плохие, потому что я не хочу принимать решений. Мне надоели решения... Он может подождать несколько недель. В конце концов...

Стив Шедоу пожал плечами — известный всей президентской команде знак упорства. Потом медленно достал сигарету и закурил, невозмутимо сглатывая поток язвительных и в общем-то справедливых жалоб. „Он делает мне выговор как всякий нормальный босс своему бездельнику-адъютанту, не сумевшему отшить лишнего посетителя, — думал Стив. — И он прав. И все-таки он даром тратит слова. Ему придется принять этого яйцеголового...“

— Не злись, Боб, — сказал он вслух, чувствуя, что первая волна президентской тоски схлынула и должна навсегда рассеяться в прохладе этого кабинета и в тающих от адской жары контурах столицы за толстыми стенами. — Не злись, Боб, — как можно спокойней повторил он. — Мне очень жаль, но, боюсь, нам придется уделить нашему общему другу несколько минут.

— Но к чему такая спешка? — уже отступая, хоть и не осознавая этого, спросил Президент. — Если Файтер собирается сообщить о том, что через год я проиграю выборы, он влезет в не слишком подходящий момент. Я не могу срывать эти считанные дни отдыха, не хочу глотать перед каникулами еще одну дозу отрицательных эмоций. Ты меня понимаешь, Стив?

— Вполне, — с неподдельной искренностью ответил Шедоу, ибо он действительно понимал необходимость отдыха и для Президента и для его Тени. — Но, по-моему, Файтер имеет в виду что-то другое. Я думаю, его эвроматы выдали нечто чрезвычайное, иначе он не стал бы соваться сюда в такую жару.

— Чрезвычайное? — удивился Президент. — Но я не просил его составлять прогноз на следующие выборы. Пока не просил! Слушай, Стив, мы действительно многим обязаны этому Файтеру — его предыдущий прогноз помог мне сесть в это кресло. Уверенность, которую внушили нам его электронные оракулы, сберегла каждому по несколько лет жизни, сберегла кучу миллионов... Но я расплатился с ним сполна — вместо жалкой лаборатории он имеет великолепный Эвроцентр и может творить все, что ему вздумается. Но ему мало этого, он хочет распоряжаться моим временем...

Шедоу опять пожал плечами.

— Не в этом дело, Боб. По-моему, речь идет не о выборах. Файтер ничего не желает мне объяснять — вот в чем фокус. Но кроме прогноза на выборы, есть еще кое-что серьезное. Например, программа Эвро-II... И мне показалось...

— А почему я должен копать в этой ерунде? — Президент понемногу разогревался, и Шедоу понял, что аудиенция состоится. — Разве Жи-Пай недоволен жизнью в моей команде и не может разобраться в проблемах Файтера?

„Это верно, — думал Шедоу, — я и сам не понимаю, почему Файтер не пошел через помощника по науке. Джон Питер Лонски разобрался бы в деле лучше нас с Бобом, и нам все равно придется прибегать к его консультации. И Файтер может заработать пожизненного врага. Джи-Пай никогда не простит ему попытки идти в обход... Разгадка проста — Файтеру нужно попасть на личный прием, и он правильно рассчитал — сейчас это можно сделать только через меня...”

— Я не думаю, Боб, — сказал он вслух, — не думаю, что Файтер заставит нас вникать в тонкости своих программ, хотя ты знаешь, что Эвро-II отнесена к разработкам стратегического значения. А вдруг утечка информации?

— Но это, черт побери, по ведомству Сэма, — взвинтился Мудрый Бобби, более всего смахивающий сейчас на затюканного шефа мелкой и постоянно прогорающей фирмы. — Объясни мне, Стив, почему ваш президент должен работать за всю свою администрацию, а?

„Если он заговорит еще и в третьем лице множественного числа, если скажет “...нам, президентам, некогда разбираться в мелочах...”, дела Файтера плохи, ему ни за что не добиться положительной реакции на свои предложения, — мелькнуло у Шедоу. — А вправду, чего он там хочет предложить? Или попросить?...”

— Ладно, Стив, я его приму, — с вполне восстановившейся твердостью сказал Президент. — Ровно полчаса, потом меня вызовут по международному каналу. Закажи разговор с Салли, кстати, я узнаю, как она там развлекается. И предупреди Джи-Пая и Сэма, чтобы были на месте, — они могут понадобиться. Ну и, конечно, ознакомительное досье и кофе — немедленно. Через сорок минут можешь вести сюда этого Файтера.

„Потрясающе! — думал Шедоу. — В какую-то минуту он снова стал истинным Мудрым Бобби. Он справедливо занимает свое кресло. Первый актер отечества должен находиться именно здесь...”

— И еще! — с улыбкой выкрикнул Президент в спину уходящему Стиву. — Вызови врачей, потому что я прибую этого Файтера, если он заставил нас нервничать по пустякам. Даю тебе слово, он вылетит отсюда с переломанной челюстью, если станет бубнить о срывах в работе или кланчить дотацию в паршивые полмиллиона...

Вслед Стиву Шедоу выкрикивал фразы уже не Мудрый Бобби, а Веселый Старец, который и вправду был некогда приличным боксером и даже хотел уйти в профессионалы. В те добрые варварские времена, когда удар в голову не карался годичной дисквалификацией и пятитысячным штрафом, когда сокрушенные мозгохранилища вызывали восторженный рев миллионных зрительских аудиторий...

Все нормально, думал Стив Шедоу, располагаясь в своем кабинете, все в порядке, и через пару дней мы разбежимся на каникулы. И меня не найдет ни Боб, ни Файтер со своими высокоумными проблемами. Чудно! Я испарюсь из этой жаровни и проведу славную августовскую недельку с Мэри. Какая девочка, и какое прозаическое имя...

А потом – ритуал... Да, потом придется всплыть на поверхность и публично играть роль счастливого отца семейства на кратком и заслуженном отдыхе, откуда его, государственно-незаменимого, в любой момент могут отозвать. Ну и ладно, пусть отзывают, но никто и никакими средствами не вытащит меня из моей недели с Мэри – из укромного уголка, выпавшего в наши ладони, как рождественский подарок среди лета. Неделя юности, прыжок над пропастью шириной в двадцать лет. Становлюсь поэтом...

Итак, несколько минут на все эти поручения. Наука и разведка будут сидеть в засаде. Так! Фэнни уже готовит отличный кофе и сейчас понесет его Бобу. И еще – досье...

Так! И еще – разговор на 14.30.. Не поймает Боб свою внучку, она и без его наставлений прекрасно проведет время в Неаполе. Но ему зачтется – весь мир получит повод еще раз осознать, что Бобби прекрасный дед.

Чего, собственно, хочет Файтер от прекрасного деда? Знать бы... если утечка по Эвро-II, это паршиво. Боб вполне может засадить меня здесь на несколько дней для контроля действий Сэма. А Сэм проконтролируешь – держи карман шире! Сэм ударится в страшную панику. Похоже, Эвро-II – страшная штука. Когда выяснилось, что шимпанзе, родившаяся после генетической операции по десятой программе, фактически выучилась говорить за три месяца, волосы дыбом встали...

После отпуска плюну на все и почитаю материалы по эвроматам. Черт поberi Файтера с его открытием! Простенький аттракцион с оракулом для президентских выборов, и на тебе – искусственное усиление интеллекта.

Вот так! Живешь себе, мечтаешь, урываешь неделю для крошки Мэри, покупаешь новый автомобиль, стремишься на Лазурный берег, а рядом какой-то яйцеголовый с вызывающе-рекламной фамилией в принципе меняет ход истории. Одиннадцатая программа – это уже эксперимент на человеке, и глядь – вокруг тебя бегают миллион умников-сверхумников, этих самых суперсапов, или как там их хочет назвать Файтер. Появятся они, и тебе – отставка, не из этой дохлой администрации, а вообще – из жизни. Ты – представитель вида, сходящего на нет, место тебе – в питомнике для хомо сапиенс, а суперсапиенсы будут заботиться о твоём экологическом равновесии...

Похоже, Боб зря отпустил все тормоза по эвропрограммам. Машины, проектирующие термоядерный реактор или межзвездный корабль, – одно дело. Пусть они умней нас в этих хитрых расчетах и чертежах, умней так умней! Но допускать, чтобы они составляли программу нашей соб-

ственной реконструкции, — это уж слишком. Они ж не спеша спроектируют себе новых хозяев...

И если всплывет, что мы начали одиннадцатую программу вопреки всем договорам и переговорам, будет плохо, произойдет адский взрыв, и Бобу светит не новый президентский срок, а миллион проклятий. И мне с милой Мэри, и этому Файтеру с его гениальностью, с его сумасшедшими результатами и всеми возможными премиями...

Простой человек скажет — я и так не понимаю своих детей, а теперь вы предлагаете, чтобы детки держали меня за домашнюю обезьяну... Плевать он хотел, простой человек, на процентное смещение генетических структур, он просто не пожелает лишаться титула. Ему столько-то тысяч лет вбивали в голову, что он — царь природы, носитель особой божественной благодати, а тут какая-то машина с названием, как из паркового аттракциона, бац-бац и начинает улучшать наш жалкий умишко...

С ума сойти, с обычного, никем не улучшенного ума... И вот вопрос — почему не сходят с ума все эти Файтеры? Куда их несет? А может, они давно уже того, и теперь тянут нас за собой?

Нет, меня никто никуда не утянет. По крайней мере, на эту неделю имени Мэри — никто и никуда. А там поглядим.

Надо внушить Бобу, чтоб он хорошенько подумал по поводу Эвро-II. Ведь и его же Салли в свои семнадцать лет будет казаться дура-дури рядом с конвейерными вундеркиндами. И ее детки — тоже, а они-то совсем не за горами, и я не удивлюсь, если в них окажется половина натуральной итальянской крови...

До чего же все надоело! Пусть этот Файтер сотворит хоть нового Будду, пусть Салли привезет сюда хоть тройню очаровательных итальяшечек...

Осталось четверть часа, и минут десять я вполне могу отдохнуть. Запрусь и включу фантомат, и гори все огнем. И целых десять минут буду валяться на пляже, на целую вечность ускользну с этой правительственной сковородки...

3

Внезапно Стив Шедоу увидел, а скорее, почувствовал огромную волну, угрожающе надвинувшуюся на него из глубины экрана, точнее — океана, на берегу которого он нежился в шезлонге рядом с очаровательной Мэри. Волна затопила сознание, смысла пляж, шезлонги и тихую музыку, несущуюся издали, куда-то унесла Мэри, и только ощущение ее ладонки сохранялось и связывало разорванные концы жизни, связывало кабинет с мерцающим в полстены экраном объемного изображения и ту, иную, пляжную, невообразимо растянувшуюся в нелепо сгнувшую минуту.

С экрана как-то невесело усмехался Президент.

— Стив, дружище, я выгоню тебя ко всем чертям. Я против наркомании вообще, а у близких мне людей — в особенности...

Шедоу побледнел и внутренне съежился. В сорок трудно чувствовать себя нашкодившим школьником, в сорок обычно лишься, когда тебя застают по уши погруженным в фантапрограмму, да еще в служебное время. Тем более Президент считался ярым противником этой игрушки. „Зрителю место по эту сторону экрана“, – любил говорить он в не столь уж давнюю пору, когда несколько могучих лидеров индустрии развлечений обрушили на фантаматы жуткие финансовые и контррекламные топоры. Казалось, зрителю больше не суждено стягивать голову фантахупом – заманчивый серебристый обруч проклиналсЯ с церковных амвонов и со страниц ежедневных газет. Кричали врачи и полицейские, политики и психологи. Надрывно кричали, однако приходили домой, запирались и тут же ныряли в программу, перекраивая по своему усмотрению скелетный сценарий и все глубже погружаясь в абсолютно правдоподобное инобытие. Родители с трудом отрывали своих ребятишек от магического обруча, но чаще всего, чтобы занять их место...

Короче говоря, кампания по запрету фантаматов послужила уникальной рекламой, и вот теперь фирма „Фанта-XXI“ собиралась внести чуть ли не стомиллионный вклад на перевыборы Мудрого Бобби. Поэтому Шедоу твердо знал, что в данном случае Президент покрехтит и не успеет даже рассердиться...

– Извини, Стив, – продолжил Президент, – мне просто завидно стало. Между нами говоря, я тоже хотел минут пять побарахтаться в Адриатике или полетать над Андами. Ты же знаешь, меня здорово успокаивают полеты над горами...

– Тебе что-то помешало? – с трудом сдерживая раздражение, выдавил Шедоу.

– Просто на линии напутали и дали Салли сразу. Она оказалась у себя в номере, но отключила видеоканал. И при этом клялась, что ни на минуту не забывает деда...

„А ты полагал, что она станет демонстрировать тебе содержимое своей постели? – не без злорадства подумал Шедоу. – Ты среди ночи отрываешь ее от весьма приятных дел и рассчитываешь на благодарность?“

– У тебя все на лице написано, Стив, – вздохнул Президент. – Может, ты и прав, и я – занудливый старикашка, собирающийся чужими радостями и всем мешающий, но дело в ином, Стив. Дело гораздо хуже, чем ты думаешь.

Шедоу сделал озабоченный вид.

– У Салли что-нибудь стряслось?

– Нет, Стив, у нее все в порядке, – еще сумрачней вздохнул Президент.

– У девочки сплошная неаполитанская лазурь, у нас что-то не то... Ты успел просмотреть досье Файтера?

– Нет. Но я помню его почти наизусть.

„Непростительная ошибка – размягчиться и вообразить себя на каникулах, находясь в двух шагах от этой старой зануды, – ругнул себя Шедоу. –

Чего он хочет? Ну, взглянул, вспомнил имена жены и детей, чтобы поразить парой отечески точных вопросов, не освежил, к примеру послужной список этого Файтера... Что еще?"

— Ты помнишь, это верно, — сказал Президент теперь уже без намека на улыбку. — Но ты помнишь, все, кроме двух последних и только что впечатанных фраз. Во-первых, Файтер снял с банковских счетов все свои средства — более полутора ста тысяч. Во-вторых, его семья отбыла в неизвестном направлении. Они заказали билеты на Рио, но в этом самолете не появлялись...

— Неужели похищение?

— Не думаю, Стив. Деньги он снял раньше, до исчезновения семьи, и с тех пор прошло дня три. Он заявил бы в полицию, причем здесь президент... Я думаю, это спланированное бегство, Стив, и мне оно страшно не нравится. Готов держать пари, нас ждут неприятные события. И из-за расторопности телефонной станции мы не сможем вовремя прервать его визит...

„Смешно, — подумал Шедоу. — Иногда он ведет себя, как маленький. Впадает в детство, что ли? С каких пор Президент не может в любой момент прервать аудиенцию?"

— Не бойся, Боб, — сказал он, бодро улыбаясь, — сам Файтер настаивал, чтобы встреча длилась не более получаса. Он обещал рассказать нам о причине такого условия...

— Это мне тоже не очень нравится. А как тебе новости из досье?

— И впрямь темная история, — еще бодрей улыбнулся Шедоу. — Но стоит ли переживать заранее? Сейчас мы узнаем все его тайны. Звать?

— Давай, — четко сказал Президент, снова превращаясь в абсолютно уравновешенного Мудрого Бобби. — Жду вас через три минуты.

4.

Президент, Файтер и Шедоу удобно расположились за круглым столиком, и Стив подумал, что профессора Файтера трудно отнести к стандарту яйцеголовых — эффектная седоватая шевелюра делала его похожим на вольного стрелка из мира искусств и уж в наименьшей степени на руководителя сверхсекретного Эвроцентра, ларца с закодированным будущим нашей цивилизации.

Президент с подчеркнутым интересом стал расспрашивать о самочувствии Сюэзен и трех сыновей Файтера. И тут последовало нечто неожиданное.

— Вы со Стивом, разумеется, изучили мое досье, — без всякой подготовки выпалил Файтер. — Разумеется, вы знаете, что моя семья бежала в неизвестном направлении, прихватив все мои запасы. Я хочу поставить точки над i. Они бежали по моему плану, и для начала денег им вполне хватит. Из того, что я сообщу далее, вы поймете смысл такого решения. У нас крайне мало времени — через двадцать семь минут я должен выйти отсюда, иначе дела пойдут не самым разумным образом...

— Какие дела, Джимми? — с обезоруживающей улыбкой спросил Президент, чистейшее олицетворение Веселого Старца. — Никак вы попались в цепкие щупальцы отечественного бизнеса? Или примкнули к мафии?

Файтер хмыкнул и сделался каменно-серьезным.

— Не шутите, Бобби, — жестко сказал он. — Сейчас всем нам не до шуток. Дело вот в чём: Совсем недавно я завершил прогонку программ Эвро-5. Перспективы войны, и все такое, вы, должно быть, помните. Я здорово переработал и уточнил программу, и суть результата такова. Необходимо немедленно распорядиться о прекращении производства новых ядерных ракет. Еще пять процентов прироста, Боб, и все летит к чертям: Всего несколько тысяч условных единиц ядерного оружия? Эвромат дает очень ясную картину — пятипроцентный прирост ядерных боеголовок с обеих сторон ведет к полной потере стабильности. Как говорится, ружье выстрелит само, и никто этого не предотвратит. Новые партии боеголовок выводят эвромат на красную черту, за которой неизбежно применение, массовое применение ядерных зарядов и крах. Почти стопроцентная утрата населения, необратимое поражение почвы, водоемов и атмосферы, и так далее... В этом портфеле первый экземпляр подробного доклада об этой работе.

Президент глубоко вздохнул и сочувственно посмотрел Файтеру прямо в глаза. И Шедоу легко расшифровал этот взгляд — жаль мне тебя, ученый шизик, вот и ты съехал на моральной ответственности и грезящихся ядерных грибах, и ты впал в оппенгеймеров комплекс...

— Я обещаю, вам, Джимми, заняться вашим докладом, — торжественно и с заметной грустинкой произнес Президент. — Я обязательно займусь им после отдыха, сейчас я ужасно устал. Но при одном условии — вы открываете мне место, куда спрятали свою очаровательную Сьюзен и ребятишек от кошмаров напрогноченной вами войны. У меня ведь тоже дети и внуки, и хотелось бы понадежней их упрятать...

Президент улыбнулся — последнее предложение дружеского тона. Улыбнулся и метнул взгляд на Шедоу — каков я, а! какова выдержка!

— Я открыл бы вам, Боб, но не могу, — не принял предложения Файтер, — не могу, потому что я не прячу семью от войны. Негде, уверяю вас, негде! Эвромат говорит, что спрятаться негде, и я ему верю, не могу не верить. Я спрятал семью, чтобы развязать себе руки всего на один день. Завтра к полудню вы должны передать этот доклад, Бобби. В течение одного дня вы должны обнародовать его на проверку компетентной сенатской комиссии, а главное — отдать приказ о немедленной остановке производства ракет и, возможно, о резком сокращении имеющихся... Надо подалее отступить от красной черты.

„Он поехал всерьез, — решил Шедоу. — Теперь он войдет в историю как самый нахальный и ученый из всех шантажистов...“

— Это очень серьезно, Бобби, — продолжал Файтер. — Эвромату я верю, как самому себе, да и вы верите в эти машины. Положение более чем опасно. По прогнозу Эвро-5 красная черта может быть достигнута в счи-

танные месяцы. И тогда цивилизация станет неуправляемой и рванется к самоубийству. Можете засадить меня в сумасшедший дом, можете приковать к электрическому стулу, но немедленно наложите вето на новые заряды. Свяжитесь с Москвой, с Парижем, с Пекином... Я уверен — это поймут все. Пусть приезжают в мой Эвроцентр и проверяют. Месяц, год, десять лет... Если я ошибся, пусть меня повесят или четвертуют. Но пока мой доклад не опровергнут, нельзя вывозить за заводские ворота ни одного ядерного снаряда. Иначе — конец!

Президент снова вздохнул. По-своему он очень ценил Файтера, в каком-то смысле преклонялся перед ним — в этом Шедоу был вполне уверен. Президент вздохнул о невосполнимой потере — на глазах ускользал от него умный и полезный человек, превращаясь в опасное — своими же достоинствами опасное! — чудовище, чудовище, с которым придется долго и упорно бороться, ибо что-долгосрочней и расточительней борьбы с человеком, одержимым манией всего общего блага!

— Вы толкаете меня бог знает куда, Джимми, — явно раздражаясь, сказал Президент. — Вы что, всерьез полагаете, что военно-промышленный комплекс можно остановить просто так — взмахом президентской руки? Что я объясню предпринимателям и рабочим? Чем откуплюсь от военного министерства, разместившего заказы на сотни, если не на тысячи новых ядерных единиц? Комплекс раздавит меня, как козявку, пытающуюся грудью затормозить курьерский состав. Это вам понятно или нет?

— Я прекрасно знаю, что разогнавшийся комплекс нельзя остановить мгновенно, но надо дать ему иную ориентацию, надо увести наш курьерский состав на другой путь. В рамках той же Эвро-5 разыгран ряд вариантов. В сущности, весь военный бюджет может быть поглощен мирными проектами. Отщепив одну только ядерную часть бюджета, можно создать пару космических городов и построить телескопы с космической базой для поиска контактных цивилизаций. Можно решить проблему голода..

— Джимми, вы всерьез взялись дурить мне голову, да? — резко перебил Файтера Президент. Вскочив с кресла, он крупными шагами стал мерять огромный кабинет. — Вы что, в игрушки пришли сюда играть, что ли? Я — реальный политик, а вы, Джимми, вдруг решили сыграть роль великого мечтателя. Ах-ах! Перекуем мечи на орала! Перекуем, и плевать, каким станет мир через несколько лет — желтым, красным или зеленым... Вы поймите простую вещь, Джимми, благотворительность и воздушные замки никого не доводили до добра. А роль ваша вызовет симпатию лишь у толпы горлопанов, но вам никогда не заплодирует человек реального дела! Вы вполне могли бы возглавить очередную демонстрацию фрондирующих щенков с размазанными тряпками, однако из-за их воплей не была сломана ни одна ракета — вот в чем дело. Ни одна!

„Пленка с этой речью стояла бы ему гарантированного провала на следующих выборах, — подумал Шедоу. — Не похоже, чтобы этот Файтер вмонтировал в свой костюм записывающее устройство, но от человека, решившегося на шантаж правительства, можно всего ожидать, да, всего...“

Президент теперь уже молча мерял шагами кабинет, руки он вульгарно — не для телекамер! — держал в карманах брюк, и в голове его пронеслись вовсе не нравоучительные мысли:

„Файтер подсовывает мне страшную бомбу. Если я пошлю его к черту, он найдет способ передать материал конкурентам, раззвонит обо всем в прессе. Если я опубликую этот материал от имени своей администрации, ракетно-ядерные короли в два счета свернут мне шею. Зашатается биржа. Акции сотен и даже тысяч предприятий, связанных с войной, полетят вниз, а из ворот хлынут новые толпы безработных, и никто из этих людей — от члена совета директоров до последнего уборщика — не захочет отдать за меня свой голос. Приказ, которого требует этот тип, приведет к молниеносной дестабилизации всей экономики. Кто клюнет на шутовские обещания разместить заказы на монтаж орбитальных городов? Кому нужны эти поселения в вакууме, висящие на миллиардных потоках, хлещущих из карманов налогоплательщиков? Похоже, этот парень загоняет меня в угол...“

И тут Шедоу решил немного разрядить ситуацию. Пора, иначе не миновать последующей грозы, и вместо сладкой недели с Мэри выйдет что-нибудь жуткое и невероятно нервотрепное...

— Слушайте, мистер Файтер, — сказал он самым нейтральным тоном. — Лично я верю в истинность ваших слов, но хочу, чтобы вы правильно поняли реакцию моего шефа. Я расскажу вам быль. Совсем недавно к Бобу пробрался один сумасшедший мультимиллионер. Не буду называть его — вы либо догадались, либо вскоре догадаетесь, о ком речь... Так вот, указанный столп общества сбрендил на летающих тарелках — этих самых НЛО. Ему чудились контакты третьего рода — якобы пришельцы приходят к нему целой делегацией и предлагают вступить в контакт с землянами, причем непременно через одну из его фирм. Здорово, а?

Шедоу глотнул апельсинового сока и с удовольствием убедился, что Президент прислушивается к его словам и носится все медленней.

— Но дело не в этом, — продолжал он. — На тарелках свихиваются уже много десятилетий — ничего оригинального. Не оригинально и то, что в нормальном состоянии парень понимал, что тарелки с пришельцами ему просто мерещатся. Но несмотря на это, придумал он воистину блестящий ход. Он проник к Бобу и предложил — давайте я публично сообщу, что моим голосом с Землей говорят инопланетяне, и они, эти зеленолицые, велют нам немедленно и полностью разоружаться. Я, заявил этот псих, построю за свой счет действующую модель летающей тарелки, организую абсолютно правдоподобные видеозаписи, если понадобится, заставлю летать над всеми континентами целую эскадру тарелок... А вы, мистер Президент, сделайте только вид — только сделайте вид! — что имеете какие-то секретные подтверждения моих слов. Москва увидит, что мы разоружаемся и прислушается, все прислушаются, испугавшись пришельцев. И мы с вами, мистер Президент, прославимся в веках как величайшие миротворцы — вот что он заявил!

Файтер усмехнулся и пригубил остывший кофе.

— Вы специально рассказали мне эту байку, мистер Шедоу, не так ли? — спросил он и взглянул на часы. — Вы хотите, чтобы я доказал, что я не сумасшедший миллионер?

— Ну что вы, что вы! — отпаривал Шедоу. — Разумеется, вы не сумасшедший миллионер, вы — ни то, ни другое. У вас, Файтер, нет миллионов, ни шизофрении, зато у вас есть типично технократическая убежденность, что мы тут дурака валяем и не можем решить детскую задачку о разоружении... И вы, милостиво оторвавшись от возни с вашими покладистыми эвроматами, демонстрируете нам, как можно решить эту задачку за одни сутки. Вы умны и не предлагаете разыграть примитивный международный блеф. Вы не пытаетесь изобразить себя рупором господ бога или инопланетян, нет! Вы ходите с главного козыря нашего времени — с изобретенного вами эвромата. Пусть вещает беспристрастная машина, пусть те, кто равнодушно вслушивается в человеческие вопли, кого не убеждают тени на хиросимском мосту Айои, пусть они падут ниц перед рожденным мною интеллекторным божеством — вот на что вы рассчитываете! Пусть они, эти властолюбцы, испугаются красной черты, за которой власть и акции, и все такое — прах. Но ваш эвромат не способен моделировать таких, как Боб, такие удержат мир от взрыва, даже вдвое увеличив ядерный потенциал...

— Кончай декламировать, Стив, — очень тихо произнес Президент. — Беда в том, что я вполне верю выводам Файтера. Я думаю, что он разыгрывал модель, где все президенты имели стальные нервы, а на самом деле эти белые жгутики отнюдь не их стали... Я хотел бы сказать о другом. Мы попали в ловушку, ребята. Если я выполню пожелания Файтера, меня раздавят страшные колебания экономики. Беда — в сроках. Экономика восстановится и будет с энтузиазмом пускать миллиарды на монтаж вашего супертелескопа, Джимми, или на другую сомнительную штукину. Со временем обывателю внушат, что все это совершенно необходимо для его, обывателя, светлого будущего, не менее необходимо, чем лазерный зонтик над свободным миром или боееспособная эскадра вблизи Персидского залива. Мы умеем внушать! Фил Уондеринг называет это управляемым суггестивным полем, кажется так, Стив?

— Да, так, — обижено буркнул Шедоу, закуривая новую сигарету, — и Файтер, по терминологии Фила, представляет собой мощнейший суггестивный лазер — он потрясающе быстро внушает свою правоту...

— Ладно, Стив, — перебил Президент, устраиваясь за столиком. — Дело не в том, кто из нас лазер, а кто — керосиновый фонарь у дверей забытого богом салуна. Мы все понемногу пытаемся высветить будущее, а Джиму оно болит — сейчас у него острый приступ боли не в области сердца, а в области будущего. У Джима отличные сыновья, и они болят ему, его парни... Но весь фокус во времени, джентльмены, в нашем настоящем времени, которого всегда мало. Если я заварю эту кашу, управление национальным суггестивным полем выпадет на долю других. Меня сметут. Никто не ста-

нет голосовать за кандидата, попытавшегося разоружить страну, сокрушившего биржу и лишившего работы столько-то миллионов человек. Разберутся потом. А сейчас, через десять месяцев, меня затопчут и смешают с дерьмом. И мои конкуренты станцуют на мне танец вождей-победителей. И в угоду обывателям, они назло мне и Файтеру, финансируют заказ на несколько тысяч ядерных боеголовок. Мы не позволим, чтобы нами командовала машина, запрограммированная красным профессором и его не менее красным дружком-президентом, — так они будут вопить среди тысячных толп на предвыборных митингах. Мы не позволим ослаблять нашу мощь перед лицом красной, желтой, зеленой и прочих опасностей! В этом весь фокус, Джимми, — желая принести миру подлинное разоружение, вы устроите новый виток в гонке ядерных и лучевых вооружений. И тогда — права ваша Эвро-5 или нет — мы и вправду можем взлететь на воздух...

„Отличный ход, — подумал Шедоу, — все-таки Боб настоящий боец. Он ударил по самой больной точке. Эти высоколобые никогда не способны посмотреть на мир с точки зрения простого человека, для которого играют роль всякие символы, вроде патриотизма, величия человеческого разума и стабильной зарплат. Молодец, Бобби...“

— Мы попали в ловушку, дружище Файтер, — продолжал Президент. — Но я знаю разумный выход. Мы создадим сверхсекретную комиссию под руководством Джи-Пай. Мы не пожалеем средств — дополнительно бросим в Эвроцентр любые субсидии. Мы всесторонне проверим вашу модель и предельно ее обобщим. И если через десять месяцев все пройдет благополучно, я обещаю вам, могу поклясться на президентской библии, что гипотеза Файтера станет первейшим делом моей администрации. У меня будет несколько лет, чтобы пустить ядерно-ракетные работы по иному руслу. Я добьюсь поддержки электронных концернов, сниму запрет на массовый монтаж эвросистем и пообещаю стомиллиардные заказы... Мы начнем строить орбитальные города и обшаривать всю Галактику в поисках контакта. Наконец, мы бросим огромные средства в ваше любимое детище — программу Эвро-II!

„Было бы забавно сказать сейчас: Боб, кончай декламацию! — подумал Шедоу. — Ты молодчина, Старец, но, кажется, ты переигрываешь...“

Файтер встал.

— Извините, джентльмены, если я не выйду отсюда через пять минут, другие экземпляры моих материалов будут пущены в ход моими друзьями. То же самое произойдет и в том случае, если завтра в полдень наш Президент не выступит по всем доступным телеканалам с экстренным сообщением о результатах Эвро-5. По-моему, вы еще не проснулись, господа. Подумайте, прошу вас... И не о том, что будет после следующих выборов, а о том, что на восстановление нашей совершенной демократии может уйти миллион лет.

Президент и Шедоу тоже встали.

„Еще немного, — подумал Стив, — и Старец сломает ему челюсть...“

– Вот что, Файтер, – сухо и очень четко начал Президент. – У вас нет выхода. Куда вы сунетесь? Отдадите материалы моим будущим конкурентам? Но ни один серьезный кандидат в президенты не стремится к политическому самоубийству. Он наобещает вам с три короба и тут же запрет ваш доклад в особо охраняемый сейф. Вы обратитесь к прессе? Ну и что? Это воспримут как очередную утку. Более того, все серьезные газеты и другие солидные источники мы можем легко перекрыть. Эвробомбы – национальный секрет, вы не можете швыряться ими направо и налево. И еще – если вы рассчитываете передать свой доклад за рубеж, будьте осторожны. Вас обвинят в государственной измене. Но главное вот в чем – красные вам не поверят. Я не думаю, что у них есть готовые программы для проверки ваших гипотез. Они решат, что наша разведка проводит хитрую глобальную провокацию, пытаясь ослабить их блок. И мы можем очень легко внушить им, что так и есть, что старина Боб хочет затормозить рост их ядерного потенциала... Вы в ловушке, Файтер, вы сами попались в свой капкан.

Файтер снова усмехнулся.

„Странная у него ухмылка, – подумал Шедоу, – и ухмылкой своей он мало смахивает на стандартного яйцеголового. Он очень опасен...”

– Всего лучшего, джентльмены, – бросил Файтер и направился к двери.

Дверь мягко захлопнулась, и Шедоу преданно взглянул Президенту в глаза:

– Ты был великолепен, Бобби. Я никогда не видел такого шоу. Ты размазал его по рингу.

– Брось свою утешительную болтовню, Стив! – вдруг взорвался Президент. – Это очень серьезно! Он размазал меня по рингу. Он! Быстро мчись к Сэму. Надежный колпак – немедленно! Перещупать всех друзей и всю родню. Найти каналы утечки. Всех, кто будет контактировать с Файтером, – на проверку. Этот экземпляр срочно отдать Джи-Пай, к восьми вечера пусть явится с подробнейшим докладом. А главное – уговори Фила Уондеринга, пусть он тоже будет на вечернем совещании, используй любой из моих самолетов. И, разумеется, Сэм должен прибыть с полным досье на Файтера и его ближайшее окружение. И пусть попытается найти семью Файтера – сверхсрочное задание всей агентуре. И оставь меня в покое до восьми вечера...

Стивен Шедоу пулей вылетел из кабинета. „Старец все-таки силен, – думал он, садясь в машину, – залюбуешься его четкостью. Как он держит удары, как он держит удары...”

5

Бред какой-то, думал Президент, а главное – разве я верю тому, что говорю? Я действительно боюсь за следующие выборы – вот реальный факт. И еще – устал, смертельно устал от десятка разных ролей, которые приходится играть в течение дня. Президентский кабинет – это театр одного

актера, измотанного актришки, который хотел бы сыграть единственную роль обычного человека, но — не дают. Самая банальная роль попросту недоступна...

Фил Уондеринг называет это эффектом социального усилителя. На высших этажах иерархии, говорит он, человек превращается в особый элемент социальной структуры, теряет психологическую индивидуальность, начинает жить как воплощенный квант того суггестивного поля, которое сам же создает ради влияния на массы и которое всеми силами вынужден поддерживать. Человек превращается в тот образ, который он и его команда внушают окружающим. То есть вроде бы он и не совсем человек, и мерки его действий совсем иные.

Глава государства — концентрат создающей его среды, бессмысленно, чтобы он лично отвечал за все свои приказы. Нельзя возлагать чисто человеческую ответственность на того, кому назначили сверхчеловеческую роль. Это приятно звучит, Фил, это ласкает слух владыки... Тебя ненавидит бунтующая молодежь, но ты — пастырь президентов, тебе поклоняются высшие администраторы, ведь ты впервые попытался популярно объяснить всем нам, почему политик и дерьмо не синонимы.

Шекспир не понял трагедии королей. Под его коронами прятались обычные людишки с их повседневными страстями, сильными, но не отличающимися от страстей владельца бакалейной лавки. Королей понял Фил Уондеринг, и вот смех — его поначалу объявили красным, а после выхода книжки с исследованием мирового ислама — зеленым... Страсть к развешиванию бирочек когда-нибудь погубит нас. А каков он на самом деле, этот Фил Первый, патриарх свободного мира? Если он и вправду левый, то куда же мы идем?

И что он мне теперь посоветует? Файтера он знает неплохо. В области прогностики Файтер учился именно у Уондеринга. Способный ученичок, чьи работы приводят в бешенство великого учителя...

Или бросить эти подмости, навсегда бросить? Бросить и уехать подальше. И сесть за мемуары, делая вид, что они кому-то пригодятся... А лучше всего — по уши наладомиться фантапрограммами, хоть последние годы провести в свое удовольствие. Сто жизней по выбору, и растворишь свою, должно быть, не лучшую, во всяком случае чуждую той, которую удавалось вести в возрасте Стива.

Да, тридцать лет назад... Доброе старое время восьмидесятых... Каким забавным мальчишкой рос Джек. Сейчас ты, сынок, был бы сверстником Стива, и твоя проказница Салли отключила бы свой видеофон, разговаривая с тобой из далекой неаполитанской гостиницы.

Черт бы побрал, Салли, твоего лохматого итальяшку, чье сопение явно доносил чуткий аппарат, твоего мерзкого дружка, из-за которого я не смог увидеть твое лицо, а значит, и лицо юного Джека.

Черт бы побрал ту нелепую заварушку, где патриотическим факелом врзался в азиатский пригород твой самолет, Джежки. И этот факел через каких-то десять лет принес мне уйму голосов — все-таки отец героя и ярый противник локальных войн...

Фил чего-то недопонимает. Все его умные объяснения не мешают мне разрываться на куски. И я разорвусь по-настоящему, если немедленно не включу фантасон. Часа три в моем распоряжении, и, может, это последние спокойные часы в моей жизни, провалился этот Файтер в ядерную преисподнюю.

Что бы мы тут ни решали, самое страшное – его правота. Самое страшное, если мы доигрались, доигрались в равновесие, полагая, что это одно и то же равновесие – при паре неповоротливых хиросимских „Малышей“ и при десятках тысяч мобильных самонаводящихся боеголовок с каждой стороны... Господи, спаси всех нас, и пусть, проснувшись, я пойму, что все это было лишь самым дурным из дурных снов, было лишь случайным сбоем в длинной фантапрограмме. И пусть мне снова откроется путь на ринг, откроется все забытое, все, что нужно вспомнить, чтобы выдержать отпущенные мне новые раунды...

6

Джим Файтер опустил голову на руль. Все. Он сделал свой ход и все-таки жив, забавно, но это так – он жив и находится в собственном гараже, и сейчас он попадет в свой дом, ненадежную свою крепость.

Я вполне допускаю, думал Файтер, что входная дверь коттеджа уже не заперта, а лишь притворена, и в холле в одном из кресел-раковин, которые так заботливо расставляла Сьюзи, сидит молодой человек с волевым лицом, надежный парень из конторы Сэма. Или двое парней – для пущей уверенности. Разве это невероятно? Разве не такие же парни неотступно преследовали мою машину последние полчаса? Висели на хвосте, или как там у них это называется...

Все-таки быстро и четко работает их аппарат. Должно быть, сейчас уже приведены в готовность агенты в самых разных уголках Земли. Объявлен глобальный поиск некой дамы с тремя мальчиками, потенциальной вдовы Файтера, через которую ее преступный муж, вероятно, пытается вступить в связь с врагом, подорвать престиж своей родины, а главное – позиции Веселого Старца на очередных выборах.

Парни встанут, думал Файтер, встанут и, пожалуй, поприветствуют меня вежливыми улыбками. И все произойдет самым простым и спокойным образом. Не будет ни испанских сапог, ни дыбы, ни даже электрических разрядов в деликатные места. Будет мгновенная маска с лопающейся ампулой надежнейшего Труза-97. И из меня хлынет поток чистой реальности, не замороженной никакими выдумками. Практически стопроцентная атрофия воображения. И, говорят, в этом идиотском состоянии источника чистой правды приходится пребывать две или три недели. Разумеется, в особом изоляторе ведомства Сэма, ибо источник чистой правды подчас опасней бешеной собаки. А три инъекции с двухнедельными интервалами дают стабильный эффект, человек навсегда становится непереносимым

в словах и поступках — называет вещи своими именами и действует соответственно. И его свидетельствуют как бедняцкого постояльца психушки...

Но вряд ли Бобби и его команда решатся на такое. Они не скандала испугаются, нет. Конечно, Файтер — фигура, это не какой-нибудь лидер местного цветного профсоюза, решат они, но в такой игре, при ставках такого масштаба, фигур абсолютной ценности быть не может... дело в ином. Они испугаются того, что этот подонок Файтер, несомненно, знающий о Трузе-97, и о методах принудительного включения в фантамат, и о многом другом, предусмотрел кое-что необычное. Не мог не предусмотреть, если решился на схватку с Мудрым Бобби и его окружением...

Они испугаются не меня, думал Файтер, а своих представлений обо мне. Они будут проигрывать десятки вариантов, приписывать мне связь с иностранными разведками и местными террористическими группами. Отчего они уверены, что в моем коттедже их парни не столкнутся с засадой и не поднимется страшный шум? И если у этих парней публично отберут труз-маску, Бобу не сдобровать — запрещенные методы, и все такое...

Они тоже не дураки, думал Файтер, пожалуй, они даже слишком умны для успешной борьбы с такими, как я. Они и не подозревают, насколько я беззащитен и примитивен в своих приемах, и в этом моя истинная сила. А сейчас надо пойти наверх, запереться — хотя это и бессмысленно — и использовать совсем иную ампулу. И они, если надумают ворваться ко мне, получат превосходный подарок...

7

Совещание шло к концу. Говорить было вроде бы не о чем. Ситуацию периодически резюмировал Джи-Пай, который носился из угла в угол по кабинету и через каждую четверть часа восклицал:

— У нас нет модели этого Файтера, вот в чем беда...

— Это казалась истинной правдой, противной до зубной боли, но именно правдой. Никто не мог нащупать реальный путь к скандалу, грозящему со стороны Файтера. Все пути перекрыты, любой вопль создателя эвроматов можно трансформировать в бред сумасшедшего, в проявление ущемленного самолюбия или технократической ограниченности, наконец в подстрекательство иноземной разведки — в общем, в нечто грязноватое и дурно пахнущее.

„Сэм неплохо поработал, взял этого Файтера в настоящее кольцо, — думал Президент, безуспешно борясь с волнообразными приступами головной боли. — Но его работа подчеркивает наше бессилие и скудоумие. Файтер оригинален — этого у него не отнимешь. Похоже, он загнал нас в тупик. А Фил, эта древняя рухлядь, молчит, и впечатление таково, что плевать он хотел на наши беды... И Стив совсем скис, кажется, он уже не прочь выкинуть белый флаг... Если Джи-Пай сию минуту не спрячется в своем крес-

ле, я дам ему хорошего пинка, еще пару минут такого мельтешенья, и голова моя лопнет, как вакуумная хлопушка...”

— Слушайте, Лонски, не можете ли вы присесть и дать покой нашим глазам? — грозно зарычал Сэм, словно угадывая важнейшую часть мыслей Президента. — А после вашей мягкой посадки я хотел бы услышать мнение мистера Уондеринга, возможно, он знает Файтера с неизвестной нам стороны.

Джи-Пай тут же остановился перед креслом Сэма и раздраженно заголосил:

— Мы живем в свободной стране, и я волен делать что угодно. Я не на допросе в вашем департаменте, Сэм, и вы пока не осуществили мою посадку, мягкую или жесткую. Я имею право бегать по кабинету или лежать на ковре, я имею право вообще уйти, если кому-то не нравится моя физиономия. Такие, как вы, Сэм, вечно подковыривают интеллигенцию, пытаются отобрать у нее даже иллюзию свободы, и вот вам наглядный результат — дело Файтера...

Лицо Сэма стало покрываться красными пятнами, и Шедоу счел за лучшее выйти из транса, связанного с размышлениями о тающей, как мираж, перспективе отпуска, о славной недельке с Мэри...

— Вот что, друзья, — примирительно сказал он, — нам не хватало лишь одного — передаться друг с другом к великой радости всевозможных файтеров. Ты, Джи-Пай, и вправду действуешь всем на нервы, хотя Сэм был немного резковат. Но все мы измотаны до предела и должны понимать друг друга. Надо исходить из того, что наш корабль начинает тонуть, а принять SOS просто некому. Мы сами должны вытянуть себя за волосы, должны совершить чудо в духе Мюнхгаузена.

— Ты записной миротворец, Стив, — еще больше взвинтился Джи-Пай, присаживаясь, однако, на подлокотник своего кресла. — Мы пустили более трех часов коту под хвост, и нечего тут подчеркивать мои привычки. Сэм так и не обнаружил следов семьи Файтера, и, честно говоря, я немного рад, что коллега Файтер натянул нос нашей хваленой разведке. Раз это делает обычный профессор кибернетики, неудивительно, что на каждом шагу это удастся зарубежным спецслужбам...

— Вы что это имеете в виду, а? — хмурясь, спросил Сэм.

— А хотя бы ваше неопределенное сообщение о готовящемся моратории русских, — немного успокаиваясь, но все еще с агрессивной обидой в голосе ответил Джи-Пай. — Вы поставили нас в предельно идиотское положение. Теперь Боб должен ломать голову — а вдруг они тоже дошли до результатов Файтера, и их годичный мораторий на производство новых боеголовок не очередной пропагандистский трюк, а естественная реакция на эту проклятую красную черту. Если так, нам следовало бы их определить и немедленно прокричать миру о результатах Файтера, а не искать сомнительные способы заткнуть ему глотку. Если нет — другое дело... Но Сэм не может толком объяснить замыслы русских, не может с уверенностью сказать, известно ли им о красной черте, даже не знает, связан ли с ними

Файтер, не поделился ли он кое с кем своей находкой, чтобы сильнее прижать Боба и всех нас...

— А вы не знаете программы рождественских праздников внутри черной дыры, — зло отпарировал Сэм, — но я же не намекаю, что вы и вся шайка профессоров этой страны даром едите свой хлеб...

— По-моему, Джи-Пай, не стоит винить во всем Сэма и его людей, — решительно вмешался Шедоу. — Жаль, конечно, что к Файтеру нет подходов со стороны друзей, а семья его бесследно исчезла. Разумеется, хорошо, когда разведка имеет рычаги давления на любого человека, но это не всегда удается. Мы все работаем с ошибками, Джи-Пай... Мне хотелось бы обратить внимание на другой момент. Когда-то я тоже имел дело со статистикой, и кое-что в выводе Файтера мне не нравится. Результат пахнет детским блефом, и если это так, Джим Файтер заслуживает публичной порки. Кстати, вместе с тобой, Джи-Пай... Так вот, я не могу поверить, что какие-то машины прогнозируют глобальную войну с точностью до нескольких процентов прироста ядерного потенциала. Наверняка эвромат дает предсказания с большими ошибками. Выходит, этот доклад — наукобразный блеф, и мы на него попались!

Джи-Пай внезапно и громко рассмеялся, прямо взрыднул от смеха и соскользнул с подлокотника в глубь кресла.

— Ты что, совсем олухом меня считаешь? — сквозь утихающий смех спросил он. — В том-то и фокус, Стив, что на небольших интервалах файтеровские эвроматы демонстрируют сногшибательную точность. Об этом ты мог бы догадаться уже по опытам с обезьянами. Идиоты от гения тоже отделяют какие-то проценты, даже доли процента, и Файтер, в отличие от некоторых, знает об этом. Смысл его нынешнего результата очень прост. При наращивании ядерного потенциала на пять плюс-минус два процента устойчивое равновесное решение глобальной антагонистической игре исчезает. Далее — либо игра переходит в кооперативно-координированную фазу, либо игроки дружно отправляются к праотцам... Самое страшное, что, согласно Файтеру, мы уже сидим в зоне нарушения равновесия, находимся вблизи от критической поверхности в многомерном пространстве, относительно которого и строится эвропрограмма. Эту критическую поверхность, математически очень сложную, Файтер для простоты именует красной чертой. На ней происходит что-то вроде фазового перехода. К литру воды, нагретой до ста градусов, нужно подвести порядка двух с четвертью миллионов джоулей, чтобы вода полностью испарилась, но для начала процесса испарения требуется совсем немного энергии. Человечество не кастрюлька с водой, дело обстоит неизмеримо сложнее. Но если продолжать эту детскую аналогию, выходит так, что после появления первых пузырьков некому будет выключить плиту. Мы испаримся, переступив файтеров предел, — вот что следует из его доклада. И нет времени для тихой академической проверки его вывода. Надо принимать серьезнейшее интуитивное решение, Стив, а не вспоминать о твоих университетских упражнениях в статистике, требуя телесных наказаний для тех, кто разбирается в деле лучше тебя...

– Ты солидарен с Файтером? – спросил Президент. – Тебя именно так следует понимать?

– Я солидарен сам с собой, – запальчиво ответил Джи-Пай. – Доклад Файтера непротиворечив, но я не могу гарантировать правильность работы эвромата. А на независимую объективную проверку уйдет слишком много времени. Это все, что я могу сказать. Теперь серьезная наука умолкает, и решение должны принимать политики.

– Это очень любезно со стороны серьезной науки – умолкнуть в такой момент, – с ухмылкой пробормотал Шедоу.

– Я устал, – вдруг произнес Фил Уондеринг.

Все мгновенно затихли, и Президент одарил Древнего Фила своим неповторимым взглядом, наполненным бесконечной личной признательностью, признательностью авансом.

– Я устал, ребята, – повторил Уондеринг, впервые за этот вечер вмешиваясь в дискуссию. – Мы славно поболтали, но уже почти полночь, и я хочу спать. Я недавно разменял девятый десяток и должен поддерживать форму.

– И все-таки, Фил, – не выдержал Президент, – хоть пару слов...

– Разумеется скажу, – весьма бодро подтвердил Уондеринг. – Я выслушал одну сторону и хотел бы выслушать Файтера.

„Вот решение! – чуть не подпрыгнул Шедоу, и взгляд на сразу просветлевшего Президента обрадовал его еще больше. – Вот чего мы и добивались, до полуночи демонстрируя Древнему Филу свою слабость! Только он может уладить дело к общему удовольствию. И я каждый день буду выпивать с Мэри за его долголетие...“

– Уверен, что все вы согласны со мной, – продолжал Уондеринг, – и именно за этим и вытащили меня из моего логова. Вы знаете, что я всегда стоял в стороне от политики, хотя почти все крупные деятели почему-то считают меня своим учителем. Я всегда отвергал любые дипломатические миссии, которые мне пытались навязать. Вы заставили меня впервые изменить своим правилам. Утром я поеду к Файтеру. Мне кажется, я начинаю понимать, что происходит.

– Вы сумеете остановить его, Фил? – спросил Президент, и в этот вопрос было вложено все, что составляло его, Мудрого Бобби, суть, и в ответ надо было браться на крови или сразу убивать.

Но Фил Уондеринг равнодушно передернул плечами.

– Здесь, в твоём личном сейфе, Боб, лежит мой конверт, – проговорил он, демонстративно сдерживая зевок. – На нем подпись: „Вскрыть в момент наивысшей опасности“ Разумеется, ты был уверен, что это шутка старого дурака. В день твоей присяги, Боб, мысли о слишком близкой опасности не преследовали тебя, ты бросил конверт в сейф и забыл о нем...

„Собственноручная записка Уондеринга – это же колоссальный раритет, – скользнуло у Шедоу. – Он уже лет двадцать ничего не писал своей рукой, а все его старые бумаги разворованы коллекционерами. Будет жаль, если Боб затерял этот конверт“

– Достань его, Боб, и прочти, – завершил свою речь Уондеринг, – а я пошел, хочу спать...

Шедоу проводил старика, передал его с рук на руки секретарю и тут же возвратился. „Древнего Фила по-королевски доставят в отель, – думал он. – Четыре полицейские машины и пара контрольных нарядов из ребят Сэма станут прокладывать дорогу нашему будущему. Но вот черный юмор – ночью его хватит кондрашка, и мы останемся один на один с Файтером... Слава богу, я позаботился о дежурстве врачей в соседнем номере...“

Президент долго рылся в сейфе, но все-таки нашел конверт и извлек оттуда два листа. Один был почти пуст, лишь размашисто значилось на нем:

„Надо было думать раньше!“

УОНДЕРИНГ“

Лист пошел по рукам, и настроение упало, хоть падать ему было вроде бы некуда. Зато второй лист был исписан основательно, и Президент зачитал его вслух:

„Это шутка, Боб. Думать никогда не поздно. Даже тогда, когда пытаешься кусать себе локти.“

Это тоже шутка. Мы кусаем локти ближнего – так проще. Еще проще – вцепиться ближнему в горло и таким образом воздать ему за сотворенное нами зло.

А теперь серьезно. Ты вскроешь этот конверт, Боб, через три года с небольшим, когда почувствуешь опасность провала на очередных выборах. Опасность будет связана с Файтером, вернее – с его эвроматами, с теми эвроматами, Боб, которые так помогли тебе взойти на вершину.

Ты всегда утверждал, что я великий пророк, не так ли, Боб?

Я дерьмовый пророк – вот что верно. И из Файтера вышел бы такой же дерьмовый пророк. Он способный ученик, и его популярность затмила бы мою, но, к счастью, он занялся делом.

Я ненавижу его эвроматы. Я пришел из того времени, где не допускалась самая мысль, что всякие ящики, начиненные электроникой, станут учить нас жизни. Мы усиливали свои мышцы, зрение, слух, обоняние... Мы милостиво позволяли экскаваторам рыть ямы, ракетам – летать на Луну, мы позволяли себе разглядывать Вселенную в радиоволнах и гамма-лучах, хитроумно ощупывали отдельные микрочастицы, более того – мы были не против, чтобы смешные калькуляторы вели за нас утомительные подсчеты...

Но настал момент, когда наши мозги – ни коллективно, ни поодиночке – не могут справиться с миром нами же сотворенной сложности. И мы должны идти на поклон к эвроматам. Должны, ничего не поделаешь.

Но, в сущности, это не так! Мы никому не кланяемся. Эвроматы – живая часть нас, живых, коллективизированная часть нашего мозга. Возможно, они усилят и наш индивидуальный

мозг. Я уверен, что Файтер разработает программы соответствующей генетической операции. Но эвроматы тоже усовершенствуются, и начнется что-то вроде межвидовой борьбы, хотя она, эта борьба, должна послужить на пользу обеим сторонам. Наконец, пройдет время, и мы поймем, что, по сути, борьбы не было, что сотворен новый вид социальных организмов с более мощным коллективным и индивидуальным разумом. И, быть может, с такой функцией, которая уже не сводится к нашему представлению о разуме. И наверняка с невообразимо высокими для нас темпами эволюции...

Наша беда, Боб, в абсолютизации индивидуальности. Временами ты ощущаешь себя владыкой великой страны, испытываешь так называемый фараонов комплекс. Но, в общем-то, Боб, ты прекрасно понимаешь, что ты — лишь символ, как бы тотем стоящей у власти группы. И самые умные фараоны тоже понимали это. Твое счастье — в твоей стандартности, близости к среднему уровню. Твое главное достоинство в том, что ты устраиваешь большинство этих людей. Ты согласен подчиняться их требованиям и наступать на горло любому собственному мнению, если оно слишком заметно выбивается за рамки предписанного тебе стандарта.

А Файтер из тех, кто способен менять сам стандарт. Поэтому вы кажетесь непримиримыми врагами. Между тем друг без друга вам не обойтись.

Люди, покушающиеся на стандарты, кажутся тебе и твоей команде красными. Это как в космологии, Боб, — мы смотрим на убегающие галактики и видим, что линии спектра сдвигаются к красному концу. Этот эффект называется красным смещением. Так вот, все, устремленные в будущее, несут в себе красное смещение. Но в конце мы идем за ними и чаще всего по их костям.

Они первыми бьются лбом в опасность и кричат о ней, и твой долг, Боб, слышать их крики. Если бы не они, мы до сих пор бегали бы за мамонтами, размахивая палками и камнями.

Ты скажешь: теперь мы носимся друг за другом, размахивая ядерными боеголовками и лазерными пушками. Верно. Но не это определяет эпоху. На планете так или иначе кормится семь миллиардов человек, и кое-кто из них успел побывать на Луне и Марсе, а сейчас летит к спутникам Юпитера и — что, может быть, самое главное — пытается преобразовать человека и общество здесь, на Земле.

Так вот, прислушайся к людям, о которых через столько-то лет или веков скажут: если бы не они, мы до сих пор носились бы друг за другом, размахивая ядерными боеголовками...

Прислушайся, Боб, потому что настоящее, в которое ты целиком погружен, никогда не состоит из одного только настоящего. Настоящее – это сжатая пружина памяти и предвидения, и упаси нас господь забыть об этом и подставиться под адский удар с того или иного конца.

Извини, Боб, по неискоренимой привычке я говорю темнее Дельфийского оракула. Но слушающий да услышит!

УОНДЕРИНГ“

Президент умолк и потянулся к стакану с соком.

– По-моему, мы не можем рассчитывать на этого Уондеринга, – задумчиво произнес Сэм. – Он явно не с нами... Вот уж не подумал бы. Мне казалось, они с Файтером смертельные враги – как раз из-за этих эвроматов, или нет?

– Между смертельными врагами и смертельными друзьями невелика дистанция, – усмехнулся Джи-Пай. – Древний Фил может видеть в Файтере свое, так сказать, лучшее я, то, которое он сам не сумел реализовать. Такое бывает...

– Давайте разбегаться, только без всяких красных смещений, – со слабой улыбкой сказал Президент и потер переносицу. – Уондеринг считает меня вашим стандартом, а стандарту положено верить. Так вот, я хотел бы верить в добрую волю Уондеринга.

– Смотри, Бобби, – вставая, сказал Сэм. – Я профессионал и чувствую, что этот Файтер блефует. Мои ребята могут легко проверить мою гипотезу. Впереди целая ночь, а другой у нас может не быть...

„Я теряю целых семь ночей с Мэри и то не давя на Боба, – подумал Шедоу. – Лишь бы этот бык не наломал дров... Если он на свой страх и риск потрясет Файтера, все пропало. Мы наверняка попадемся в какую-то простенькую ловушку, а главное – сорвется вся моя игра... Древний Фил недаром решился на завтрашнюю поездку. Он прозрачней, чем думает, для меня – прозрачней... И хорохорится – куда тебе там! Иначе зачем он стал бы носить свой парик? Ведь все знают, что он давным-давно лыс, как колено... Ему неохота выглядеть стандартным яйцеголовым. Как же – сокрушитель стандартов! Значит, он еще рассчитывает совершить то, что не успел в своей слишком долгой и слишком праведной жизни – вот и вся психология... Пусть совершает!“

– Я тоже вполне доверяю Древнему Филу, – вступил он в разговор, – и прошу тебя, Сэм, не предпринимать ни одного шага против Файтера. Во всяком случае ни одного шага, не согласованного с Бобом и со мной. По-моему, завтра днем все экземпляры его доклада лягут на этот стол.

Президент удивленно посмотрел на Шедоу, но ничего не сказал.

„Надо как-нибудь выяснить, не скрывает ли и Файтер идеально отполированный шар под своей роскошной шевелюрой“, – мелькнуло у Шедоу весьма никчемная, хотя и слегка позабавившая его мысль.

Раннее утро с трудом втискивалось в сознание Джима Файтера. Он лениво встал и с полчаса бесцельно проблуждал по коттеджу, таская на себе совершенно опустошенную снотворным и оттого бесполезную голову. Потом заставил себя сварить кофе и несколько минут поболтать под душем. И снова стал бродить по комнатам, утешаясь вновь обретенной способностью к размышлениям.

Вот уже утро, думал Файтер, и ничего не произошло. Тройная доза снотворного, достаточная для длительной блокады действия Труз-маски, не пригодилась, только довела до одури. Похоже, все обо мне забыли...

Тишина. Я всю жизнь гнался за тишиной, и вот она — настоящая тишина. Садись за стол и твори, все звуки ушли из этого дома. Не носится по лестницам с громом стартующей ракеты младшенький, Пит, не пристает с заковырыстыми вопросами старший, уже понемногу бунтующий Джимми. И средний, Энтони, тоже не встречается в самый неподходящий момент с предложением сыграть в шахматы. Мало ему домашней ЭВМ, мало она его бьет... И Съюзи не придет в мой кабинет и не станет тыкаться носом в затылок, как щенок, которому скучно...

Вот так, садись и твори — перекраивай Вселенную и человека в идеальных условиях комфортабельнейшей из одиночных камер.

Нет, ничего не перекроить — тишина кричит памятью, дом кричит всеми голосами пустых комнат, голосами, которые накопились здесь за много лет. И кажется, все бы отдал, чтобы оживить эти глоса, выдавить их из тюбика памяти в этот дом, заполнить его реальным мельканием, звуками, запахами...

Запахи — первый и последний наш свидетель, думал Файтер, они напоминают о том, что крохотные существа, еще не клетки, а так — какие-то микроскопические пульсирующие комочки, ощущали мир в потоках молекул — на вкус и на запах. И вот запахи остаются и преследуют нас, как сигналы из миллиардолетнего далека, как зов истоков зарождающейся жизни. От шарфика Съюзи до ночной посуды Пита — все кричит в этом доме, кричит и сводит меня с ума, меня, вытолкавшего своих ребят в пустоту...

Не было выхода... Все так, отсутствие выхода, мнимое или реальное, — лучший способ убить сожаления. И еще проще — назад не воротить! Чего уж там думать-горевать, когда есть магическое — назад не воротить...

Так или нет? Может, не поздно и воротить? Поехать к Бобу или просто позвонить. Сказать ему: слушай, Бобби, я погорячился. Я думаю, что мир и вправду вот-вот рухнет в тартарары, но бог с ним, с миром. Давай жить дружно и потом — дружно гореть в общем костре. И пусть милые голоса снова наполнят мой коттедж, и я позову тебя, Боб, на маленькую вечеринку. И мы пустим сюда нескольких корреспондентов — пусть немного работают и пусть разнесут по всему миру весть о личной дружбе Президента с шефом Эвроцентра, и ты как бы возложишь руку на далекое будущее на-

шей цивилизации, пусть и несуществующее... И это даст тебе новых избирателей, а мне — новые миллионы на расширение Эвроцентра...

Я позвоню тебе, Бобби, думал Файтер, позвоню и скажу: я — подлец, мистер Президент, такая вот штука, я — подлец. Арестуйте меня. Целых три дня я знал результат Эвро-5 и молчал. Целых три дня я пытался надежно спрятать свою семью от ищеек Сэма. Я не боялся его Труз-масок, не боялся, что меня по-простецки возьмут за горло, я был уверен, что успею использовать особую ампулку и сраму не приму. Но меня могли взять за иное — за Пита или Съюзи, и тут конец. Потому что я слаб, слаб, как последний паршивец в стаде добропорядочных граждан, слаб, потому что мучения одного из моих сыновей могли бы заслонить от меня вид вымирающей планеты.

Таковы факты, Боб, я три дня, целых три дня продержал в столе экземпляры своего доклада, а эти три дня могут сыграть решающую роль в нашем приближении к красной черте. Так бывает — десятки лет, а то и десятки веков копится какая-нибудь дрянь, а спасение от нее решается в считанные дни или в считанные секунды.

Выходит, я ничем не лучше тебя, Боб. Ты хочешь протянуть десять месяцев ради спасения своего кресла, я уже протянул три дня ради спасения семьи. И вот ведь парадокс — от чего спастись? Где они спрячутся не от Сэма и его парней, а от обычной самонаводящейся боеголовки? Где спрячется твой народ, Боб, несчастливый или нет твоим мудрым и едва ли не бессменным руководством?

Нам всем некуда прятаться, победителю нет убежищ... Особенно забывающему, что всякая победа — немного Пиррова. А иногда не так уж немного, иногда и целиком... Вся беда в том, что победителю слишком хорошо известна цена победы...

Когда удалось сообразить, что сверхбыстрые блоки способны работать с полем содержательных аналогий — осуществлять первичный подбор аналоговых моделей, а потом их адаптацию в области применения, я захлебнулся успехом и особенно — надеждой! Эвристическая машина может строить модели любых явлений и целые теории — это небывалый рывок в науке, колоссальный импульс прогресса. Победа, которую, вроде бы, не с чем сопоставить в истории познания...

И вдруг среди ликования зазвенели пронзительные звоночки. А кто справится со всем этим потоком прогресса, стали спрашивать меня. Кто сможет всем этим управлять? Сами же эвроматы? Да здравствует эвробцивилизация!

И пошло, и поехало...

„Надеюсь, Вы любезно предоставите нам места вышколенной прислуги у Ваших симпатичных машин, — написал тогда председатель Ассоциации инженеров-электриков, кажется, так написал. — Мы становимся столь же бесполезны, как и водители карфагенских боевых слонов в современной дивизии танковых роботов. Боюсь, эвроматы перестанут доверять своим теплокровным слугам — они наверняка попытаются создать нечто более

надежное и расторопное. Но оставим этот вопрос. Поверьте, меня более мучает другое — принесут ли эти эвроматы Вам — именно Вам! — подлинное счастье, не выдадут ли они в один прекрасный день нечто такое, что начисто разрушит Ваш покой и поставит Вас, а может, и многих других на край пропасти?..“

Он как в воду глядел, этот парень, отнюдь не претендующий на роль пророка школы Уондеринга. На эту роль стали претендовать именно эвроматы, скорее — на собственную школу. То, что нам казалось необъятно сложным и в силу своей сложности туманным, эврики стали превращать в четко оконтуренные перспективы... Славная пора Футургейма, когда мне казалось, что машины играют с нами в будущее, услужливо предлагая десятки вариантов — только выбирай, только прими решение, и ты ступишь на тропу великолепно состыкованных картин, которые прямо с листа превращаются в избранную реальность, и каждая из реальностей лучше всех остальных...

Карикатура великого Линдстрема — вот она на стене, воспроизведенная в большом формате. Человечество в виде буриданова осла, понукаемого эвроматом с физиономией Джима Файтера. Человечество, растерявшееся от обилия дорог и аппетитности разбросанных по ним, по этим воображаемым дорогам, опять-таки воображаемых охапок сена... Но из каждой охапки торчит еле заметная головка ядерной ракеты — немой вопрос покойного Линдстрема, который никогда не писал мне писем, а просто прислал эту огромную репродукцию одной из последних своих карикатур...

И тогда, как просыпающийся вулкан, стал ворчать вслух Древний Фил, человек, для которого будущее представлялось чем-то вроде собственной записной книжки... „Мне плевать, Джимми, на безработицу среди инженеров и даже среди прогностов, — сказал он в последнюю нашу встречу, злую и разрывную. — Лично мне эвроматы ничем насолить не могут. Но эти проклятые железки не доведут тебя до добра. Ты останешься у разбитого корыта, и все, что ты увлечешь, останутся с тем же. Но, даст бог, я этого уже не увижу...“

Как же он меня тогда разозлил, этот Учитель Президентов. Он взвился на эвроматы вовсе не из ненависти к железным мозгам — это ерунда. Он слишком умен, чтобы лить слезы над безоблачным и чисто человеческим прошлым, якобы исковерканным всякими учеными выдумками. Он взвился из-за П-границы — вот в чем я убежден. Он не мог потерпеть, чтобы кто-то устанавливал правила игры на его поле.

А П-граница — золотое правило Футургейма, не сразу мною обнаруженное и тем более не сразу и всеми осознанное. Но существует эволюционная граница прогноза — ничего не поделаешь. Мы можем разумно прогнозировать собственное будущее лишь до тех пор, пока изменения человека и общества не меняют их качественно, то есть не переводят на новый уровень сложности саму прогнозирующую систему. После этого система обретает такие свойства и цели, которые непредсказуемы для системы

меньшей сложности, — это просто, как дважды два. Пещерному пророку не снилась высадка экипажа на Марсе и пирамиды Хеопса тоже не снились. И нам сейчас не снится то, что будет доступно суперсапу, спланированному по программе Эвро-II. Нам доступен прогноз лишь в интервалах времени, за которое мы сами не подвергаемся существенному преобразованию — такова она, П-граница, тоже своеобразная красная черта. Та красная черта, которая ясно дает понять — мы не просто вершина исторической пирамиды, а промежуточная ступенька. И только непрерывно совершенствуя свой вид в индивидуальном и социальном плане, мы можем рассчитывать на принципиальные рывки в познании. Лишь допуская собственное радикальное преобразование, мы можем смело идти навстречу Большому Космосу.

„Нарушителей П-границы ждут цепкие и бездонные болота утопий“ — так цветисто выразил суть дела один молодой журналист. Да, что-то в этом духе...

И, похоже, четко обоснованная программой Эвро-6, П-граница навсегда разделила меня с Уондерингом. Несмотря на свою кажущуюся абстрактность и прекрасно знакомые Филу „бездонные болота“, разделила...

А новая красная черта, совсем уже не абстрактная, напротив, страшная своей конкретностью, — со всеми остальными.

Срок жизни пророка обратно пропорционален уровню пессимизма его прогнозов. Пророку-оптимисту всегда проще. Выйдет по прогнозу — ему честь и хвала, а грянет беда — тут не до пророка, тут самому бы живым остаться, а он — что он? — он-то лучшего хотел... А пессимист всегда плох. Ошибся — дурак, которого повесить мало, ибо пугал, а прав — тут уж повесить бог велел, ибо накаркал, да и злость на ком-то сорвать надо... Не странно ли, что я еще жив и даже с ума не сошел — не сошел ли? — среди этого кричащего дома, опустошенного мною, среди крика миллионов, опустошенных моими эвроматами, среди внутреннего своего опустошающего крика.

Я отвергнул от себя тех, кого любил, от меня отвернулись те, кому я верил. И некуда спрятаться, ибо победителю нет убежищ...

И надо набраться сил, чтобы этот бунт не завершился позорным выбросом флага, белого флага, которому никто не успеет как следует возмутиться или порадоваться, ибо полотнище очень скоро выпадет на землю сероватым радиоактивным пеплом...

9

Файтер ждал сигнала. Отгороженный от мира самой опасной и захватывающей из фантапрограмм — погружением в себя, он напряженно ждал. И все-таки сигнал прозвучал внезапно, и на экране переговорной панели еще большей внезапностью всплыла добродушная физиономия Фила Уондеринга.

– Ты меняпустишь, сынок? – спросил Древний Фил.

Файтер послал пропускной импульс, и через минуту Уондеринг предстал перед ним с большим портфелем в руке.

– Слушай, Джимми, – сказал он, устраиваясь в кресле, – я по-прежнему не могу простить тебе изобретение эвроматов. И не потому, что я, как и все старики, люблю поворчать на думающие железки. И не потому, что твоя П-граница подрубила мне крылья. Я не могу злиться на тебя как на более удачливого конкурента, ведь ты вместе со своими эвроматами и П-границами в каком-то смысле мое овеществленное пророчество... Но я пришел рассказать тебе об истинных причинах своего ворчания. Ты хочешь меня послушать?

Файтер непроизвольно взглянул на часы. Половина десятого. Выходит, он добрых четыре часа, как сумасшедший, ползал в этих стенах и, кажется, говорил вслух... Но время еще есть, плохо другое – этого Фила, должно быть, по уши начинили „клопиками“, и в машине у ворот настроились послушать поучительнейшую из передач.

– Верно, время еще есть, Джим, – ухмыльнулся Уондеринг, – и не бойся, я чист в смысле электроники, мой водитель обладает собачьим нюхом на эту пакость, и перед выходом из отеля он проверил меня с ног головы. Я приехал к тебе, Джимми, вполне официально, ты так и подозревал, да?

– Неофициально в мой дом сейчас и не попадешь... Вы хотите уговорить меня, Фил?

– Да, именно такова моя миссия, – твердо произнес Уондеринг. – Нам не стоит играть в прятки. И я, с ведома и по поручению президентской команды, привез сюда полный портфель всякой чепухи, кучу проектов, которые они заготовили для следующего срока. Они хотят убедить тебя, что с их администрацией стоит иметь дело...

– Это я и так знаю...

– Но мне плевать на их замыслы, Джимми, до реализации чьих бы то ни было замыслов надо еще дожить... Я хочу говорить о другом. И постарайся уловить то, что скажет сейчас последний маг из прогностов, последний пророк, не использующий твои эвроматы для составления своих гороскопов. Ты выпустил страшного джинна из бутылки, именуемой человеческим мозгом. Это звучит банально, я знаю. Так говорили о первом паровозе и о первом самолете, и об урановом котле тоже говорили. Но боюсь, ты еще не понимаешь, что эвромат, снабженный одиннадцатой программой, – это жутчайшее и принципиально неконтролируемое оружие. Эвробомба – это мой термин, Джимми, но это паршивый термин глупейшего из пророков. Он ничего не передает. Бомба – это вспышка и конец! Я помню, что более полутора тысяч человек в Хиросиме умирали медленно. Для них ад растянулся на месяцы и на годы. Но ад эвробомбы растянется на века, даже на тысячелетия. Он захватит всю планету. Он будет длиться и длиться, пока кому-нибудь не стукнет в голову прекратить этот ад – устроить фонтан из ядерных боеголовок...

Файтер присел напротив Уондеринга и через силу улыбнулся.

– Что с вами, Фил, чем вы меня пугаете?

– Я не пугаю. Я утверждаю, Джим! Ты бросил мир, разорванный и неподготовленный, в пасть новой войны, войны автоэволюционной. Люди начнут наперегонки выводить новые породы сверхлюдей, лопнет связь между поколениями, мы отбросим память крови. Мы не сможем договориться о творении единого вида, и на нашей планете вспыхнет межвидовая борьба разумных существ, вооруженных самой опасной техникой. Технологически отсталые страны попадут в положение обезьяньих заповедников – вот к чему мы придем, и очень быстро. Я знаю, что твоя Эвро-II практически готова к ведению эксперимента. Через 10–15 лет начнется кошмар. Появятся Эвро-21, Эвро-31, Эвро-111... И брат восстанет на брата. И это будут не примитивные расовые предрассудки, это будет непрерывно меняющаяся иерархия богов и людшек, сцепившихся в смертельный клубок...

„Он действительно последний маг из прогностов, – подумал Файтер, – после таких речей легионы сметали все на своем пути, а уличные толпы линчевали иноверцев. Настоящий пророк – это спичка на бочке с порохом“:

– Вот такое дело, сынок, – тихо сказал Уондеринг, – такое дело. Ты меня понял? Ты подумай...

– Я не согласен с вами, Фил, – перебил его Файтер. – Вы должны были впасть в грех и впали. Вы впали в грех тривиальности – это красная черта в каждом из нас. Наступает нечто непостижимое, нечто вне нашего понимания, и мы вроде бы беззащитные от этого наступления, владаем в грех веры. Мы упираемся в доступную нам ступеньку и боимся следующей, или чувствуем – она не наша... И этот страх – наша вера, Фил. И тогда в нас просыпается оракул – мы предостерегаем всех, способных сделать следующий шаг: не делайте! Вы расшибетесь сами и утащите за собой все человечество. Но это ерунда, Фил, поверьте, это ерунда, хоть и нехорошо посмеиваться над символами веры, но я скажу прямо – это смешная ерунда.

Файтер перевел дыхание и разлил по чашкам кофе из небольшого кофейного автомата.

– Я расскажу вам притчу, Фил, забавную притчу. Вы, наверное, помните, что премию за эвромат мы получали вместе с профессором Камовым. Принцип эвро, то есть метод подбора стартовых аналогий, он нащупал позже меня, но зато он первым догадался монтировать эвросистемы. А именно они и дают эвроматам огромную прогностическую мощь. Но дело не в этом. Камов был постарше меня, хороший парень. Мы сбежали с ним с парадной церемонии и потихоньку тянули коньяк в моем номере. И я, как восторженный щенок, развивал перед ним грандиозные планы. Уже тогда было понятно, что эвросистемы будут легко разыгрывать сложнейшие явления, и я вопил: слушай, дружище Камов, наши вояки соберутся вокруг эвромата и сыграют в войну. Они будут перекраивать мир, разыгрывая ядерные сражения и грандиозные звездные войны, а люди станут следить за этим, как за увлекательным футбольным матчем! И мы с тобой

станем почетными сопредседателями спортивного союза военных и гриш. Будем дисквалифицировать генералов, плохо запрограммировавших свой эвромат или проявивших излишне имперские амбиции... И болельщики начнут гоняться за нами с патриотическими флажками наперевес... Смешно, да?

Уондеринг сидел неподвижно, глядя Файтеру прямо в глаза. Древнему Филу было не до смеха.

— Не смешно, Фил. Вот именно — не смешно. Так и сказал мне этот Камов, между прочим, весельчак и большой любитель анекдотов. Слушай, Джим, сказал он, не надо впадать в пьяный восторг. Твоя утопия зависит не от машин и не от нас, их создателей, вернее — не только от нас. Она зависит от тех, кто стоит у власти. Потому что ни одна машина сама по себе не изменит социальной иерархии. Эвромат — необычная машина, со временем он сможет стать неотъемлемой частью общества, но все же важно, кто и как им воспользуется, какой среде он станет служить. И не надо впадать в утопию, говорил мне Камов, ибо из утопий никто еще не возвращался, чтобы поделиться восторгами по поводу увиденного. Там гибли народы и империи, и, чем заманчивей и безграничней казались иллюзии, тем уже и кровавей оказывалась тропа, по которой надо было возвращаться к нормальной жизни. Так вот, Фил, не будем и мы впадать в утопию. Одноцветное будущее, розовое или черное, — выдумка, бред. Но самое страшное будущее — отсутствие будущего. И вот сейчас мы выбираем, Фил. Жаль, что здесь нет старины Камова, он бы кое-что посоветовал. Но мы вдвоем, и мы прекрасно понимаем, что до эвробомбы мы можем просто не дожить...

— Мы уже дожили до нее, — вздохнул Уондеринг, — мне кажется, дожили. Ты так и не понял, Джимми, что вчера в кабинете Президента ты устроил своеобразный полигон близ Аламогордо. Но нынешнее время предельно спрессовано, и в считанные дни может грохнуть уже не полигонный взрыв. К тому же, сейчас за окнами снова жаркий август, еще более жаркий, чем тогда... чем в то лето, когда я был совсем еще мальчишкой и жалел, что с Гитлером справились без меня, и надеялся, что без моего участия взрослые нипочем не сладят с японским императором... однако сладили... Ты извини, Джимми, старость часто заносит в детство. Просто мне вспомнились иллюзии тех времен — супербомба, которая навеки предотвратит войну, и все такое...

— Я понимаю ваши тревоги, Фил, — ответил Файтер. — И думаю, что работы Эвроцентра со временем необходимо рассекретить. Если эксперимент по Эвро-II пройдет успешно, я сразу же...

— Если... я сразу же... — передразнил Уондеринг. — Если дадут — вот что следовало сказать. Это самый сложный вопрос, Джимми, и одной попыткой нарушить секретность тут не обойдешься. Надо придумать что-то иное, более масштабное. Ты вообще слишком сжился со своими эвроматами и потихоньку теряешь представление о чисто человеческом элементе. Ученых недаром рассаживают по клеткам самолюбия, недаром запирают в

одиночки собственного таланта... Лояльный и узкий специалист-одиночка стал превосходной отмычкой в политической борьбе и особенно – в борьбе глобальной. А трагедия их узости, лояльности и одиночества – кого она волнует?.. Обо всем этом мы должны хорошенько подумать, и я обещаю тебе, что не умру, пока не выиграю нашу с тобой неоконченную дискуссию. Но в одном ты, безусловно, прав – сейчас не до дискуссий.

Уондеринг встал и, щелкнув застежками портфеля, высыпал на ковер несколько тонких папок.

– У тебя еще будет время порыться в этих бумагах, – сказал он, – среди них есть отличные проекты. Новые высадки экипажей на Марсе и строительство первого марсианского города, а! Это звучит тривиально для нынешней молодежи, но не для меня... Я ведь бегал в школу под страшные слухи о какой-то брауновской штуковине, способной за полчаса перепрыгнуть Атлантику и врезаться прямо в Эмпайр Стейт Билдинг, где шпионы пытались установить радиомаяк... На последнем курсе университета я узнал о запуске первого спутника, потом был первый человек на орбите, потом высадка на Луне, потом – Марс... И каждый следующий шаг казался делом далекого будущего, а оно оказывалось все более близким. По этим ступенькам, Джимми, я и шел из неизвестных социологов в знаменитые пророческие. И поэтому мне смешно, когда меня пытаются изобразить каким-то неолуддитом, современным сокрушителем машин...

– Лично я не изображаю, – улыбнулся Файтер. – Я отбиваюсь. Я хочу вам внушить, что некоторые машины уже вышли за рамки усилительных приставок к человеку, что они стремятся занять особое место в нашем обществе.

– Внушать ты умеешь, это правда, – сказал Уондеринг. – Ты мощный суггестивный генератор – вот что я скажу. Такие, как ты, могут высветить прекрасное будущее, но могут и прожечь страшную дыру в наших бедных мечущихся душах... Но мы опять уходим в бесконечную дискуссию. Хватит! Давай-ка сюда экземпляры своего доклада, Джим.

Файтер замешкался. Последние слова произвели на него сильное впечатление.

– Мы оба неплохие провидцы, Джим, – засмеялся Уондеринг. – Ты ведь никому не передавал материалы для публикации, ты боялся поставить своих близких и друзей под удар ведомств Сэма, верно? Ты, глазом не моргнув, рискнул своей жизнью и карьерой, чтобы предупредить человечество о близкой опасности, и рискнул человечеством, чтобы уберечь дорогих тебе людей... Прекрасный монолог для философской мелодрамы, а? Особенно если добавить, что это типичный пример интеллигентского бунта... Но у меня нет повода для такой декламации. Я уверен – ты вычислил мой приход. Ты знал, что Боб и его команда без меня не обойдутся, а я не обойдусь без приключения, связанного со спасением твоих материалов. И мне приятно, что при составлении такого блестящего прогноза ты не мог воспользоваться услугами эвроматов...

Файтер покорно пошел к столу и извлек оттуда две папки. Древний Фил аккуратно уложил их в портфель и прикрыл сверху одним из выброшенных проектов.

– Так-то! – назидательно сказал он. – Вот я прикрываю твою „Модель красной черты“ очень любопытным проектом. Называется „Лунное око“ Наш верный спутник превратят в сплошной всеволновый телескоп... Не плохо, а? Теперь дай мне микрокассету...

Файтер так же покорно подошел к стене и извлек маленький пакетик из-за ложной панели.

– Молодец, парень, – похвалил Уондеринг. – Я боялся, что ты не догадаешься сделать микрокопию. И я тоже не дурак.

Он извлек из кармана конверт с пластырем и расческу, подошел к зеркалу и аккуратнейшим образом поместил микрокассету под своим великолепным париком.

– Мы здорово играем в шпионов, а! – весело выкрикнул Уондеринг. – Только отдирать эту штуковину будет больновато... И последнее – скажи-ка мне адрес своей семьи, ты ведь и не думал гонять их по границам.

– Это просто не удалось бы, – ответил Файтер, делая запись на квадратике самостирающейся бумаги. – Не такие уж они великие конспираторы. Их сцапали бы в первом же отеле...

– Я так и думал. Но лучше всего, если они не будут метаться по дальним родственникам, а поедут ко мне. В моей огромной берлоге-одиночке их никто не найдет. И я думаю, они скоро возвратятся в этот дом. Если твой доклад будет обнародован, Боб и его команда не станут с тобой воевать. Они попытаются обратить все к своей пользе. Может, Боб и впрямь ударит по ракетно-ядерным магнатам. Я уверен, в данный момент он уже ищет новую опору в электронных концернах, обещая фантастические заказы для расширения европрограмм. Он мастер переориентации и большой реалист, наш Мудрый Бобби. Так что не отчаивайся. Завтра тебя могут пригласить на место этого неврастеника Джи-Пай. Будет забавно... А пока – всего тебе наилучшего, великий шантажист...

10

Фил Уондеринг бодрым шагом вышел из комнаты, но в садике файтеровского коттеджа появился разбитый жизнью старик. Он по-черепашины медленно доплелся до своей машины и кряхтя залез на заднее сиденье.

Он не удивился, заметив в углу Стивена Шедоу, а рядом со своим водителем – незнакомого задумчивого парня, жующего резинку. Он только кивнул Тени президента, кивнул и пригладил искусственную шевелюру.

– Дело дрянь? – заботливо спросил Шедоу, когда машина тронулась. – Он вас очень расстроил, да?

– Дело дрянь... – прокряхтел Уондеринг. – Он велел послать всех вас к чертовой матери, впрочем, и меня тоже, если это кого-то утешит. И ваши проекты его не очень волнуют.

— Неужели? — небрежно бросил Шедоу и протянул руку к портфелю. — Отдайте-ка мне этот портфель, мистер пророк, я ведь вчера еще все понял.

— Не надо, Стив, — с неподдельным отчаянием прохрипел Уондеринг, — не делай этого. Я не хочу умирать подлецом в глазах Файтера. Он действительно передал мне два экземпляра доклада, но пусть они хранятся в моем доме, Стив. Я не пушу их в ход, даю тебе слово, а других у него нет. Но если ты забереешь их сейчас, Файтер решит, что я был в сговоре с вашей командой...

— А это так и есть, Фил, — жестко сказал Шедоу. — Нельзя всю жизнь прожить без команды, и мы не прочь взять вас в свою. Считайте, что вам без всякого лишнего шума удалось повернуть серьезное дело. И мы этого не забудем. Давайте портфель, не отбирать же его силой...

Уондеринг рванул дверцу, пытаясь выпрыгнуть на ходу, но жующий парень молниеносным броском руки пригвоздил старика к сиденью и при этом остался таким же жующим и задумчивым. Машина затормозила, а вслед за ней притормозил и висевший на хвосте черный лимузин с двумя пассажирами.

— Извините, Фил, — сказал Шедоу, — мы боимся за вашу жизнь. Вы уже не в том возрасте, чтобы бегом уходить от агентов Сэма. И скажите спасибо одному из них, что вы живы... И отдайте мне бумаги.

— Ваша взяла, — прохрипел Уондеринг. — Отпусти меня, парень, мне надо принять таблетку.

Парень отпустил, не теряя, впрочем, невозмутимости. Отпустил и стал выбираться из машины.

— Так бы и сразу, — ободряюще улыбнулся Шедоу, принимая портфель. — А теперь, Фил, мы покинем вас, нам будет удобней уехать на другой машине... Счастливо оставаться!

„Вот так и выигрывают будущее у дерьмовых пророков, — думал Шедоу, устраиваясь в черном лимузине и нежно прижимая к себе портфель. — Даже смешно. Жаль, что всю эту историю нельзя рассказать Мэри, она бы до упаду хихикала. Стивен Шедоу спасает отечество! Жизнь за Президента! Нет, оно и вправду смешно — я облапошил этих двух умников, как пару слепых котят... Пожалуй, скину-ка я по дороге сопровождающих, не то Сэм вообразит, что он тоже участвовал в моей операции...“

Далеко позади осталась медленно ползущая машина Уондеринга. Древний Фил откинул голову на подушки, склонив ее чуть влево, чтобы не ощущать инородное тело на затылке. Он откинул голову и закрыл глаза, с трудом сдерживая слезы — недопустимую слабость, признак окончательной никчемности. Хотелось выть, стонать и захлебываться слезами от того, что впереди остается так мало, что не будет больше на Земле чистой магии пророчеств, не втиснутых в аналоговые фильтры этих проклятых, мерзких, опасных и все-таки неизбежных эвроматов...

ЭФФЕКТ ЛЯГУШКИ

Удивительно спокойная катастрофа... Кругом тихо, до ужаса тихо. Нас окутывает какая-то безобразная, бессмысленная тишина. И лишь один звук упорно пытается разрушить, искромсать ее — то ли кровь стучит в виски, то ли расплавленным свинцовым шариком бьется о стенки черепа короткая, но исчерпывающая оценка случившегося:

— Застряли-в-бета-туннеле... за-стря-ли-в-бе-та-тун-не-ле...

Так и есть. Тринадцатая кабина серии „Бета“ сидит в туннеле. Тринадцатая кабина основной серии сидит... Из этого положения еще никто не выбирался, но важнее всего — никто в него и не попадал...

Уникальный капкан захлопнулся. Мы же — Дональд Кинг, Марио Кальма и я — понятия не имеем о местонахождении капкана. В том-то и загвоздка, что во всей Вселенной-долгожительнице нет для нас даже небольшого местечка, даже самого крохотного „нынче“ и то не существует. Мы как бы выпали из общедоступной четырехмерности. И все-таки мы живы, живы до сих пор...

До сих пор основная серия шла не так уж плохо. Только „Бету-7“ подстерегла беда — она выпрыгнула из туннеля у поверхности какого-то захолустного пульсара. Ребята и скорлупка, в которой они сидели, — все раскрошилось под действием могучих приливных сил. Что поделаешь, малая вероятность несчастья гарантирует лишь приличный страховой полис, отнюдь не саму жизнь, тем более — не жизнь Испытателя. Бывают случаи и пообидней, чем с „семеркой“ Угрозило, скажем, Жака Дюфре из побочной серии наткнуться на микрозвезду — миллиард тонн размером с атомное ядро. Попробуй, учти такое...

Если бы в космосе плавали лишь привычные славные плазменные шары, если бы... Но уже первые дальние броски кабин дали сногшибательные результаты. В буквальном смысле сногшибательные — едва ли не о каждый результат спотыкались Испытатели.

Забавней всего интерпретирует новые открытия Кинг: представьте себе добропорядочное семейство, которое просыпается в своем ультрасовременном коттедже и вдруг обнаруживает, что все вокруг до предела насыщено разнообразной чертовщиной — домовая возится с собакой, на кухне шлепает дверцами холодильника симпатичная ведьма, в бассейне

престарелый водяной гоняется за юной русалочкой, а в кабине хозяина некий козлообразный джентльмен потягивает лучший коньяк и листает томик Бодлера...

Обычно в этот момент Дональд наливается краской, челюсть отваливается, руки трясутся, глаза вылезают из орбит — он олицетворяет отца добропорядочного семейства, столкнувшегося с чем-то, что до неприличия дерзко и насмешливо выбивается за рамки его не слишком богатой фантазии. Кинг утверждает, что это лишь слабое отражение той реакции, которую непременно вызывали бы сводки из наших отчетов у астрономов предшествующих поколений.

Превосходно, что даже в такой более чем сомнительной ситуации на ум пришла одна из неподражаемых сценок Дона. Простая улыбка на дне самой безвылазной из безвылазных ям чего-то да стоит. А бета-туннели — ямы хоть куда...

Эти туннели — пожалуй, самая невероятная деталь в современном полотно космической экзотики — были обнаружены лет двадцать назад во время опытов по высокой концентрации энергии. Вскоре начались эксперименты по сверхдальним переброскам. Полной теории все еще нет — теории нет, а туннели работают вовсю, транспортируют исследовательские автоматы, грузы, а теперь и людей. Таково золотое правило нашей игры с природой — используя, постигаем. В конце концов и далекие предки бета-кабин, паровозы, двинулись в путь при всеобщем убеждении, что котел работает благодаря особой тепловой жидкости — флэгистону.

Похоже, после открытия бета-туннелей самое пространство оказалось чем-то вроде флогистона, а на самом деле...

*

А на самом деле, мы — Марио, Дон и я — застряли в бета-туннеле. И хорошо еще — знали бы, что это значит. По теории выходит, что мы и места в пространстве не занимаем, и время для нас не течет. Но теория теорией, а факты куда приятней — я уже открыл глаза, могу пошевелить пальцами, дышу и, главное, хочу есть.

Нелепость какая-то! Люди, попавшие в невиданную катастрофу, не потерявшие в нормальной межгалактической пустыне, а буквально вывалившиеся из пространства, голодны как волки.

Я смело обобщаю, потому что взгляд Марио направлен как раз в сторону пищевого автомата. Не думаю, что он увидел там представителя иной цивилизации — этим Кальму черта с два удивишь. Да и взгляд у него не вопрошающий, а жаждущий. Так что инопланетянин должен сильно смахивать на бутерброд с гусиной печенкой...

Кинг облизнулся...

Кинг облизнулся и вполне благодушно спросил:

— Парни, а куда это мы попали?

— В туннель, — лениво буркнул Кальма, дожевывая последний кусок.

— Посмотри на табло, — добавил я.

А на табло горела красная буква „бета“. В этом все дело. Мы никогда не видели столь эффектного зрелища и, в общем-то, хорошо, что не видели. Мы просто знаем, что буква вспыхивает, когда кабина находится в бетатуннеле, но для нас это длится меньше самого короткого мгновения. Мы не успеваем заметить горящую букву, и в этом наше счастье. Но сейчас мы воспринимаем ее столь же отчетливо, как друг друга. Она — сигнал высшей опасности, бросающая реклама пребывания в нигде.

— Плевал я на этот семафор, — сказал Кинг, — вытаскивая из кармана зубочистку. — Куда мы попали, что нас окружает, понимаете?

— Нас ничего не окружает, — ответил Кальма. — И ты понимаешь это не хуже других. И не раскачивай нас, Дональд.

Раскачивать — значит причитать по поводу очевидной опасности, пока не найден способ борьбы с ней. Раскачивать — последнее дело, лучше уж подраться. Только, я думаю, Дон вовсе не собирался никого раскачивать. И это не благодушное послеобеденное желание завязать умный разговор...

Просто пришло время обо всем говорить вслух. Пришло время рассеять едкий, гаденький туман страха, скопившийся в наших извилинах. Когда глядишь опасности в глаза, поневоле перестаешь ей поклоняться. Возникает спасительная идея сопротивления, надежды конденсируются и становятся опорой в борьбе.

Ведь с голодом мы справились...

*

С голодом мы справились, а вот со всем остальным что делать? И что это — все остальное? Что, собственно, происходит за бортом „Бета-13“? Происходит в нигде и ни с чем. Но ни с чем и произойти-то ничего не может. Тем более, если в нигде...

С ума сойти от такой схоластики. Впрочем, мы народ тренированный насчет раскачки — и внутренней и внешней. Нас просто так страхом не прошибешь. Пугливым на „бетах“ делать нечего — не для них эта работа.

Например, „восьмерка“ ухитрилась выскочить из туннеля в атмосфере симпатичного красного гиганта. Но ребята не сдрейфили. Искушавшись в плазме, они успели дать полный стартовый рывок и унесли ноги из самого пекла.

А на „десятке“ — и того похлеще. Врезались в окрестность черной дыры, хорошо еще — в эргосферу, откуда можно было убежать...

Странно ли, что, обретая опыт, никто или, скажем, почти никто из нас не стремился дважды оседлать „бету“? На первый раз повезет — можешь даже открыть планету со всякой живностью, как случилось с „Бетой-3“ Но при повторной попытке непременно угодишь в натуральную дыру или во что похуже.

Среди нас это вроде поверья, что ли... Поверья, стартовавшего вместе с капитаном „семерки“, легендарно удачливым Рахмакришной, тем, который вел „Бету-3“... Нельзя лететь второй раз — быть беде. Да если б лететь! Если бы ты чем-то управлял, и от тебя что-нибудь зависело... Так ведь

нет! Туннель управляет тобой и твоей судьбой, начисто отрезает от внешнего мира, и ты вообще начинаешь сомневаться — существует ли этот внешний мир и разумны ли его законы. Врезаться в ту или иную пакость при выходе из туннеля — полбеда, главное в ином — туннель как-то забавно перетасовывает информацию, фрагменты памяти мечутся, как стекляшки в детском калейдоскопе, выстраивая десятки реальностей, каждая из которых ничему не соответствует. Такова цена, которую приходится платить за краткое — для тех, кто наблюдает извне, очень краткое — пребывание в совершенно искусственном и весьма по-дурацки запрограммированном информационном канале, именуемом бета-туннелем. Но об этом у нас не принято говорить. В конце концов нормальное мировосприятие восстанавливается довольно быстро — лишь бы выскочить благополучно и своевременно. Отпечатки остаются — не без этого. Ощущение безотказной триггерной ячейки в гигантском полупьяном компьютере, путающемся в начальных строках таблицы умножения, еще долго преследует тебя, но — лишь бы выскочить благополучно и своевременно...

Не здесь ли истинная причина поверья? Не в этом ли непередаваемом ощущении? Или в полном непонимании тех безымянных и никак не уместяемых в горизонты человеческих понятий проектантов, которые сумели пронизать Вселенную сверхсложной сетью бета-туннелей, созданных, может быть, вовсе не для транспортировки в будущее или к центрам иных галактик, а кто знает, с какой целью?.. В полном непонимании — столь превосходной питательной среде для страха и предрассудков...

Бесшабашный Жак Дюфре, на счету которого был один из самых первых туннелей, не посчитался с зарождающейся традицией — решил испробовать кабину-одиночку из побочной серии. Эти кабины отлично туннелировали, а вот судьба Жака испытания не выдержала... Случайно ли встретила на его пути проклятая микровозвезда?

А теперь я сам пошел наперекор суеверию, которое после гибели Жака стало превращаться в неписанный закон. Второй бросок Дюфре оказался каким-то магическим знаком... Мы не были особенно близки с ним — просто коллеги-приятели. И вроде бы у меня нет оснований мстить, тем более — бета-туннелям, явно сбрендившим от заброшенности, от миллиардолетнего невнимания со стороны своих творцов и первопользователей. Не в этом дело... Но не достаточно ли того, что люди исчеркали себя изнутри и снаружи целой сеткой предрассудочных символов, покрыли этой сеткой свою планету? Неужели это неизбежно и в космических масштабах? Преклоняться перед информационным шулерством бета-туннеля, разделять его правила игры с человеком — этого еще не хватало!

Не могу сказать, что решение о повторном туннелировании далось безболезненно. После броска на „десятке“ бета-кабина вряд ли покажется привлекательной. Но кто-то должен был сделать этот шаг.

А теперь все мы будем расплачиваться...

– Теперь все мы будем расплачиваться за твой чертов атеизм, – говорит Дон.

Говорит вполне серьезно, и вдруг я словно бы кожей ощущаю импульс взаимного озлобления, маленьким смерчем ворвавшийся в нашу кабину.

„Ничего себе поездочка в будущее! – мерцает во взгляде Марио. – Провалитесь вы все с такими идеями... Куда ты увлек нас, и что с нами будет?..“

У Дона сжимаются кулаки.

Чувствую – он не прочь зубы мне высадить за наплевательское отношение к общепринятым табу, за нарушение простых и потому безусловных правил, писаных или неписаных... И за многое другое – не знаю, за что, но, с его точки зрения, непременно вызывающе безумное.

И у меня тоже настоящий внутренний взрыв. Хочется вскочить и разыграть роль взбесившейся гориллы – орать, бить себя в грудь и запугивать, запугивать, запугивать...

Хочется вогнать этих слизняков в истинно животный страх, чтобы знали, каково рисковать – не абстрактной вероятностью испариться среди бета-туннеля, сгустка чужой и загадочной мысли, а реальной собственной шкурой, которую вот-вот начнет дырять сорвавшееся с тормозов живое существо, переполненное нетерпимостью, отравленное невозможностью дальнейшего заточения в сразу сгустившемся комочке пространства.

Они решили, что бета-туннель лишь для таких, как я, лишь мне можно застревать в нем или красиво сгорать в момент выхода, а их предназначение – делиться мудрыми объяснениями и глубоко сожалеть о случившемся. Случившемся не с нами!

Но так не будет, не будет! Гореть, так вместе, потому что туннели сквозь Галактику, туннели в наше будущее – общая игра, и никому не дано выйти из нее на полпути. Здесь нет полпути – нет такого понятия, нет ни остановок, ни пересадок, никаких „Гуд бай!“ и „Чао!“, освобождающих от сотрудничества. Есть движение от общего начала к общему концу, нравится это или нет...

И я готов вбить в любого из них эту общность, вздеть их на рога этой общности, ибо сейчас я – разъяренный бык. Не какой-нибудь символ лунного бога или солнечной души и не ритуальная жертва Юпитеру или Илье-проку, а реальный разъяренный бык, и пусть перед моими глазами не красная тряпка, а архисовременное табло с горящей буквой – тем хуже. Я готов к самым изощренным – древним или современным – приемам борьбы, пусть считают меня жесточайшим из тиранозавров, я отступлю еще ниже по эволюционной лестнице – на любую ступеньку, за которую можно зацепиться, чтобы выжить.

Еще немного, и кто-то из нас бросится в атаку с выставленными кулаками, а потом пойдут в ход блейзеры – этого не миновать. И мы исполосуем сжимающееся пространство кабины лучами превентивных ударов, разрежем друг друга и общие стенки, чтобы впустить сюда застеночное ничто и бесповоротно – теперь уже бесповоротно – выпасть из времени...

Бред! Настоящий приступ коллективного бреда, за который мы все будем расплачиваться...

— Теперь мы все будем расплачиваться за твой чертов атеизм, — снова говорит Дон, но совсем уже иным тоном.

И вдруг начинает смеяться так, как только он один и умеет. Великолепные зубы блестят, волосы рассыпаются, колени подрагивают... За ним вступает Марио. Он смеется спокойно, смакуя смех — трудно поверить, что этот образцово-выдержанный парень способен взорваться миллионным восклицанием и жестов через несколько секунд после полета или тренировки. Я смеюсь едва не до слез.

Нет, это не истерика. Это вполне здоровый смех, необходимый и, возможно, спасительный. Впрочем, спасительный от чего? Если бы мы знали...

Кальма выключается первым. Он мгновенно становится серьезным и ко всему готовым — настоящим Испытателем люкс-класса.

— Что скажешь? — обращается он ко мне.

— Эффект лягушки, — отвечаю я, продолжая посмеиваться.

Кинг уже затих. Он исследует меня долгим взглядом. Сейчас его глаза — отличная ловушка. Ловушка для надежды. Ни один квант надежды не проскользнет мимо. Любой бета-туннель — детский капканчик для мух по сравнению с этим взглядом-ловушкой.

Вот уж проблема, так проблема — ребята уверены, что однажды проскочивший туннель знает некие правила, на худой конец, владеет петушиным словом. Если бы! Но ведь правил-то нет — тех правил, тех выходов, о которых любят рассуждать в логически безупречном внешнем мире, здесь попросту не существует. Туннель играет по-своему — чудовищно деформируя представления своих обитателей, он существует за счет этих деформаций, навязывает особый вариант бета-жизни, которая оттуда, извне, кажется мгновением путешествия-подвига. Кажется... Между тем она существует, эта бета-жизнь, и самое страшное — я вовсе не уверен, что в данный момент реклама несчастья на экране и ощущение сытости, недавняя вспышка озлобления и преследующий меня ловушечный взгляд Дона не являются ее фрагментами.

— Приступим, что ли? — спрашивает Кинг.

И мы не спеша — куда уж тут торопиться? — перебираем все возможные и невозможные варианты спасения. Мы не очень-то разбираемся в физике бета-туннелей, куда меньше наших теоретиков. Но вся загвоздка в том, что мы застряли в этом проклятом туннеле, а друзья-теоретики застревали только в своих уравнениях. И уж конечно, лучше путаться в значках на бумаге, чем в реальных завитушках пространства и времени и еще чего-то такого, что вообразило себя надвременной категорией и принялось размножать безотказные триггерные ячейки в гигантском полупьяном компьютере.

Впрочем, у нас нет выбора, и смешно думать о всяких там „лучше“ или „хуже“. А самое забавное – застрять в туннеле бета-кабина никак не может. Если верить теории, кабина должна немедленно испариться или уйти в собственное будущее, разумеется, очень далекое и светлое. Если верить табло и своим ощущениям – мы живы и на самом деле застряли, а будущим и не пахнет. На экране горит красная буква „бета“, а все датчики внешнего информатора на абсолютном, так сказать, нуле. Окружающий мир словно потерял свои характеристики – похоже, мы и вправду вывалились из него. Вывалились и почему-то проголодались, и чуть не перережали друг друга, и сейчас мирно обсуждаем безвыходность положения. И живы вопреки всем законам природы.

Да здравствуют обнадеживающие противоречия!

Однако же восклицаниями разбрасываться рановато. Надо искать выход и барахтаться...

Искать выход и барахтаться – в этом, коротко говоря, и состоит эффект лягушки.

Когда два года назад моя „десятка“ выпрыгнула из туннеля вблизи черной дыры, пришлось мгновенно, еще до поступления подробных данных с внешнего информатора бросить кабину в эргоманевр. Вся шутка заключалась в том, что, окажись мы на самом деле за эргосферой, в зоне чистого коллапса, такой маневр лишил бы нас даже нескольких законных мгновений жизни. Но мы выскочили как пробка из бутылки. А потом пришлось месяца три капитально ремонтировать психику – глубокий гипномассаж, и прочее, и прочее... До сих пор не могу забыть вкрадчивый голос профессора: „...в мире нет ничего такого, что имело бы черный цвет... нет цвета и быть не может... мир – крепкое ярко-красное полотно... в нем нет дыр... не может быть дыр...“

Н-да... Есть в мире черный цвет, и всяких других цветов в мире сколько угодно, и не такое уж крепкое полотно – дыр хватает... Но говорить о дырах легче всего, выбираться из них гораздо сложнее. Как найти спасительный маневр – вот в чем вопрос.

Почему мы ничего не ощущаем – ни тяжести, ни вибраций, ни архангеловых труб?

Во всяком случае включать генераторы до полного выхода из туннеля нельзя – получилась бы славная вспышка. И нет хуже положения у Испытателя, когда он лишен возможности куда-нибудь двинуться – к земле, к звездам, наконец, к черту на рога... Но что же делать – ползком выбираться из туннеля, что ли?

Обсуждение закончилось, да и обсуждать, в сущности, было нечего. Единственная стоящая идея повисла в воздухе сразу после нашего неповторимого завтрака, и, может, ее невысказанность чуть не довела нас до полного краха. Надо выйти из кабины и уносить ноги хоть пешком, хоть действительно ползком. Недурственная сенсация для репортеров – храбрый экипаж тринадцатой кабины по-пластунски преодолевает бета-туннель...

Встаю с кресла и, придерживаясь за все выступы подряд, пробираюсь к выходному отсеку.

– Твое право, кэп, – бурчит Дональд. – Но лучше бы мне пойти. Я поздравей тебя, кэп, и опыта работы за бортом у меня побольше...

Делаю веселый вид:

– Пойдешь следующим, Дон. Ровно через тридцать минут. Соберешь мои косточки, старина.

Марио через силу улыбается:

– Стоит ли драматизировать...

Стоит ли драматизировать... в самом-то деле – стоит ли? Это же просто как дважды два. Когда за твоей дверью происходит что-то непонятное, накапливается некая злая сила, не жди, не мучайся, не унижай себя – открой дверь и выйди. Со злой силой, а всякая угрожающая неизвестность – страшная злая сила, надо встретиться лицом к лицу. Она может убить тебя, растоптать, разорвать на части, но ты до последнего мгновения остаешься человеком. И не дожидаясь того момента, когда твое убежище начнет сжиматься – не стены, нет, а вязкая оболочка страха. Она залепит глаза и уши, загонит назад в горло последний протестующий крик, распластает, вдавит в землю, заставит воспринять как сладчайшее счастье твое растворение в пакостной луже, коей злая сила удостоила отметить твой порог...

Выходной отсек в полном порядке. Все на месте. Надо влезть в скафандр и двинуться за борт.

Страшновато? В общем-то, да. Можно открыть люк и за исчезающе малую долю секунды рассыпаться на атомы или на что помельче. Но ведь не распадается же стенка кабины. Кажется, на этот раз туннель устроил новую игру – пичкать нас иллюзиями бета-жизни ему надоело, захотелось побаловать нас бета-смертью. Нечто новое и непонятное...

В углу резко метнулась тень – словно лягушка прыгнула. Нет, всего лишь тень руки. А было бы неплохо иметь провожатым какого-нибудь простецкого подмосковного лягушонка. Лучше не какого-нибудь, а именно того, который так напугал Иринку...

Неужели где-то есть эти столетние заболоченные пруды, есть Иринка, нараспев читающая стихи, есть „огромность квартиры, наводящей грусть“, есть я без этого нелепого скафандра и вне туннеля, есть лягушонок, который прискакал немного поиграть с красивой тетей Ириной, а его не поняли и испугались...

Не поняли и испугались – самое человеческое сочетание реакций. Сначала лягушонок, потом меня и моего дела. И заболоченные пруды канули куда-то. Одно дело стихи, другое – реальные туннели, откуда так легко угодить к профессору с вкрадчивым голосом.

Иногда пруды оживают, лента памяти заполняется зеленовато-коричневыми колебаниями, солнечными бликами, Иришкиным шепотом...

И сразу, без перехода, словно склеили куски двух разных кинопленок, встает перед глазами первый визит в главный Бета-центр. Отборочное собеседование. Но дело не в нем, оно – стандартное действо в жизни Испытателя.

В вестибюле Центра сразу бросается в глаза презабавная скульптура. И какой шутник придумал поставить здесь эту огромную лягушку из яшмы на золотистом куске масла?

Впрочем, старая притча неплохо вписалась в огромное пространство вестибюля, который в одном из телерепортажей был определен как „врата в будущее“ Уж не в то ли, где мы теперь оказались?

У лягушки усталый вид, из-под левой задней лапы еще летят брызги. Она спасается, она работает... Она по уши заляпана сметаной и комочками масла, но она добила своего и создала свой кусок тверди, создала вопреки законам физики, ибо, в принципе, обычной лягушке не под силу такое дело... Между прочим, она еще не победила окончательно – скользкий островок масла плавает в целом сметанном озере. Не победила, но сделала главный шаг к победе... Может быть, смелость – комок затвердевшего страха?

Как бы то ни было, прощай, лягушка, древний символ воскресения. Спасибо за проводы...

Люк медленно отъехал в сторону, и я шагнул за борт. Вокруг мерцали звезды – обычные славные плазменные шары. Мое тело поглощало метры пространства, которое никуда не исчезало...

– Никуда не исчезало ваше пространство и исчезать не собиралось, – сказал я, заглянув в кабину ровно через двадцать девять минут и растирая затекшее плечо. – И кажется, оно по-прежнему трехмерно...

– Дон, приступай к ремонту внешнего информатора. Там еще добрый десяток повреждений. И в системе дубля тоже. Марио передаст сигнал выхода и сменит тебя через полчаса. Я хочу спать, – добавил я и сел в кресло.

Не стоит пугать ребят – пока ни к чему. Они сами все поймут. Туннель сыграл с нами, быть может, лучшую свою шутку – чуть не убил взаимным коротким замыканием. Созерцание вновь обретенного мира успокоит их, а ремонт – тем более, он кого хочешь заставит успокоиться. Вероятность полного восстановления невелика – туннель поработал на славу... Но нас будут искать, нас непременно отыщут...

– Надо посоветовать кое-кому сунуть это дурацкое табло куда-нибудь подальше, – пробормотал я, проваливаясь в крепкий и ярко-красный, как полотно Вселенной, глубокий сон, неизбежный пролог к моей следующей, возможно, более счастливой бета-жизни...

ЭФФЕКТ ЛАКИМЭНА

– Я не шучу, мистер Лакимэн, – повторил старик.

– В таком случае я отказываюсь понимать, в чем суть вашего предложения? Это же... Это же, простите, чертовщина какая-то. Мало ли что я захочу. Например, можете ли вы сделать меня Господом Богом? Существом с большой буквы, всемогущим, так сказать, и всеведущим?

– Пожалуйста, мистер Лакимэн. Я действительно могу исполнить любое ваше желание.

– Гм, странно... очень странно... Но зачем вам это, если не секрет? Ах да, понимаю, – Мефистофель и Фауст, не так ли? И разумеется, вы потребуете в залог мою душу...

– В залог? Нет, только не это... Хотя я и не совсем бескорыстен. Возможно, мне хочется кое-что выяснить...

Или тебе – как знать?

– Послушайте, бросьте эту нелепую игру. Не станете же вы уверять меня, что служите полномочным представителем ада на земле. Тем более, здесь умеют устраивать такое пекло, которое и не снилось мистеру Люциферу... Ладно, признавайтесь-ка побыстрее, что за товар вы хотите продать... Вы забавный коммивояжер, но, простите, у меня много работы, мистер... э-э... как вас?

– Имя мое не играет роли. На свете тысячи добропорядочных имен – можете дать мне любое. Полагаю, вы не станете требовать удостоверение. Разве проверяют документы у своего счастья, дорогой профессор?

– И все-таки, чем я должен заплатить за вашу необычную любезность?

– Ничем, профессор, считайте, что ничем.

– Э?!

– Да, да, ничем. Просто я предлагаю исполнить любое ваше желание. Подчеркиваю – абсолютно любое, но одно! Можете думать, что плата – в вашем выборе, в неосуществимости того, о чем вы сейчас промолчите... А душа ваша, поверьте, мне никак не нужна, не нужна ни в заклад, ни в подарок – я и так переполнен ею сверх меры...

Лакимэн пожал плечами и, прищурив глаза, на несколько минут погрузился в спасительный поток логики. Нет, это не сон и не галлюцинация – звонок старика полчаса назад... настойчивый голос в трубке – неотлож-

ное дело, касающееся Чарлза Лакимэна и, возможно, проблем, над которыми работает уважаемый профессор... Откуда этот тип узнал номер телефона?... Хотя нет ничего проще — справился на факультете, наконец, просто полистал справочник, обычный телефонный справочник... Так, понятно, наверняка досужий дилетант, ошалевший от знакомства с популярными книжонками и от великолепия собственных бредовых замыслов... Кстати, надо же, только-только наметилась отличная идея вывода, впрочем, очередная отличная идея за последние десять лет ускользающее уравнение... все равно — необходимо проверить, хотя бы построить эту неподдающуюся промежуточную оценку... в ней должен скрываться какой-то наблюдаемый эффект, но как его вытащить? И вот, вместо спокойного вечера за столом, вместо обычного предрастворенного салюта над еще одной свежезахороненной надеждой — очередной проект велосипеда с вечным двигателем... всегда так выходит у этих полусумасшедших любителей-открывателей — половина открытия известна с допотопных времен, а другая половина — сплошная нелепость...

— Мистер Лакимэн, я просил пятнадцатиминутную аудиенцию. Простите за назойливость, но большим временем я и сам не располагаю. Неужели вам так трудно высказать самое главное свое желание?

— Погодите немного, мистер Загадка, я никак не пойму, в чем здесь фокус. Не торопите меня, пожалуйста.

Не торопите, не заставляйте быть невежливым... главное желание — чтоб он поскорее убрался из моего кабинета... должно быть, еще один признак старости — больше всего хочется, чтобы тебя оставили в покое... Это верно, он просил только четверть часа... в конце концов, можно устроить себе небольшой перерыв...

Странный тип с манерами молодого комми... может, это и вправду маска, неподвижная старообразная маска, а не лицо... и я буду таким? Карнавальный вариант Лакимэна, завершающего свой круг?... А ведь что-то есть... вот только взгляд, слишком много понимающий взгляд без ненависти и сострадания — как два ракетных колодца, раскрытых навстречу ясной, трижды рассчитанной цели... тьфу, мистика... Не в лице ведь дело, хотя именно оно делает пришельца стариком, и нет ему другого имени... мистер Загадка!.. вот так-то, уже не посетитель, даже не ночной гость, как принято говорить в старых детективах, а прямо — пришелец... не хватает только наскоро сколотить для него славную галактическую биографию — великий капитан звездолета пытается установить контакт с узколобым земным профессором, полагая, что обнаружил крупицу разума...

Стоп! Надо сосредоточиться, разложить все по полочкам, уж полочек-то в науке с избытком. Понятно, предложение старика — мистификация, не стандартная, но все-таки — мистификация. Чего не может быть, того не бывает никогда, или наоборот — оно встречается слишком часто, и никому не приходит в голову возмутиться. Итак, необходимо объяснение, единственно верное научное объяснение поведения этого типа...

О! Конечно же, он сумасшедший, самый заурядный беглец из лечебницы для умалишенных... мания божественного величия — любопытнейший синдром. Как бы связаться с подходящим учреждением? Попросить его обождать в соседней комнате? Самому выбежать? Н-да, положенье-це...

— Оставьте ваши подозрения, дорогой профессор, это по крайней мере невежливо. И помните — у нас совсем мало времени...

Кстати, что есть время? Было бы интересно задать ему этот скромный вопрос, но прилично ли подыгрывать этому... этому... Да что ж творится!

— Вы умеете читать мои мысли? — испуганно спросил Лакимэн.

— Мне вовсе нетрудно читать ваши мысли, видимо, гораздо легче, чем вам разбираться в них. Не обижайтесь, Лакимэн, — так бывает... Иногда мы нуждаемся в переводчике, в том, кто способен перевести нас на нам же доступный язык.

А ведь старик действительно не прост, далеко не прост... во всяком случае он ловко читает мысли и даже слегка иронизирует по поводу прочитанного, иронизирует вполне справедливо...

Впрочем, читать готовые мысли не сложнее, чем их формулировать... особенно когда пытаешься сообразить, что самое главное, а что самое второстепенное...

Лакимэн снова прикрыл глаза. Ему уже не хотелось разоблачать странного пришельца. Пожилой профессор медленно запутывался в сказочных сетях и не испытывал ни малейшего желания вырваться из их заманчиво переливающихся хитросплетений, чтобы вновь уйти в безобразно правильный мир научных фактов.

Пусть этот старикан — настоящий джинн из укутанного тысячелетней пылью кувшина, пусть он неизвестным способом перенесся с далекой планеты, обитатели которой могут творить любопытные добрые дела и выглядят великими колдунами в наших до обидного узеньких человеческих масштабах, пусть так — какая разница? Вспомнить хотя бы детство — очень похожие на это видения во сне и наяву, когда Чарли выпрашивал для себя карьеру астронавта или мультимиллионера, освобождал от злых напастей персидскую принцессу и отбивал у мускулистых идиотов все мыслимые чемпионские титулы.

Как ни странно, болезненно-привлекательная картинка встречи с такой вот щедрой всеильностью преследовала его повсюду, не оставляла ни в школе, ни в университете, только желания менялись, становились разумней и практичней — круг интересов все больше стягивался, стремился сжаться в точку, обозначающую главную научную цель. Впрочем, в трудные дни, о которых Лакимэн меньше всего любил вспоминать, ему грезились толстенные пачки долларов, и он немедленно уходил из фирмы в чистую науку или исцелял мать невероятными азиатскими средствами, иногда он получал безграничную власть и ссыла на необитаемый остров профессора Дрэгса, затормозившего на несколько беспросветных лет развитие работ своего молодого коллеги... Тени детства по-своему оберегали

от боли, нелепо растопыренными локотками пытались защитить от обид... Постепенно мечты начинали плестись за жизнью, следовать всем ее непонятым и далеко не простым поворотам, но ожидаемое чудо, конечно же, не свершалось — ни в юности, ни много позже, когда к Лакимэну пришла некоторая известность и устойчивая репутация человека с богатым воображением. А теперь ему нужен был лишь тихий кабинет вдали от суеты заседаний, административных баталий и представительского пустозвонства — необходимо подытожить себя, иначе и вовсе иссякнет желание довести до конца свои старые замыслы, главное дело жизни, до которого, разумеется, никогда не доходили руки — такова уж судьба главных дел жизни, вечно затираемых насущностями и второстепенностями... А этот старик пришел поздно, опоздал всего на несколько лет, а может быть, десятков лет — как знать...

— Я жду, профессор...

Я очень давно жду, Чарлз Лакимэн. Не восемь с половиной минут, а почти пятьдесят лет. Ты можешь думать что угодно, но вряд ли удастся объяснить тебе, Чарлз Лакимэн, кто я и зачем потревожил твой воображаемый покой, твое якобы прямолинейное и равномерное движение к цели, движение, для которого не хватит никакого времени, тем более — твоей жизни... Я — твой успех или полный крах, ты сам выберешь, но не пытайся разгадать меня, проникнуть в суть своего иного Я, Я — вне рамок, чудом проскочившего мимо жестких валиков формирующего нас конвейера, Я неприкасаемого и непостижимого — в этом счастье. Тебя вновь переполняют фантастические образы — это прекрасно. Еще немного, и ты сумеешь совершить тот самый прыжок, который обессмертит твое имя, что, разумеется, бессмысленно, как бессмысленны и иные человеческие символы. Обессмертит — таков штамп, а правда в другом — в тяжести несвершенного. Свинцовые грузики иллюзий будут и дальше тянуть тебя в несуществующие глубины, на поиски уравнения, которого нет и никогда не будет. Есть только путь, и от вешки, которую ты сумеешь поставить, люди пойдут совсем иной тропой, не похожей на твою...

Тебе грезится звездный капитан, психологический тест землян, порученный ему. Прекрасная сказка... Представь себе мой отчет на далекой и вовсе не похожей на Землю планете: пожилой фермер попросил новенький универсальный трактор, юный художник — несколько сотен долларов, чтобы дотянуть до следующей выставки, писатель средних лет — чудо-компьютер для штамповки высококалорийной прозы, ручное изготовление коей отвлекает его от любимого дела, то бишь рыбалки... Счастлив этот мир в преодолении своих несчастий, вернее, счастлив, пока преодолевает их... Проси же, проси, черт возьми. Я жду уже целых девять минут и полвека...

— Я жду, профессор.

— Хм-м... У вас наверняка были другие случаи — не расскажете ли о них? И ваш замысел станет как-то прозрачней...

— Прозрачней? Но поверьте — в других случаях нет ничего интересного.

Лесоруб попросил новый мотор для пилы. Домохозяйка – небольшого комнатного слоненка. Философ, чужак человек, попросил приоткрыть Абсолютную Истину. Забавно, не правда ли?

– Понятно. Первые два случая совершенно просты – у всякого порядочного волшебника хватает и слонов и моторов, но как вам удалось вернуться перед философом?

– Видите ли, Лакимэн, хороший мотор наверняка полезней Абсолютной Истины. Вы ведь не захотели становиться Богом.

– И все-таки, как вам удалось приоткрыть ему Абсолютную Истину?

– Простите, профессор, но, может быть, и вам хочется?

– Нет-нет, что вы.. Ни малейшего желания...

– Ну и правильно. Ведь философа-то попросту стошнило...

Ты сидишь и удивляешься: Боже, какие идиоты, на кой дьявол мотор тому, кто единым духом может стать хозяином всех лесов и лесопилок, получить вагон бесплатного джина, или корону галактического императора, или жениться на племяннице окружного прокурора, или... Именно – или-или... А ведь это смертельный номер – побывать в шкуре вселенского буриданова осла, сам увидишь...

– Я жду, профессор.

Лакимэн ущипнул себя за руку и вдохнул вполне реальный сигаретный дым. Вот что странно – к лицу ли всесильному существу столь примитивное удовольствие? Он много курит, решил Лакимэн, почти как я...

Он мог бы придумать что-либо позффектней воздушного фильтра на „Филипе Моррисе“

Зачем, зачем... тысячи зачем и почему – как будто они, эти прелестные почемукалки, чем-то помогут, заставят поверить в непонятный и явно запоздалый рецидив детских фантазий...

– Видите ли, мистер Икс, мне, признаюсь, немного не по себе – трудно осознать все происходящее. Поймите меня правильно – я должен что-нибудь сообразить, построить какую-то модель... Кто вы? К чему вам мои желания? Кого вообще они могут интересовать? Я несколько утомлен, и, может быть...

– Да поверьте же, в данный момент я не менее реален, чем вы, Лакимэн, в каком-то смысле реальной вас, как знать... И ни одна ваша модель не ухватит существа дела, потому что вы не знаете всех степеней реальности, а ваша логика – мячик, летающий между игроком „да“ и игроком „нет“

Какие-то буддийские фокусы, вздохнул Лакимэн, вот этого я никогда не понимал и не пойму, и Кэт была тысячу раз права, когда послала меня подалее, – но неужели ее мазня соответствовала какому-то особому миру вне испачканных холстов? А чему соответствует он?

– ...и, по-моему, ничего опасного я вам не предложил – напротив, мои слова вызвали у вас благоприятный отклик, не так ли?

Проси же, проси... бессмертие, славу, деньги, пронзил мозг профессора полузабытый срывающийся голосок маленького Чарли... единственный случай – неповторимый... никогда, нигде, ни при каких условиях, ни за какие молитвы – не-пов-то-ри-мый!.. не упусти... не упусти...

— Хорошо, но сначала я хотел бы кое-что проверить, мистер Бог, да-да, проверить! Я уже много лет пытаюсь вывести одно весьма полезное уравнение. Оно связано с новой космологической теорией и позволило бы единым образом объяснить очень многое — знаете, модель Первовзрыва, программа эволюции Вселенной, записанная на исходных сверхплотных структурах, вакуумные флуктуации, и все такое... Не уверен, успею ли завершить свою работу, но, похоже, вывод уравнения не за горами — я неисправимый оптимист. Не подумайте, что я хочу предложить это дело вам — полагаю оно слишком сложно даже для создателя домашних слонов и распространителя Абсолютной Истины. Но недавно я сообразил, что по пути должен обнаружиться совершенно новый эффект — чрезвычайно любопытное явление. Понимаете ли, есть механизм, ограничивающий всякую мощность излучения, светимость любой звезды и Вселенной в целом... Я его чувствую, я знаю, что его можно будет обнаружить экспериментально — и это окажется чистой реальностью без всяких ваших степеней... Я просто убежден, что отсюда посыплется много неожиданного, например, станет ясно, что черные дыры не выгорают дотла, даже после мощной финальной вспышки кое-что остается — как бы сверхплотные зародыши будущих вселенных, понимаете? Вам вообще-то известно, что небольшие черные дыры должны светиться — те, которые вроде бы все поглощают, не выпуская ни одного кванта наружу, однако же полыхают вовсю, ибо возбуждают окружающий вакуум... Вам понятно?

Меня понесло, как на семинаре, словно рядом не хитрый мистификатор, а полный зал специалистов по квантовой гравитации, вдруг осознал Лаки-мэн, да и для коллег так не годится — слишком цветисто, в стиле начинающего популяризатора... Воистину понесло...

— Считайте, что понятно, — вздохнул Старик.

Считай, что я все понимаю, Чарли, все-все и еще немного сверх того... Или, предположим, я даже не слышал о черных дырах — какая разница? Важно, что они должны светить, несмотря на все гигантское тяготение, стремящееся сотворить из них космические могилы, заставляющее захлебываться некогда сверхяркие звезды, захлебываться опаснейшим собственным молчанием, молчанием-ловушкой. И все-таки они светят, светят и даже взрываются. Это обнаружили задолго до тебя, и ты поверил в светимость черных дыр, и теперь ты хочешь доказать их несгораемость, неуничтожимость загнанных за черту коллапса и доведенных до состояния адского взрыва бывших сверхярких звезд. Дерзай, Чарли, дерзай хотя бы в память о незабвенном Дрэгсе...

— Но вот беда, — продолжал Лаки-мэн, — я не могу оценить тут одно промежуточное выражение. Предел светимости, о котором я говорю, — это пятая степень скорости света, деленная на удвоенную гравитационную постоянную, но вывод... как дать вывод? Наверное, этого нельзя сделать без общего уравнения или без гениальной интуиции, но ни того, ни другого у меня, к сожалению, нет. В общем, нельзя ли устроить так, чтобы на моем столе оказалась э-э... короче говоря, нужная оценка в более или менее

правдоподобном виде. Двойная польза – вы сэкономите мне добрый месяц рабочего времени, может, и целый год... ну... и ваше предложение станет как-то оправданней.

Профессор Лакимэн с удовольствием откинулся на спинку кресла. Он нашел единственно верный ход, достойный настоящего ученого, – экспериментально проверить возможности своего странного гостя. Чародей не обманет физика!

Улыбаясь своим мыслям, Лакимэн снова прикрыл глаза. Если этот мудрец не обыкновенный плут и мистификатор, то он, Чарлз Лакимэн, найдет что попросить, непременно найдет... Нет-нет, не стоит просить всезнание – богами движет лишь тщеславие, они, по определению, лишены любопытства, а так жить в общем-то скучно... Все равно существует немало путей – нечто незаурядное, хотя бы путешествие на Марс или полная коллекция марок всех времен и народов, кое-кто лопнет от зависти... Свинство, обычное эгоцентрическое свинство, не хватало еще потребовать пару миллионов или герцогский титул... Универсальное средство от рака или полная ликвидация ядерных зарядов – вот что действительно нужно. Поставить всех этих дрэгсов и их неимоверно расплодившихся наследников, дружно чавкающих вокруг всевозможных секретных кормушек, в очередь безработных...

Резко мигнула настольная лампа. Рядом с ней на кипе исписанной бумаги появился новый листок, сверху донизу заполненный формулами. И не как-нибудь – рукой Лакимэна, его мелкими аккуратными закорючками. Едкая смесь восторга и испуга захлестнула Лакимэна, он чуть не задохнулся от нее.

– Ладно, сдаюсь, – с трудом выдавил он. – Сейчас я скажу вам о своем желании.

– Прости, Чарли, – очень тихо ответил Старик, – но речь шла об одном желании. Я исполнил его, не так ли? Никто не виноват, что ты не поверил мне сразу. Прощай.

Лакимэн удивленно повернулся к гостю, но увя – того в кабинете не было, никого не было, да и быть не могло в этот вечер в этом кабинете. Полумрак, бумаги, книжные ряды вдоль стен... Стараясь не смотреть на освещенный угол стола, Лакимэн поднялся, подошел к окну, открыл его и застыл, вдыхая свежий лесной воздух. И совсем как в детстве, его ресницы играли игольчатостью золотых звездных крестиков... удивительная ночь... покой, словно некуда больше торопиться, словно все, подлежащее счету, давно рассчитано... покой, если отбросить слабое, но назойливое влечение – вернуться, хотя бы издали взглянуть на тот листок...

Окно так и осталось открытым.

Первые строчки почти полностью совпадают с уже проделанными оценками... почти полностью... но почему дальше так неожиданно... совсем простой, замечательно остроумный ход... и это соотношение, обведенное рамочкой, – оно стоит двух рамок... так-так...

Лакимэн поудобней устроился в кресле, придвинул стопку чистой бумаги и принялся за расчеты. Постепенно глаза его расширились, на лице выступили красные пятна. Отбросив карандаш, Лакимэн уставился невидящим взглядом в потолок. Рука нащупала сигареты, он жадно затянулся, выключил лампу. В комнату осторожными серыми струйками просачивался рассвет.

Чарлз Лакимэн до конца своих дней сожалел, что репутация фантазера не позволила ему обнародовать правдивую картину своего предсказания. Он сообщил о событиях волшебной ночи лишь одному человеку — своему другу Лео Косситу, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы легенда стала доступна всем. Кому не известна очаровательная болтливость великого Лео... Впрочем, на этот раз Коссит легко избежал порицания. Еще бы! Ведь именно он экспериментально обнаружил трижды парадоксальный эффект Лакимэна.

Минск, 1976

НЕЧТО НЕВОООБРАЗИМОЕ

(немного фантастический рассказ)

*И даже не в том дело, что
охотник убивает птицу, — он
убивает полет.*

РАМОН ГОМЕС ДЕ ЛА СЕРНА

1

Следователь Ахремчук попросил предельно искренне и подробно изложить мою точку зрения на события, ставшие причиной возбужденного против меня уголовного дела.

По-моему, лучше было бы ограничиться материалами предыдущих допросов. Действительно, подробный рассказ обо всем, что интересует следственные органы (да еще и в свободной манере, на чем настаивал Ахремчук,) требует определенного писательского дара, а я таковым не обладаю и вынужден буду придерживаться сухих фактов, которые вряд ли помогут понять суть происшедшего. Следователь Ахремчук просил меня соблюдать последовательность эпизодов по предъявленным мне обвинениям (или подозрениям — я не совсем понимаю эти процессуальные тонкости). Это нелегко, так как на самом деле события развивались как бы одновременно и отнюдь не параллельными потоками. Потоки скрещивались и пересекались, и с некоторого момента проследившее отражалось в моем сознании какой-то скрученной, все сокрушающей струей.

Но я постараюсь выполнить по мере сил все требования следствия.

Еще одна предварительная ремарка — у меня очень хорошая, иногда просто фотографическая память. Поэтому те события и даже диалоги, которые воспроизводятся, в точности соответствуют истинному положению дел, во всяком случае, тому, что воспринималось лично мною. Надеюсь, проверка этого утверждения во всех доступных следствию ситуациях убедит его в моей полной искренности.

Настоящим подтверждаю, что я, Скородумов Вадим Львович, сотрудник Научно-исследовательского центра психореанимации, действительно изобрел аппарат психосейфетор и применял в экспериментальных целях (разумеется, по утвержденному плану работы лаборатории) ряд самостоятельно изготовленных действующих моделей указанного аппарата. В нашем Центре его часто называют „правдоматом“, и это неофициальное, но крайне меткое название я тоже буду использовать в тексте.

Суть изобретения проста. Правдомат дистанционно воздействует на некоторые электромагнитные ритмы человеческого мозга и резко снижает уровень ощущения опасности. Основным проявлением человека, испытывающего действие психосейфетора, становится стремление говорить правду и только правду, иными словами – активно конструировать вербальную модель воспринимаемой им реальности, не искаженную чувством самосохранения.

Теоретически механизм действия аппарата изучен пока довольно слабо. Недостаточно исследован и диапазон побочных эффектов. Однако ни в одной из проведенных в нашей лаборатории экспериментальных серий не было обнаружено опасных для здоровья последствий.

Цель, с которой создавался аппарат, – лечение некоторых форм паранойального синдрома, особенно бреда преследования. Конечно, это лишь узкая, так сказать, стартовая цель – реальный спектр применения психосейфетора наверняка много шире.

Параноик, испытывающий приступы бреда преследования, – страшное зрелище. Это одно из самых жалких состояний человека – состояние зверька, загнанного в угол силой собственного воображения. Надо отметить, что в относительно легкой невротической форме бред преследования – довольно распространенное явление, всем нам в какой-то мере свойственно преувеличивать намерения и возможности близких.

С помощью правдомата пациент временно освобождается от чувства повышенной опасности, и, если эту фазу закрепить (скажем, гипнотически), то за несколько сеансов больной должен полностью избавиться от своего бреда, что и подтвердилось экспериментально (38 полных излечений из 40 случаев, в двух остальных синдром особым образом осложнен, эти случаи требуют особого подхода).

Любопытным и, к сожалению, заранее не предсказанным явлением оказалось своеобразное последствие психосейфетора – мне удалось установить, что повторные сеансы заметно продлевают фазу пониженного ощущения опасности и человек какой-то период продолжает говорить исключительно правдиво даже без использования аппарата.

Сразу хочу предупредить возможную ошибку – состояние, в которое попадает пациент, отнюдь не соответствует некой полной эйфории. Снижение чувства самосохранения странным (то есть пока еще не объясненным как следует образом) не распространяется на рефлекторные систе-

мы, на двигательные процессы. Это значит, что человек, находящийся в поле действия правдомата, может, например, вполне прилично вести автомобиль или самолет, но при этом высказывать идеи, потенциально крайне опасные для его отношений с окружающими.

Достаточно частые контакты с психосейфетером порождают, по-видимому, устойчивое закрепление правдивости, и дальнейшие эксперименты подтвердят или опровергнут мою гипотезу о том, что человек за 15–20 сеансов может необратимо перейти в фазу абсолютно откровенной личности. Из этого не следует, кстати, что он начнет излагать всем встречным подробности своего недавнего пребывания в туалете или что-то в этом роде. У него вовсе не разрушаются этические представления, он вполне способен следовать нормам общепринятой морали. Но он непременно обнѣжит те моменты, которые, с его точки зрения, данной морали противоречат, не соответствуют естественным путям развития человека и общества.

Разумеется, я понимаю, что данное изобретение может рассматриваться и как большое благо и как большая беда – обычно различия между такими крайностями не столь уж велики, слишком многое зависит от того, под каким углом мы смотрим на прогресс человеческих отношений. Однако мне хотелось бы избежать общих теоретизирований и рассказать только о тех событиях, которые непосредственно связаны с вольным или невольным внедрением правдомата.

Заранее приношу извинения всем тем, кто по служебному долгу или из чистого любопытства ознакомится с этими показаниями, возможно, кое-кто из них будет неприятно поражен некоторыми моими откровенностями, попытками говорить вслух о вещах, быть может, и общеизвестных, но обычно умалчиваемых или нашептываемых в узком кругу с той или иной долей стыдливости. Отчасти смягчающим эту мою вину обстоятельством служит то, что мне, более чем кому-либо иному, пришлось контактировать с правдоматом, и, соответственно, я более других испытываю последствия своих опытов.

3

Я категорически отвергаю обвинение по первому из предъявленных мне эпизодов – обвинение в преднамеренном шельмовании академика Топалова К.И., проведенном мною якобы из чувства мести.

Поясню следующее. В Центре, которым руководил Константин Иванович Топалов, я работаю давно, вот уже 17 лет. Тот факт, что Топалов и его ближайшее окружение считают меня человеком бесперспективным, самого меня никоим образом не унижает и даже не задевает. Не задевает потому, что их позиция соответствует истине – в их системе я действительно бесперспективен. Меня не привлекает их подход к делу, раздражают их действия, обеспечивающие систематическое и все более заметное отставание нашего Центра от уровня мировой науки. Наши исследо-

ватели не хуже, а во многих направлениях и лучше других умеют нащупывать новое и оригинальное, но мы тонем в процессе доводки и внедрения. Теряем время и основную энергию на борьбу с топаловыми и иже с ним, на пробивание инстанций, которые ни в каком деле не видят проку, если оно не способствует быстрому росту их личного престижа и благосостояния.

Сразу оговорюсь, я вовсе не считаю Константина Ивановича очень плохим человеком или особо выдающимся проходимцем. Безусловно, он конъюнктурщик выше среднего, но бывают деятели и почище. Топалов возрос на неслетлой памяти лозунге „Не высовывайся!“, и, надо сказать, действительно многого добился под этим лозунгом. С одной стороны, его работы за стенами нашего Центра практически нигде не упоминаются (не считая, разумеется, стандартных дружеских реверансов), с другой – за его спиной скала пятидесяти подготовленных кандидатов и докторов наук. Если я начну рассказывать нечто общеизвестное – дескать, он сам, академик Топалов, постоянно дает хорошие отзывы на диссертации, исходящие из таких-то и таких-то институтов, и по странному стечению обстоятельств отзывы на работы его учеников поступают исключительно из тех же мест, то многие удивленно разведут руками: а как же иначе? Если я подчеркну, что список из трехсот научных трудов (а из них процентов 90 падает почему-то на последние 20 лет, в течение которых Топалов руководил нашим Центром) – это, мягко говоря, несолидно, несолидно, имея в виду не только подписи под статьями своих аспирантов и соискателей, но и серьезные самостоятельные исследования, то те же многие назовут меня мелкокопателем и будут правы. Как ни смешно, они будут правы в своей очень уж популярной системе отсчета...

Поэтому я не стану описывать всякие подобные „мелочи“ Не стану привлекать внимание и к тем явлениям, сквозь которые Топалов некогда ускоренно пророс из толпы посредственных кандидатов наук в разряд видных ученых – с этим еще придет время разобраться, причем разобраться в ином, сверхтопаловском масштабе. Попробую ограничиться сутью наших с Топаловым отношений.

Считается, что эти отношения были вполне нормальны, едва ли не взаимоприятны вплоть до знаменитой истории с инверсином-80. Легенда, венчающая устное народное творчество НИЦПРА, утверждает, что еще в то время, около трех лет назад, я был на грани завершения работ над своим аппаратом, что, по мнению наших гомеров, давало мне сразу докторскую степень без всяких промежуточных этапов. Далее легенда говорит, что Топалов стал тогда хитро маневрировать, дабы сорвать мою работу, и в конце концов едва не добился своего. С одной стороны, он знал, что профессор Грейв в Штатах интенсивно разрабатывает свой вариант психосейфетера, с другой – ему очень не хотелось иметь под собой сотрудника, добившегося чего-то экстраординарного. Все просто, как в сказке! И наконец, согласно той же легенде, я специально наелся экспериментальных таблеток инверсина-80, чтобы устроить приличный скандал, привлечь внимание высокого руководства, но погорел на этом скан-

дале; чуть не вылетел с работы, нажил себе в лице Топалова вечного врага, затаил на него смертельную обиду и т. д., и т. п.

Но все это не правда, а лишь правдоподобие, примитивная схема стычки молодого неопытного идеалиста с неким абстрактным его учено-бюрократическим превосходительством.

Правда в том, что к началу инверсиновой истории я вполне отчетливо осознал реальную угрозу закрытия темы. Опыта хватало и на понимание того, что попытка переиграть судьбу правдомата на самом высоком уровне (вплоть до товарища К.С.Карпулина) тоже обречена – никто не захочет (а захочет – не сможет!) приструнить Топалова. Кто я, в самом деле, по сравнению с вхожим в бог знает какие сферы академиком? А понимая все именно так, можно было сопротивляться лишь для очистки собственной совести. Я и барахтался понемногу на основе этого несколько неопределенного принципа моральной экологии...

Вообще-то, с очисткой получилось не очень красиво – впоследствии Топалов сумел выставить меня таким жалобщиком, едва ли не врожденным кверулянтом (так у нас называют больных с синдромом сверхценных идей, почти всегда активно сутяжничающих). Разумеется, сейчас ему не очень-то верят, он спущен, так сказать, в ранг падших ангелов, а в те времена кредит доверия Топалову казался мне бесконечно высокой стенкой. И высота, и толщина этой стенки подчас бесили меня, но приступы злости претворялись отнюдь не в жалобы по инстанции, а сгорали внутри, превращаясь в постоянно нарастающую головную боль.

Часто и подолгу болела голова. Из-за нее все и началось – профессор Клямин, которому я как-то вечером пожаловался на свое недомогание, по дикой своей рассеянности сунул мне вместо пентальгина пару таблеток инверсина-80, новейшего препарата, который так никогда и не вышел в клиническую практику.

Инверсин – одно из самых фантастических психотропных средств. Он словно бы выворачивает мозги наизнанку – благодаря какому-то не совсем ясному механизму человек начинает говорить то, что думает, а думать то, что обычно говорит. К сожалению, этот препарат профессора Клямина не успели приспособить к лечению той или иной конкретной болезни – инверсин лишь немного снижал избыточные психические напряжения, связанные с рядом синдромов, в остальном же оставался чем-то вроде эн-плюс-первого лабораторного чуда света.

Ну, а после истории со мной, когда Клямина отправили на пенсию, весь запас инверсина был торжественно списан и уничтожен в присутствии более чем компетентной комиссии.

Но это произошло позже, а в тот вечер я решил принять что-нибудь от головной боли и как следует выспаться. Выспаться мне действительно удалось, а утром я, даже не подозревая о поглощении сильной дозы инверсина, начал творить нечто невообразимое.

С утра меня вызвал заведующий лабораторией Всеволод Тихонович Последов и бодро сообщил — нужно срочно ехать на картошку. Ненадолго, недели на две, но выхода нет — одна сотрудница уходит в декрет, у другой малолетний ребенок, кто-то на конференции, кто-то еще в отпуске, кто-то уже на картошке, и вот требуют, черти, еще двух человек. Именно так — „черти“, иначе товарищ Последов при своих начальство не называет. Тем самым в глазах сотрудников он завоевывает некое сочувствие к себе как к человеку тоже подневольному.

Разумеется, я сразу сообразил, что двухнедельная ссылка входила в план Топалова. Так ему проще обеспечить нужное решение о закрытии моей темы. Не надо вызывать на ученый совет, выслушивать всякие колкости, углубляться в давно уже небезопасные для академика дебри научных дискуссий.

— В общем, неплохо отдохнете, — добродушно завершил свое сообщение Последов. — Погодки-то отменные — прямо лето...

— Никуда не поеду! — перебил я его. — Пора кончать с этим безобразием, Всеволод Тихонович.

Перебил и сам себе страшно удивился. Что за резкость? Тем более что в мыслях моих проносилось нечто вполне ответоудобное: „Жена на бюллетене... Две непрерывно контролируемые серии опытов завершаются только через неделю... Сам амбулаторно лечусь от гайморита...“ Иными словами, обычно весьма радикальный внутренний голос вел себя тихо, подсказывал слова правильные, безопасные, ведущие кратчайшим путем к желанной цели.

— То есть как? — слегка возмущился Последов. — Будто вы не знаете о моем отношении ко всем этим осенне-летним кампаниям! Не надо, Вадим Львович, беречь мои раны... И ничего не поделаешь... Подскажите-ка лучше мне, кого с вами объединить. Может, лаборантку Милочку, а? — хитрово улыбнулся он. — Вы-то возражать не станете, только нам тут без нее никак не обойтись...

Но я не принял его заигрываний. Я категорически отказывался от поездки, мотивируя это самыми резкими оценками порочной практики оттягивания научно-инженерных кадров на малоквалифицированные работы. Я свободно сыпал давно известными в нашей лаборатории цифрами и фактами — от реальной стоимости одной добытой таким способом картофелины до глобального ущерба делу научно-технического прогресса.

До Всеволода Тихоновича постепенно дошло, что разговор идет всерьез, что его сотрудник не просто пытается отвертеться от неприятного копания в землю и многодневного отсутствия бытовых удобств, не просто уклоняется от очередного удара дирекции по своей теме, а замахивается на нечто большее. И тогда Последов разозлился по-настоящему.

— Значит, по-вашему, весь наш коллектив — сплошные тупицы и бездельники? — ехидно спросил он. — Значит, вы один умница и праведник,

да? Так вот, или вы немедленно побежите домой собираться и завтра к восьми ноль-ноль явитесь к нашему подъезду с большим ведром, или я сию минуту сообщу Константину Ивановичу содержание нашего разговора. И тогда пеняйте на себя!

Я еще раз отчетливо подтвердил свой отказ, и Последов тут же связался с директором. Отмечу, что разговор наш он передал в моем присутствии и довольно точно. Он вообще не вредный мужик, наш Всеволод Тихонович, — просто в данном случае он попал в безвыходное положение. Но и в этом положении он проявил себя неплохо — как бы протянул мне тоненькую спасительную соломинку, сославшись в сообщении Топалову на мои незавершенные экспериментальные серии...

Топалов тут же вызвал меня к себе и попросил высказаться в присутствии секретаря партбюро товарища Чолсалтанова. Я высказался, они не мешали, краснели, бледнели, но не мешали.

Потом Чолсалтанов хмуро и серьезно спросил, обращаясь почему-то к портрету над головой Константина Ивановича:

— Верно ли я понял, что товарищ Скородумов считает нас саботажниками?

— Мы и есть саботажники, — вздохнул Топалов. — Мы саботажники научно-технического прогресса, потому что помним о картошечке, которую любят кушать наш коллега-правдолюб. Вероятно, нам с вами, Салтан Ниязович, придется съездить в колхоз и собрать для товарища Скородумова хороший урожай.

Но Чолсалтанов был настроен отнюдь не юмористически. Конечно, он деликатно улыбнулся словам Топалова, однако взгляд его искрился раздражением.

— Вы понимаете, Вадим Львович, кто именно спускает нам разнарядку на рабочие руки? — многозначительно спросил он. — Вы понимаете, чьи решения вы подвергаете своим безответственным нападкам?

Только я хотел сказать, что понимаю, что готов отвечать за свои нападки на любом уровне, как нас перебили. В кабинет ворвалась очаровательная Клара Михайловна и срывающимся голосом сообщила:

— Там... Там сами Ким Спиридонович к вам приехали!

Именно во множественном числе!

Так я познакомился с товарищем Карпулиным.

Карпулин вошел в кабинет почти вслед за Кларой Михайловной и смущенно-любопытствуя заулыбался — дескать, делайте свои дела, я не помешаю, а, кстати, что за дела вы тут делаете?... Топалов поспешил к нему, расшаркался, усадил в кресло.

— Вот, — сказал он с неподдельной озабоченностью во взоре, — товарищ Скородумов обвиняет нас в саботаже научно-технической революции. Мы тут всем коллективом уговариваем его сельскому хозяйству помочь, а он утверждает, что такая помощь подорвет нашу сегодняшнюю экономику и опрокинет наши грандиозные планы...

— А вдруг подорвет? — внезапно перебил его Карпулин. — Подорвет и опрокинет! Вы вот никогда не задумывались над такой возможностью?

– То есть как? – поразился Чолсалтанов. – Нам же из райкома... Вы же в курсе...

– Вот-вот, – ухмыльнулся Карпулин. – И указание по всей форме, и я в курсе, а потом получается – подрывали и опрокидывали... Все всё понимали, а налицо резкий спад, и самое время бить себя в грудь и каяться в смысле очередных перегибов... Ладно, – ободряюще кивнул он совсем было спешившим Топалову и Чолсалтанову, – не следует вам надолго отрываться от своих ученых дел. А ты, товарищ Скородумов, принципиально против своей кандидатуры, да? – обратился он ко мне.

– Против. И своей, и большинства других.

– А тебе трудно придется, – продолжал Ким Спиридонович. – Это, понимаешь ли, как на фронте – рота идет на дзот, а один умник сидит в окопе и понимает, что командир – дурень, что нет смысла класть полроты, чтобы среди бела дня захватить эту паршивую высотку, ее в темноте почти без потерь взяли бы... Знаешь, чем кончают такие умники?

– Трибуналом, – ответил я. – Такие умники кончают трибуналом, а рота – героическим ополовиниванием состава на подступах к укреплениям. Потом в штабе полка находится другой умник, который соображает, что вся операция с другим дзотом будет завершена парой авиабомб или трехминутной артподготовкой. И он кончает орденом.

– Ты смелый парень, – кивнул мне Карпулин. – Хорошо говоришь. Так скажи нам, пожалуйста, кто виноват в том, что миллионы человеко-дней уходят не туда?

Я готов был ответить – честно сказать все, что думаю по этому поводу, но, слава богу, не успел. В кабинет ворвался растрепанный профессор Клямин и буквально втащил за собой Клару Михайловну, пытающуюся удержать его за руку.

– Беда, – закричал он, – беда, Константин Иванович! Я вчера вечером по ошибке накормил Скородумова таблетками инверсина... Я слышал, он какие-то коники выкидывает... Но он до завтрашнего дня за себя не в ответе, у него фильтры инверсированы. Он теперь думает правильно, а говорит черт знает что!

Вот, собственно, и вся история с инверсином-80. Клямин вскоре ушел с работы (официально – по состоянию здоровья). А мою тему осторожный Топалов тогда закрыть побоялся – неудобно стало перед Карпулиным или что-то еще. Все-таки под самый конец разговора Карпулин успел поинтересоваться моей темой и отозвался о ней весьма одобрительно, попросил даже проинформировать о завершении... Буквально через день Всеволод Тихонович передал мне, что ученый совет непременно продлит тему на следующую пятилетку, и я как ни в чем не бывало отбыл в колхоз, предприняв очередную попытку стать ударником картофельных полей.

Я сравнительно подробно остановился на инверсиновой истории, чтобы показать безосновательность сложившихся вокруг нее легенд. Карпулин заскочил к нам совершенно случайно. То есть не совсем – в то время он периодически обследовался в Центре по поводу частых головных болей. Но появившись он полчасом раньше или позже, вся история просто не дошла бы до него, и он не имел бы повода проявить интерес к моей теме.

Топалов распустил слухи насчет моих жалоб Карпулину из желания очернить меня, представить склочником. Такие, как он, не могут перенести малейшей неудачи, мельчайшего сбоя в программе своих действий, не объяснив это происками бессовестных врагов. Они в принципе не верят, что иной камень срывается со скалы под действием совокупности чисто случайных сил. Кажется, у австралийских аборигенов к моменту их встречи с европейцами не существовало понятия естественной смерти и даже болезни – бедняги уверены были, что всякое несчастье непременно связано с магическими происками враждебных сил. Топалов, судя по всему, до сих пор убежден, что мы с Кляминым разыграли целый спектакль – разумеется, в кляминской режиссуре. И не мог простить этого, особенно – старому профессору...

Перехожу теперь к недавно имевшему место эпизоду с Топаловым. Вкратце суть дела сводится к следующему. Константин Иванович велел немедленно доставить ему действующий образец психосейфетора. Я ни сном, ни духом не мог предположить, что Топалов задумал использовать аппарат в сугубо личных целях, тем более – таким образом.

Среди сотрудников Центра ходили какие-то слухи о романе Константина Ивановича с его секретарем Кларой Михайловной. Лично я к этим слухам никак не относился – не люблю, когда подробности частной жизни перемалываются жерновами дурацких шепотков. Клара Михайловна – молодая (ей около тридцати), очень привлекательная женщина, кажется, одинокая, и она вполне имеет право на тот спектр привязанностей и увлечений, который делает ее жизнь приятной. Она вольна была любить того же Топалова, несмотря на двукратную разницу в возрасте, могла связать свою судьбу с восемнадцатилетним лаборантом или с кем-то еще – это ее дело.

И, разумеется, я никогда и ни в какой форме не внушал Топалову идею использовать правдомат в том смысле, в каком он реально его использовал. Доставляя ему аппарат, я был уверен, что он решил устроить что-то вроде самостоятельной проверки наших выводов, что в нем вновь пробудились исследовательские цели.

Но оказалось, правдомат разбудил в нем нечто темное и опасное.

К сожалению, о дальнейших событиях я могу говорить лишь реконструктивно, следствию наверняка известно больше. До меня же дошли только самые общие сведения – Топалов явился на квартиру Клары Михайловны и подверг ее действию правдомата. Она, кажется, отнеслась к этому, как

к очередной причуде шефа, и осознала опасность ситуации лишь тогда, когда выложила ему едва ли не все подробности своих прежних и нынешних знакомств.

Нервы Константина Ивановича не выдержали – столь быстрый и жестокий погром иллюзий не всякому дано вынести, и каждый способен понять все дальнейшее. Разумеется, попытку избить женщину, нецензурную брань в ее адрес трудно чем-либо оправдать. Каждый из нас сейчас (на холодную голову!) понимает, что опрокидывание телевизора, швыряние дорогостоящих предметов одежды с балкона – недостойные действия. Но мне смешно, когда я слышу что-то такое: „... не достойно советского ученого, академика, члена партии...“ Это не достойно любого человека в нормальном состоянии – советского академика, английского докера или беспартийного китайца.

Уверен, в той ситуации Топалов не был человеком в нормальном состоянии. Аффект, сильный аффект – это своеобразное краткосрочное помешательство. И я крайне отрицательно отношусь к тем грязным слушкам, которые сразу же поползли по Центру и по всему городу – дескать, свои своих не предают, дескать, экспертиза выгородила Топалова из самообыкновеннейшего уголовного дела, отвела от него удар правосудия, который неотвратимо обрушился бы на любого простого смертного...

Не смогу скрыть своего резко отрицательного отношения к К.И. Топалову (как в плане наших научных контактов, так и в связи с его нападением на Клару Михайловну), не могу скрыть и того, что мне известны подлинные факты выгораживания в иных ситуациях, но в данном случае экспертиза, безусловно, вела себя честно – уж поверьте, мне-то хорошо известно, сколь сильные аффекты могут быть связаны с правдоматом.

Однако самое удивительное в эпизоде с Топаловым не все эти события и слухи, а то, что последовало, и отнюдь не потому, что поворот оказался не в мою пользу, и вина за низвержение Топалова каким-то фантастическим образом опрокинулась на мою голову. Меня поражает совсем иное.

6

Я пишу об этом ином, прекрасно понимая, что мои оценки происшедшего не так уж важны, скорее всего, просто излишни. Но следователь Ахрамчук просил обязательно выделять именно мое отношение к событиям, и я должен выполнить его пожелания – в данном случае этот приятный долг.

Формально схема дальнейших событий такова. Соседи Клары Михайловны вызвали милицию. Топалов повел себя слишком экспансивно, и дело получило огласку. Чолсалтанов, якобы верный слуга Топалова, неуклюже попытался замять персоналку в своей организации и выгородить шефа в следственных органах. Но Топалов закусил удила, не сделал даже попытки раскаться, в оскорбительной форме отверг все уговоры –

собственной жены, Салтана Ниязовича и даже самого К.С.Карпулина. И он получил по заслугам – его исключили из партии и отправили на пенсию, лишив руководства Центром. Потом следственные органы якобы установили, что главная вина падает на гражданина В.Л.Скородумова, то есть на меня... И именно события с Топаловым инкриминируют мне в качестве первого эпизода обвинения.

Самое ужасное в этой схеме то, что она легко принимается на веру, как и всякое стандартное правдоподобие. Между тем схема в принципе порочна – она очень уж примитивно увязывает факты в нечто совершенно противоречащее действительности.

Прежде всего в этой истории зря пострадал Чолсалтанов. Лично у меня нет никаких оснований питать к нему особые симпатии. Салтан Ниязович всегда с большим подозрением относился к моим научным устремлениям, пожалуй, и ко всему стилю моей жизни. И эти подозрения нет-нет и материализовались в неприятностях того или иного уровня. Но должен подчеркнуть – Чолсалтанов искренне недолюбливал меня и боролся со мной в открытую (возможно, не столько со мной, сколько с моим влиянием на окружающих).

Но он вовсе не был слепым прислужником Топалова. По моему глубокому убеждению, Салтан Ниязович прекрасно все видел, прекрасно знал цену своему шефу и в научном, и в личном плане. И выгораживать шефа он не собирался.

Чолсалтанов погорел потому, что публично назвал происшедшее мелочью в биографии Константина Ивановича, а дальше его, как говорится, и слушать не стали – дескать, какая уж там принципиальность, если дикие выходки начальника (с использованием служебного положения и специальных психогенных средств) называют мелочью!

Но ведь Чолсалтанов был совершенно прав – просто никто не пожелал выслушать его до конца. Он пытался высказать едва ли не очевидную мысль, что конфликт вокруг Клары Михайловны вряд ли сопоставим со всем тем, что успел сотворить Топалов за многие предыдущие годы.

Чолсалтанова сгубила привычка к эзоповому языку. Он намекал, только намекал на некие события, и, конечно, эти намеки не смогли уравновесить всей внешней нелепости его позиции относительно описанного скандала.

Я попробую сказать то же, что, по-моему, хотел сказать Салтан Ниязович, однако не прибегая к деликатным иносказаниям.

Так вот, я убежден, что скандал Топалова с Klarой Михайловной действительно малая величина в шкале тех преступлений, которые успел совершить Константин Иванович. Я не оговорился – именно преступлений, а не каких-то так называемых аморальностей.

Разумеется, я не ставлю цели перечислить все, известное мне. Возьмем что-нибудь сравнительно простое и очевидное, скажем, устранение профессора Клямина, между прочим, талантливейшего человека. Именно такими устранениями и страшна восходящая серость.

Топалов давно покушался на Александра Семеновича и многого достиг в торможении его работ. Инверсин – гениальная находка Клямина, находка, которая по-новому осветила функционирование мозга. Но и до того Александр Семенович демонстрировал ученому миру оригинальнейшие достижения, у него было колоссальное чутье на новые пути, вообще – на необычное. Вывести Клямина из игры, используя некоторую его рассеянность (те же злополучные таблетки от головной боли...), – это, в сущности, тягчайшее преступление, это громадный ущерб обществу, ущерб, верхнюю границу которого вряд ли можно оценить.

Действительно, почему мы так быстро и сурово судим людей, ограбивших государственный магазин или сберкассу, сунувшихся в чужую квартиру или в чужой карман, а разбойное устранение талантов считаем лишь такой простительной начальственной блажью? Блажью, за которую можно слегка пожурить или поставить на вид, в лучшем случае – пристыдить через газету...

Я хочу сказать, что экзекуция талантов не блажь, а тягчайшая форма бандитизма, сопряженная с систематическим хищением у общества лучшего будущего. Мафия серых и невысовывающихся хочет видеть наше завтра, скроенное по ее меркам, и она настойчиво и потрясающе изобретательно добивается своего, вызывая черную зависть организаций, вроде „Коза настра“ Таланты масштаба Клямина опасны для нее, они подчеркивают пустопорожность десятков тем-кормушек, сотен бессмысленно размножаемых публикаций, высвечивают истинные цели ученых мафиози, сводящиеся к гарантированному росту собственного благосостояния.

Я не останавливаюсь на многих других хорошо известных мне случаях, связанных с уничтожением или ограблением талантов – от мэнэзсов до ведущих профессоров. И не настаиваю на том, что Топалов – некий выдающийся „крестный отец“ мафии, что ситуация в этом духе характерна лишь для нашего Центра топаловского периода. К сожалению, это не так.

В данном случае мне хотелось, чтобы поведение Чолсалтанова было понято правильно. Снимать Топалова с должности за аморальность и хулиганство в отношениях с личным секретарем безнравственно. Этот эпизод его биографии определяет лишь маленький (очень пакостный, но все же маленький!) процентик того вреда, который принесла его деятельность нашему Центру и, разумеется, всему обществу. Именно это и хотел сказать Чолсалтанов в своей излишне затемненной речи на партбюро.

Я убежден, что им руководила не только смесь осторожности и глубокой личной обиды. Верно, что Топалов некогда сильно выкрутил ему руки, заставил бросить действительно важную тему, которую молодой и очень способный Салтан Ниязович выполнял, кстати, под руководством Клямина. Понимаю, что то была лучшая пора в научных делах Чолсалтанова, и отлучения от этой поры он так и не смог простить Топалову. Все верно, но его выступление не было ни выгораживанием, ни местью, скорее – попыткой сказать большую правду, только попыткой человека, столь долго

молчавшего, сросшегося с оболочкой осторожности, что всякий крик из нее звучал криком лишь для него самого, а для окружающих – подхалимским шепоточком, не более...

Хочу еще подчеркнуть, что мною в оценке Топалова тоже не руководит месть. Я не отношу себя к числу талантов, затертых Константином Ивановичем. Для достижения цели мне хватило, пожалуй, одного лишь упорства – основная идея правдомата была подарена мне Кляминным лет пятнадцать назад, на что я всегда указывал в своих отчетах и публикациях. Не могу жаловаться и на затертость – ведь фактически мне дали довести дело до конца. Поэтому я в какой-то мере счастливчик в топаловском кругу, и все сказанное выше можно считать монологом счастливчика везунца – в том смысле, что многим другим не удалось пройти и десятой доли моей дистанции.

И, разумеется, я не имел намерений разделаться с Топаловым, подсунив ему свой аппарат и наведя на мысль „проверить“ Клару Михайловну. Топалов просто распорядился доставить образец правдомата к нему в кабинет и вовсе не комментировал свои дальнейшие намерения. И с какой стати? Мы и отдаленно не были в таких отношениях, чтобы советоваться друг с другом насчет любовных проблем. Распоряжение было отдано по телефону. То, что Топалов приписывает мне теперь едва ли не целый тонко разработанный заговор, неудивительно. Топалов и не может оценивать других не своей меркой.

Гораздо удивительней, что такую же версию поддерживает перед следствием Чолсалтанов. Не знаю, зачем ему это нужно, но в любом случае его подозрения столь же безосновательны, как и подозрения Топалова.

7

Прежде чем говорить о последующих эпизодах, остановлюсь вот на каком важном моменте. Следствие не раз интересовалось статистикой так называемых настораживающих сигналов о последствиях контакта с правдоматом. Иными словами, оно хотело выяснить, мог ли я (на основании каких-то сравнительно мелких инцидентов, ранее имевших место у испытуемых психосейфетора) в определенной степени предвидеть крупные последствия испытаний, то есть то, что случилось с Топаловым, Карпулиным и Максимуком.

Не думаю, что сегодня кто-нибудь решился бы дать однозначный ответ на этот вопрос. Эксперимент открывает лишь усредненную картину, но реакции конкретной личности не обязаны следовать чему-то среднему. Тем более, если речь идет о личности, особым образом включенной в поле социального усилителя, о личности с избыточным уровнем власти... Вообще любой психолог знает, сколь непредсказуемо человеческое поведение, сколь мощным последствием обладают подчас внешне безобидные и вроде бы слабенькие стимуляторы. А уж правдомат слабеньким стимулятором не назовешь.

Вряд ли существует взрывчатка эффективней обычной голой правды, и не только в плане преобразования отдельной личности. Это взрывчатка социальная! Наступают мгновения, когда без правды уже невозможно, когда путь в лучшее будущее преграждается совершенно непроходимыми завалами — горами собственных ошибок на пройденных этапах, горами отходо́в, которые мы словно бульдозером толкаем перед собой. Толкаем до тех пор, пока не упираемся в них намертво. И тогда, как правило, не обойтись без взрывных работ — что поделаешь...

Но бог с ними, с общими рассуждениями, попробую вкратце рассказать о так называемых настораживающих сигналах.

Пожалуй, самый яркий среди них связан с ситуацией, в которую попал после излечения в нашем Центре директор крупного универсама И.Г. Фалич. Буквально за месяц-другой у Игоря Григорьевича развился острый синдром преследования — в каждом посетителе магазина виделся ему сотрудник ОБХСС. Фалич был уверен, что под него „копают“, что его хотят не просто поймать по мелочи, а взять крупно, ему мерещилось 15 лет лагерей особого режима, конфискация, высшая мера, опозоренная семья и все такое... Он снял со сберкнижки свои, думаю, вполне трудовые сбережения (рублей 700) и ночью закопал их посреди двора, пытался оформить дарение несуществующей дачи, продал за бесценок свой допотопный „Запорожец“ Впрочем, с этими и другими фактами можно ознакомиться куда подробнее, запросив медицинское дело Фалича в нашем Центре. Оттуда же можно узнать, что Фалич полностью излечился.

Однако его трудовая реабилитация вызвала, деликатно выражаясь, немалые трудности. Перед заболеванием он пользовался великолепной репутацией в своем райпищеторге и во всем городе. Поэтому его сразу возвратили к исполнению директорских обязанностей в универсаме. И тут-то у него начались проблемы. Фалич отказался от обычного директорского „загашника“, попросту перестал придерживать дефицитные продукты, потом вмешался в работу своего стола заказов, точнее — попытался проверить, кому именно и в каком количестве отпускается дефицит.

Последствия он ощутил довольно быстро. Районное начальство сначала слегка обиделось на него, потом указало. Он не отреагировал, как говорится, закусил удила, попробовал даже установить истину через газету. К сожалению, в массе тех, кто, по его мнению, был в состоянии стоять в общей очереди, оказалось два или три инвалида, действительно нуждавшихся в спецобслуживании. Один из них пожаловался наверх, и Фалича оперативно подвели под увольнение. Если не ошибаюсь, перед этим торг один или два раза обеспечил ему срыв плана...

По-моему, его дело до сих пор обсуждается в самых серьезных инстанциях, думаю, рано или поздно его восстановят в должности. Жаль, если поздно, — того, чего терпеливо ждет и непременно дожидается общество, не всегда дано дожидаться отдельному хорошему человеку.

Игорь Григорьевич заходил ко мне примерно год назад, рассказывал о своих мытарствах. Я был рад, что он не сломался, что результат лечения

устойчив, и в этом плане могу рассматривать данный случай как лучшую рекламу для правдомата. Конечно, я понимаю тех, кто, следуя недавней идее Топалова, говорит о некой „психосейфеторной десоциализации“, о нарушении механизмов социальной адаптации, якобы имевшем место у моих пациентов. Полезная кое для кого адаптация действительно нарушена. Быть может, те, кому полезна такая адаптация, пережили бы плевков в собственную физиономию или удар, именуемый пощечиной. Но удар по распределителю, то есть по источнику своей личности, своей несмешиваемости с толпой они никому не простят.

Два других случая, пожалуй, не менее показательны.

Молодой учитель литературы В.И.Лаптенко участвовал в качестве добровольца в одной из наших коротких экспериментальных серий. Потом на своем уроке он сообщил ученикам, что недолюбливает стихи Маяковского. Кто-то из родителей проявил сверхбдительность, донес директору школы – дескать, Владимир Иванович вслух критикует великого поэта, чем развращает юные души, одновременно привлекая их внимание к каким-то сомнительным внепрограммным произведениям. К счастью, директор оказался человеком разумным, указав возмущенному родителю, что Лаптенко имеет право на собственное мнение, что стихи Маяковского не обязаны всем нравиться, а внепрограммно зачитанная поэма Пастернака „Лейтенант Шмидт“ тоже способствует правильному воспитанию юношества... На этом конфликт угас.

И, наконец, история с еще одним добровольцем – К.С.Голубевичем, известным в нашем городе футболистом. Заварилась она вкрутую, но окончилась почти смешно. Старшего тренера команды, с которым Костя сцепился после добровольного участия в нашей экспериментальной серии, убрали буквально через две недели. Для этого потребовалось не выявление весьма пакостной атмосферы, созданной в команде старшим тренером, – то, о чем заговорил вслух Голубевич, а всего-навсего два рядовых разгрома на своем поле... Сейчас, насколько я знаю, Костя Голубевич успешно забивает голы и не имеет особых трений с новым руководством.

Этим исчерпываются мои сведения о так называемых настораживающих сигналах. Думаю, не все проходило гладко и у других наших пациентов и добровольных участников экспериментов. Наверняка многие из них с трудом выбирались на новый уровень социальной адаптации, но, по-моему, мы все можем только пожелать друг другу этого самого нового уровня.

8

Перехожу теперь ко второму эпизоду, к событиям, связанным с товарищем Карпулиным.

Первое знакомство с ним произошло в кабинете Топалова, но дальнейшие контакты возникли несколько позже, когда разразилась гроза над голой профессором Клямина. В тот период я активно искал выход на высо-

кое начальство, имея в виду помочь Клямину выпутаться из инверсиновой истории. Случайная встреча с писателем Иваном Максимук (о ней, как и о ее последствиях, я расскажу далее) облегчила мою задачу. Оказалось, что Максимук накоротке знаком с Кимом Спиридоновичем и ему ничего не стоит организовать аудиенцию.

Ким Спиридонович любезно пригласил нас на свою дачу, где и состоялась беседа. Я ее очень хорошо запомнил.

Карпулин начал с нескольких комплиментов в мой адрес – дескать, давно не встречались ему столь смелые в смысле социальной активности научные работники, дескать, ему приятно, что я добился встречи не ради себя самого, а во спасение своего старого учителя...

– Но вы ведь прекрасно понимаете, – сказал Карпулин, – что вся эта история с инверсином выглядит некрасиво и Клямин дал своим недоброжелателям сильные козыри...

– Однако Александру Семеновичу нужно помочь, – невежливо перебил я. – Поймите, это талантливейший исследователь и врач, за ним с полтысячи людей, возвращенных к полноценной жизни, возвращенных в основном из тех состояний, которые другими оценивались как безнадежные. Мы действительно не понимаем до конца механизма действия инверсина, но факт остается фактом – инверсин снимает какие-то избыточные напряжения и возвращает многим людям человеческий облик. А со мной – просто досадная ошибка, вроде бы, никому не повредившая. И я готов публично защищать те же свои позиции без всякого инверсина.

– Ты серьезно? – улыбнулся Ким Спиридонович. – Но нельзя защитить незащитимое. Скажи спасибо, что твой выпад против коллектива списали на временную невменяемость.

– Если всякое правдивое высказывание списывать на временную невменяемость, останется неуклонный рост благосостояния, – ухмыльнулся Максимук.

– Брось, Ваня, – обрезал его Карпулин. – Дело-то нешуточное.

– Не надо ничего списывать, – сказал я, сжигая, как мне казалось, все мосты. – Постоянный отрыв сотрудников на неквалифицированные работы – это постоянная невменяемость. Посудите сами, Ким Спиридонович, нас отрывают ежегодно на 15–20 дней – на картошку, на уборку двора и прилегающих территорий, на овощехранилище, на заготовку сена, на возведение дома методом народной стройки... Какая тут, к черту, эффективность, какой научно-технический прогресс! У нас стоят экспериментальные серии, у нас лежат больные, а мы играем в игру под названием „На все руки мастера“

– Как он тебя брест! – снова вмешался Максимук.

– Он меня? – удивился Ким Спиридонович. – Это я скоро побрею их Чолсалтанова. Под нуль! Он же, бездельник старый, никому ничего не разъясняет... Уверен, понимаешь ли, что его палец, многозначительно указующий на небо и на высокое начальство, лучше всего убеждает интеллигенцию. Ты вот думаешь, Вадим Львович, что никому, кроме тебя, такие

очевидности в голову не приходят, да? Думаешь, мы тут, наверху, сплошные кандидаты в ваш Центр, этикие слабоумненькие? Ты панорамно смотри, Вадим Львович, панорамно! Где взять людей – вот в чем проблема. Нам не хватает людей для уборки урожая и для заготовки кормов, для подметания улиц и для строительства. Между тем все хотят кушать мясо с картошкой, хотят ходить по чистым улицам и жить в отдельных благоустроенных квартирах. Было бы идеально обеспечить каждый фронт работ соответствующими специалистами, но не выходит, пока, понимаешь ли, не вытанцовывается все по-научному... И мы вынуждены затыкать прорывы. Предложите что-нибудь, найдите, черт возьми, лучшее решение – без прорывов и без профессорского картофелекопания! Дайте вариант, в котором каждая морковка и каждый килограмм городского мусора обходились бы нам дешевле – без таких моральных и материальных потерь!

– На это работа экономистов и плановиков, – возразил я. – Почему они не делают своей работы? И зачем вы принимаете их порочные варианты?

– Ты что, ребенок? – уже с некоторым возмущением перебил меня Карпулин. – Эти люди тоже поставлены в определенные рамки, они обрамлены уровнем финансирования каждой конкретной сферы, они вынуждены решать задачи сегодняшние, а сегодня нужно, чтобы не было голодных и бездомных. Ни в коем случае! Завтра многое изменится, но до завтра надо дожить. Это вашему брату кажется – древняя иллюзия ученых-естественников, – что каждый шаг должен делаться сугубо рационально, разумнейшим способом. Но ваше рацию – постоянно рвущаяся сеть, и часто приходится прикрывать дырки грудью.

– Делай дырки, ибо всегда найдется затыкающая их грудь! – хохотнул Максимук.

– А ты, Иван, брось! Ты мне не совращай молодого человека. Над ним уже поработали неплохие совратители. Тот же Клямин...

– Что Клямин? – не понял я.

– А то! Ты полагаешь, Клямину ставят в вину только инверсин? Инверсин – это, если угодно, последняя капля, толчок, повод... Ты думаешь, мы забыли его дворницкую демонстрацию?

– Какую-какую? – переспросил Максимук.

– Ага, тебе будет интересно! Несколько лет назад лабораторию профессора Клямина хотели бросить на уборку строительного мусора в подшефной школе. Разумеется, его лично туда никто не звал, требовалось выделить десять человек на один день. Конечно, Топалов тут переусердствовал – в лаборатории Клямина всего-то с полтора десятка сотрудников и лаборантов. Но профессор поступил по-своему – он запретил своим людям выходить на уборку, он пошел туда один с метлой и лопатой и ровно на 10 дней. Скандал получился страшный – как раз в это время к Клямину приехала какая-то научная делегация и он принимал ее в школьной раздевалке во время собственного обеденного перерыва. По-моему, тогда у Чолсалтанова появились первые седые волосы и, конечно, выговор без занесения....

– Готовый материал для рассказа, – прокомментировал Максимук.

– Кому для рассказа, а кому – для персонального дела. Меня из-за этого в Москву тогда вызывали. А вы говорите... Да ты, Вадим Львович, без всякого инверсина фрондерством от Клямина заразился, разве нет?

– Но, мне кажется, все это мелочи, – сказал я. – Это не снижает значимости работ Клямина. Ему надо помочь.

– Ты полагаешь, что наплевательское отношение к коллективу не снижает ценности работника? Ведь Клямину-то плевать было, как выглядит его родной Центр и даже родной город в глазах московских и зарубежных ученых... Ему лишь бы свою точку зрения отстоять...

– Чего обиды вспоминать-то, – примирительно вмешался Максимук. – Ты бы, Кимушка, и вправду подумал насчет помощи...

– Боюсь, это уже невозможно, – хмуро ответил Карпулин. – Строго говоря, за небрежное обращение с экспериментальными средствами против Клямина уголовное дело возбудить могли. Но суть в ином – он несовместим с Топаловым, а после той сцены в кабинете окончательно несовместим. И, конечно, за всем этим стоят и его дворницкая демонстрация, и многолетнее неприятие Топалова как ученого – вспомни хотя бы знаменитое выступление на Ученом совете...

Я помнил, очень хорошо помнил. Тогда Клямин исключительно ярко нарисовал картину топаловской научной школы, нарисовал едва ли не единственным мазком – несущийся автомобиль мировой науки и топаловцы, пытающиеся лизнуть задний бампер, придав ему тем самым дополнительный блеск... И я знал, что такого никто не прощает.

– В общем, много всего, – продолжал Карпулин, – и мне, откровенно говоря, не справиться. Топалов поднял страшную бучу, а его связям можно позавидовать... Разве что удастся сохранить за Кляминым должность профессора-консультанта, не знаю...

И он встал с кресла, давая понять, что разговор окончен. После этого мы не встречались около трех лет, до недавних пор, когда и произошел инкриминируемый мне второй эпизод.

9

На этот раз Карпулин пригласил меня на свою дачу по собственной инициативе. Мы опять приехали с Максимуком и сразу поняли, что Ким Спиридонович пребывает в крайне плохом настроении. Только что грохнула история с Топаловым и Кларой Михайловной, и я знал, что могучие связи нашего шефа заставляют Карпулина ехать в Москву для принятия какого-то окончательного решения.

Карпулин подробно расспросил о случившемся, между прочим, намекнул, что на меня и мой правдомат запросто могут собак навешать, именно так и сказал: „собак навешать“

Поведением Топалова он был искренне возмущен, высказался в том

смысле, что с академика за это три шкуры спустить следует (дословно: „три шкуры“). Я попытался возразить, что данный случай, разумеется, безобразен, но фактически за Топаловым тянутся куда более пакостные дела, на которые никто особого внимания не обращал, тот же Клямин, к примеру... Ким Спиридонович совсем помрачнел.

– Слушай, не трави ты мне душу с этим Кляминым. Мы ж все задним умом крепки... Теперь я и сам понимаю, что виноват, не представлял я, что старик такой большой ученый. У нас ведь как – нередко лишь некролог взвешивает личность...

Между прочим, Клямин умер ровно через три месяца после увольнения из Центра. Я знаю, что Карпулин пытался сохранить за стариком хотя бы консультантскую позицию, но и это не удалось. И Клямин, ампутированный от своей лаборатории, от дела всей своей жизни, быстро угас. Быстро и тихо.

– Так вот живет рядом с тобой рядовой, вроде бы, профессор с дурным характером, – продолжал Карпулин. – Живет, хлеб жует, начальству кровь портит, статейки пишет, больных лечит... Вдруг помер, и на тебе – только из-за рубежа два десятка соболезнований. И выясняется, что Нобелевскую он не получил лишь по нашей собственной отечественной нерасторопности...

– Брось, Кимушка, сопли пускать, – перебил его Максимук. – Сначала ты перед топаловскими связями дрожал, а теперь каешься. Поздно и ни к чему. Надо о живых думать, о тех, чьим семьям еще не шлют соболезнований. О заживо забытых!

– А тебе, Иван, это не грозит, – огрызнулся Карпулин. – Ты у нас прижизненно признанный, у тебя уже собрание сочинений выходить начинает. Твои таланты не заметить нельзя, ты у нас классик классовый...

– А ты не издевайся, – темнея лицом, ответил Максимук. – Может, мне-то цена и полтора дерьма, но не в этом дело. Ты о таких, как Вадим, думать должен. Ведь его прибор вот-вот пойдет вслед за инверсином, а ты через годик-другой снова крокодиловы слезы лить начнешь...

Я уже тогда чувствовал, что зря Ким Спиридонович шпильки Максимуку подпускает, знал, что есть уже у Ивана Павловича нечто, за рамки выходящее, но об этом позже. А тогда я промолчал, подло промолчал – показалось, заступись я за Максимука, Карпулин решит, что я и сам в непризнанные гении лезу через наверняка нелюбезную его сердцу оппозицию официальной классики. Воистину выверт мозгов, и как помогла бы в тот момент малюсенькая таблетка инверсина...

– Ладно, – примирительно сказал Ким Спиридонович, – я с тобой, Ваня, как-нибудь отдельно поругаюсь. А сейчас давай-ка я лучше объясню Вадиму Львовичу, зачем я его пригласил. Так вот, нужен мне твой прибор, Вадим Львович, понимаешь? Боюсь я поездки, честно говорю – боюсь. Получается, зря я столько лет Топалова поддерживал, а нынче выгораживать его сил нет. И головомой за него принимать не желаю, не хочу стоять на ковре и кивать, дескать, виноват-простите-больше-не-буду... Я бой

дать хочу. Время сейчас такое пошло — самый раз бой давать. Но чувствую — струсить могу. Ты меня пойми, Вадим Львович, по-человечески пойми, я перед тобой, как на исповеди. Я на танки в штыки ходил — не боялся, а нынче коррозия какая-то накопилась — всего боюсь... Как это по-вашему называется: когда всего боятся?

— Панафобия.

— Вот! Значит, я панафоб... Не единственный, конечно, теперь целое племя панафобов развелось, не знают, что с собой делать. Всего, понимаешь, бояться — кресло потерять, зарплату, распределитель, персональную машину, загранкомандировки... Не то что гавкнуть не могут — пискнуть стесняются. Чтоб ненароком события не опередить, вроде как в одиночку из окопа не выскочить. А из всех дыр топаловы лезут, свой темп навязать пытаются — им выгодно, чтоб все в окопах отсиживались и „ура“ кричали и чтоб зачет велся — кто громче кричит, тот и прогрессивней. Из всех дыр лезут... Страшно, Вадим Львович, а?

— Вам от него с неделю как страшно стало, а мне — с тех пор, как я с Топаловым работаю. И привык потихоньку.

— Привык и ничего не боишься?

— Почему ничего? Дело потерять боюсь. Соберут завтра правдоматы и на запчасти спишут — чему радоваться! Но, я думаю, Ким Спиридонович, этого общества еще больше бояться должно. Оно-то куда больше потеряет.

— Вот ты как все выворачиваешь! — выкрикнул Карпулин. — Общество за твое дело больше тебя переживать должно, да?

— До чего ж ты все-таки профессиональный демагог, Кимушка, — вмешался Максимук. — Все-то тебе с ног на голову перевернуть бы. Скородумов, между прочим, дело говорит, дело, в котором тебе и печься бы в первую очередь. Хороший прибор топаловы забыт, автор поседеть может, с ума сойти, в речке утопиться, но общество-то больше автора пострадает: во-первых, талант оно утратило, во-вторых, ограблено оно на целый хороший прибор, а в третьих, что, быть может, хуже всего, сто молодых-зеленых смекнут, что лучше не высовываться, лучше на рост личного благосостояния силы класть. Считай, еще сто приборов потеряно и еще сто умников в ряды сверхактивных потребителей переметнулись...

— Кончай агитировать! — резко прервал его Карпулин. — Сейчас время другое, сейчас все это понимают, все, так сказать, интенсифицированы.

— Другое? Ты, Кимушка, очень уж лозунгами увлекаешься. Нельзя время просто так другим объявить. Оно не внешняя субстанция, оно нашими собственными делами прорастает — не река за окном, а живое существо, сплетение наших душ. Другое время — это другие люди, с иной напряженностью души. А у нас пока ненапряженных пруд пруди, и никто их вмиг не интенсифицирует. Это как у медиков, пусть Вадим меня поправит, если ошибусь. Идет эпидемия или целая пандемия какой-нибудь холеры, и одно дело — поставить диагноз и начать борьбу с ней, другое — объявить всех здоровыми. И уж совсем смешно, когда все больные хором вопят, что они абсолютно здоровы и вполне интенсифицированы. Прямо чудо свя-

того Иоргена... Мы переживаем пандемию социальной эйфории, и нам еще предстоит от нее излечиться и стать реалистами, и только тогда время станет другим...

Я уже знал, что с Максимукон не стоит спорить о времени — по крайней мере не с нашей подготовкой. И слава богу, Ким Спиридонович не был настроен на такой спор.

— Куда уж бедному панафобу перестроить известного письменника, — усмехнулся он. — Так ты, Вадим Львович, одолжишь меня своим правдоматом, а?

Я засомневался. У Кима Спиридоновича были изрядные головные боли — следствие военной еще контузии. В своей работе с правдоматом я сталкивался с похожими случаями и никаких отрицательных явлений не наблюдал, и все же... Я высказал ему свои сомнения.

— Значит, Ивану можно, всем можно, а мне нельзя, — стал сердиться Карпулин. — Я перед тобой на колени встану, этого добиваешься?

— Помоги ему, Вадим, — вступился Максимук. — Ему миг чистой правды нужен. А она по большому счету никого еще не гробила, ей-богу.

В общем, меня уговорили. Подчеркиваю, в клинических картинах, аналогичных отмеченной у Карпулина, никаких противопоказаний к использованию правдомата выявлено тогда не было. Этот факт следствие может установить по соответствующим экспериментальным протоколам и историям болезней. Через час я доставил правдомат Карпулину и объяснил, как им пользоваться.

Мы договорились, что Карпулин воспользуется аппаратом только один раз и сеанс будет длиться не более двадцати минут. Последнее очень существенно — это так называемое оптимальное время разовой психосейфеторной накачки, установленное экспериментально. Я знал, что удлинение сеанса хотя бы на 7 — 10 минут ведет к нежелательному последствию — возникает своеобразное „фабическое эхо“; у человека могут развиваться избыточные страхи за свое поведение в фазе полной правдивости. В нескольких экспериментах мне приходилось выводить испытуемых из такого состояния, гасить эхо, прибегая к одному-двум дополнительным сеансам.

Отсюда и жесткое ограничение в инструкции, которой был снабжен Карпулин, — ни в коем случае не заходить за границу двадцати двух минут. Любой врач пояснит, что лекарство при должной избыточности дозы способно превратиться в яд...

Дальнейшее известно мне в следующей версии. Карпулин отбыл в Москву, выступил там по делу Топалова крайне резко и со многими обобщениями. „Сильным связям“ Топалова замаять скандал не удалось. Однако и Кима Спиридоновича предупредили, что вопрос о его пребывании на посту будет рассмотрен особо.

Через день после того, как действие правдомата кончилось, с Карпулиным стали происходить странные вещи. Он с сопровождающим его помощником едва добрался до дому и почти тут же попал в наш Центр с острым

паранойяльным синдромом. Я сделал попытку взять его на излечение — убежден, что мой аппарат постепенно вывел бы его из тяжелого состояния и даже полностью излечил бы. Но меня к Карпулину не подпустили, а через несколько дней отстранили от клинической практики и вообще от работы.

К сожалению, Карпулин решился на удвоение сеанса. Счетчик на психосефторе, приобщенном к моему делу в качестве вещественного доказательства, ясно показывает, что последний сеанс аппарата длился 45 минут. Об этом я узнал совсем недавно и полагаю, что формально этот факт освобождает меня от ответственности.

Действительно, если вы по просьбе соседа-сердечника дали ему флакон кардиомина, разве ваша вина, что он выпил сразу 60 капель? Формально — нет!

Но если вы видели полубессознательное состояние больного, его трясущиеся руки, если тем более вы врач, то следовало помогать до конца — самому приготовить нужную дозу.

Вот именно этого я себе простить не могу — как врач-исследователь, способный профессионально разбираться в психическом состоянии окружающих, и просто как человек. Я не сумел уловить тогда, во время последнего разговора, всей напряженности Карпулина, его трясущихся рук, трясущейся души, переоценил его относительную внешнюю уравновешенность. Он постеснялся пригласить меня в совместную поездку, а я счел неудобным предложить такой вариант. Опять-таки сработал подловатый прогноз — дескать, вдруг Ким Спиридонович решит, что я навязываю свое присутствие в Москве, чтобы как-то дополнительно повлиять на судьбу Топалова...

Московские действия Карпулина привели к тому, что Топалова уволили, исключили и возбудили против него уголовное дело.

Именно тогда Топалов решил пропустить удар мимо себя — с его стороны последовало заявление, обвиняющее меня в подстрекательстве его, Топалова, к хулиганским действиям с использованием особо опасных психотропных средств и в доведении (с помощью тех же средств) крупного руководящего работника до острого психического заболевания. Основная идея этого заявления, разосланного во все мыслимые органы и инстанции, — наш с Кляминим хитро придуманный заговор против существующего порядка, тщательно спланированные удары по столпам означенного порядка и все такое. Клямин выступает в этом заговоре лишь как своевременно разоблаченный идеолог, я — как опаснейший исполнитель. Право же, странно, что Топалов не указывает конкретных солидных сумм, которые, по его мнению, должна была бы выплачивать мне та или иная империалистическая разведка...

И в этот момент произошло нечто, еще более страшное, — событие, инкриминируемое мне как третий эпизод.

Сразу подчеркну, что последний шаг писателя Ивана Павловича Максимука стал и моей личной трагедией. Если бы осуждение меня вплоть до высшей меры могло бы что-нибудь исправить, вернуть назад, я, не задумываясь, признал бы любую степень своей вины и настаивал бы на этом во всех инстанциях. Но, к сожалению, вернуть ничего нельзя.

С Иваном Павловичем я познакомился совершенно случайно – примерно за неделю до инверсионной истории. Работа над правдоматом застопорилась. Безнадежно застряла внешнеторговая заявка на аппаратуру, необходимую для расшифровки некоторых ритмов, а самостоятельный монтаж наверняка потребовал бы года или двух беспросветных мучений. И, как обычно, некому и не на что было жаловаться – кто, собственно, в ответе за мой иссякающий энтузиазм?

В тот вечер я не спешил домой, сидел на набережной и соображал, на сколько еще хватит сил и не выяснится ли потом, после пары лет труда над самодельным дешифратором, что главное все еще впереди. Возможно ли было тогда догадаться, что до первой действующей модели психосеифтора оставалось чуть меньше года...

А тогда сложности обступали со всех сторон, и ни в чем не просматривалось упрощений – ни на работе, ни дома.

Жена, Елизавета Игнатьевна, все более нервно воспринимала мою оппозицию Топалову. Из-за этой оппозиции, довольно справедливо полагала она, тонут в неопределенности перспективы остепенения, и зарплата остается столь скромной, что непонятно – то ли мне краснеть за нее, то ли ей, зарплате, за меня. А дети растут неудержимо, и вместе с ними дрожжевым тестом разбухают всевозможные потребности. И углов в нашей маленькой квартире не становится больше, их вообще не осталось, этих углов, приткнуться нигде. Мы вчетвером до предела насытили свои тридцать квадратных метров, и ничего лучшего нигде не маячит. Поэтому как многое лучшее упирается в ту же оппозицию, и все более чувствительные ограничения в различных благах – еще не самый страшный среди намечающихся тупиков.

Лиза, надо сказать, замечательно держалась до тех пор. И в то время она не сводила дело к банальному: „О семье бы подумал...“ Нет, все обстояло сложнее. Лиза попыталась оседлать некую философскую волну. Впрочем, не она одна, на той же волне атаковали меня и некоторые друзья. И отмахнуться никак не удавалось, да и следовало ли отмахиваться?

Меня и самого размывали изнутри те же вопросы. Что мы впускаем в мир? Чем обернутся в конце концов все эти мощные средства управления индивидуальной психикой, химические и электронные? С одной стороны, до чего ж здорово стимулировать человека к искренности, подтолкнуть

его к реальному поименованию явлений, до сих пор вслух не именованных и оттого вроде бы не существующих. С другой — здорово ли? Для кого-то искусственный приступ искренности станет смертным приговором — разве трудно вообразить себе роль психосейфетора или того же инверсина в условиях террористического режима... Так что черт его знает, какую нечисть выпустим мы с Кляминым и Грейвом в разные уголки нашего пестрого и не слишком терпимого к откровенностям мира. И кого считать ответственным за жизни, сгубленные при помощи наших аппаратов и препаратов? Как говорится, кому господь счет предъявит?

Вероятно, я практически начисто лишен так называемого оппенгеймерова комплекса. Думаю, физики-ядерщики винсоваты в испоганивших Землю взрывах не более, чем другие граждане, ибо укажите мне пальцем на того, кто хотя бы весьма косвенно (хотя бы частью своего налога и глубиной молчания) не способствовал развитию ядерных программ. Переложить основную ответственность на ученых и изобретателей — тот простенький трюк, которым кое-кто из власть имущих вот уже почти полвека пытается обмануть общественное мнение. Но опасны-то не сами игры, а игроки, особенно творцы игровых правил, те из них, для которых любая новизна лишь средство расширения и упрочения своей власти. То же самое относится и к пугающим достижениям генной инженерии и вот теперь — к мощным психотропным средствам нового поколения.

Лиза пыталась убедить меня в то время, что такая позиция толкает ученых к личной безответственности относительно собственных экспериментов. Мы, пожалуй, до сих пор не сошлись во взглядах. Возможно, разумеется, что моя точка зрения во многом обусловлена сильной негативной реакцией на всякий фактор, требующий отказа от главной моей работы, реакцией как бы автоматической. Но не исключено, что суть расхождений лежит глубже, и я не так уж ошибаюсь, отрицая „святую обязанность“ ученого отказываться от естественного развития исследований и утаивать результаты, которые лично он считает опасными. По-моему, такой вариант борьбы с неприятными последствиями научно-технического прогресса едва ли не самый опасный, как опасны, впрочем, и все глобального масштаба решения, принимаемые одиночкой или в очень узком кругу, то есть в условиях отсутствия гласности. Новое мышление — то, которое только и позволит нам выжить, несовместимо ни с государственной, ни с частной секретностью, оно рождается из искренности. Нельзя одновременно протягивать руки для приветствия и водить друг друга за нос. Ибо ущемленные носы обретают подчас воистину гоголевскую самостоятельность и без спросу суются в наши души, и решают за нас вопросы жизни и смерти...

Но, должно быть, я сильно увлекся описанием собственных размышлений, вряд ли играющих важную роль для дальнейшего. Просто состояние было запоминающееся — на редкость мерзкое в смысле обилия навалившихся и хитро переплетенных проблем, состояние, лейтмотивом которого служит заглушающий иные мысли внутренний шепоток: „Плюнуть бы на все...“

И страшно болела голова – уже несколько дней подряд. Я думал, спокойный часок в сквере хоть чем-то поможет, но ни набережная, ни удобная скамейка, ни выданное самому себе милостивое разрешение бездельничать целый вечер – ничто не приносило облегчения.

Внезапно ко мне подбежал огромный черный дог. Я ни с того ни с сего испугался, вскочил. Дог зарычал. К счастью, тут же подоспел хозяин собаки, Иван Павлович Максимук.

Он извинился и сразу же нацепил намордник своему догу. Потом представился, присел рядом, и мы как-то с ходу разговорились. Максимук общался легко, пожалуй, даже с некоторым блеском. Он, слава богу, кратко охарактеризовал дружелюбие своего Лорда и выразил удивление его случайной агрессивностью. Пошутил: „Настоящая собака чувствует угрозу своему хозяину...“ И, как выяснилось много позже, был недалеко от истины...

Потом Максимук запросто перешел на „ты“, и это не звучало обидно, у меня тоже возникло ощущение давнего и доброго знакомства. Минут через двадцать я понял, что пора бежать домой – стратегические размышления все равно перебиты, а семья-то ждет. Не уходить не хотелось. Не знаю, почувствовал ли Иван Павлович мои колебания, но внезапно он предложил зайти к нему в гости, разделить с ним хоть на полчаса не большую радость.

Пожалуй, все это выглядело странно, к тому же я вообще не люблю таких вот знакомств по касательной, точнее – их нередких последствий в форме излияния души или чего иного, душу замещающего. Но в тоне его было столько искренности и простоты, что мне как-то и в голову не пришло отказать.

Дома Максимук представил меня своей супруге Софье Алексеевне („Мой вариант Софьи Андреевны...“ – усмехнулся он), с удовольствием продемонстрировал огромную свою библиотеку – тысячи три или четыре отлично подобранных книг.

Потом мы пили чай с фантастически вкусным тортом, а в качестве пролога – по стопочке чего-то экзотического и крепкого под бутерброды с черной икрой. Сам Максимук так и не сообщил мне причину микроторжества, сделала это Софья Алексеевна, находившаяся в исключительно приподнятом настроении. Оказывается, тем утром было утверждено в плане пятитомное собрание сочинений Максимука („После больших, знаете ли, треволнений...“ – прокомментировала Софья Алексеевна), и я оказался, можно сказать, первым из читателей, получившим право поздравить живого классика.

Беда, однако, заключалась в том, что я не мог числить себя в славной когорте читателей Ивана Максимука, ибо буквально ни одного его произведения никогда не читал и, могу поклясться, в руках никогда не держал. Но хозяева мои в избытке великодушия простили мне этот грех, снабдили толстенным его романом с дарственной надписью („Новостройка“, роман в трех частях с прологом и эпилогом) и взяли слово (вместе с номером моего телефона), что ровно через неделю я загляну к ним снова и расскажу о своих впечатлениях.

Я распрощался с радушными Максимуками в твердой уверенности, что внимательно прочту роман и постараюсь высказать автору все самые теплые слова, которые придут на ум. Но уже в трамвае, пролистав большую книгу, я понял, что прочесть ее не смогу (просто не захочу), и потому не судьба мне, должно быть, снова увидеться с ее автором.

Но вышло по-другому. Ровно через неделю мне позвонила Софья Алексеевна и пригласила к ним. Буквально в это время я очухивался от инверсина и уже знал, что над Кляминым нависла страшная опасность. Поэтому я не слишком вежливо отказался от встречи, сославшись на крупные служебные неурядицы и неизбежную поездку на сельхозработы. Иногда думаю, соври я тогда, просто нахами ей, и не было бы многих последующих событий...

Где-то через полчаса мне позвонил сам Максимук и стал допытываться – что да как, да какие-такие неурядицы могут помешать встрече читателя с писателем. Я взял и рассказал ему о Клямине, об инверсине о своем стимулированном бунте, и это привело Ивана Павловича в какое-то восторженное состояние („Ну, вы, ученые, даете! – приговаривал он. – Ну, даете! Это сюжет для фантастического романа, а не производственный конфликт...“).

К сожалению, это был всего лишь сюжет для производственного конфликта, причем с крайне реалистическими и неприятными последствиями. Я дал понять это Ивану Павловичу, и он, кажется, понял. Понял настолько, что сразу же предложил свой ход – встречу со старым его другом, товарищем Карпулиным, который „одним телефонным звонком всех на место поставит“.

Признаться, я не очень обрадовался такой перспективе и, пожалуй, отмахнулся бы от нее, иди речь обо мне лично. Но речь шла о Клямине, положение которого выглядело вполне безнадежно, и во имя Александра Семеновича я не имел права пренебрегать ни одним шансом. И я пошел на встречу с Карпулиным, описанную выше.

Ничего хорошего из этого не вышло. Клямин все равно был устранен, и я почувствовал, что самолюбию Максимука нанесен жестокий удар. Не знаю, может, ранее жизнь оберегала его от созерцания таких расправ (таких примитивных и интеллигентных! – на иные он наверняка досыта насмотрелся), но финал истории Клямина его поразил.

Самое любопытное, что Максимук попытался по-своему меня утешить.

– В том-то и дело, Вадим, что даже у таких, как Карпулин, реальной власти не хватает. Не справляются они с системой взаимосвязанных топаловых, вязнут в них... Проводимости нет, самые ценные идеи затухают на следующем же уровне, если не входят в резонанс с личными устремлениями топаловых... Удельные князьки, которым слишком многое дано на откуп, с которых слишком мало спрашивают... Уверен, что Вселенная родилась вместе с ними, обрела разум в момент их вступления в должность и расширяется исключительно ради их удобства, а с их уходом немедленно схлопнется, каллапсирует в точку, точнее – в восклицательный знак на их бронзовых памятниках...

Надо отметить, Иван Павлович любил всевозможные естественнонаучные аналогии. Некоторые ему, по-моему, удавались.

– И все-таки прошу тебя, Вадим, прочти мой роман, – сказал он тогда. – Мне действительно интересно узнать твое мнение...

11

Время было до предела неподходящее, однако „Новостройку“ я все-таки осилил. По диагонали, но от начала до конца. И обозлился на себя по-черному – ведь уже к десятой странице ясно стало, что читать не следует...

Для тех, кто не знаком с этим романом, на всякий случай кратко восстановлю его сюжет. Строится некий комбинат – в явно неподходящем месте, неподходящем с экологической и культурной точек зрения (будет разрушен красивый озерный уголок, снесены стены древнего монастыря). Новый директор, большой энтузиаст будущего промышленного гиганта, постепенно (на протяжении семисот страниц романа) убеждается в правоте тех, кто предлагает перенести стройку. Где-то в середине романа всплывают и дополнительные обстоятельства – скажем, экологически неразумное положение комбината оказывается и транспортно невыгодным. И наконец директор и его сподвижники выясняют, что сам проект комбината несовременен и к моменту завершения стройки продукция морально устареет. Так что проект надо перерабатывать (что директор с указанными сподвижниками начинает делать в предпоследней главе чуть ли не в свободное от работы время), а потому есть годик-другой и на привязку стройки к новому, всех устраивающему месту.

В целом выходит так, что порочность проекта ясна всем – от читателя до пионера Коли (одного из великих защитников местной природы, отличника к концу романа). Сопротивляются только какие-то неведомые темные силы в высоких планирующих органах, реально представленные лишь парой стандартных карьеристов из главка, впрочем, успешно разоблачаемых к последним главам. Ну и конечно, несколько пересекающихся лирико-бытовых линий, плюс социальный срез – рабочие, ИТРы, директора, работники министерств, дети, тещи, ударники, спекулянты, толкачи... Все правильно до зубной боли, порок наказуется, в перспективе просвечивает нечто сияюще-победительное...

По-моему, на все такое за глаза хватило бы рассказа, а еще лучше – газетного очерка, ибо в целом роман и есть распухший очерк в манере „так надо бы, потому что так хотелось бы...“

Что-то в этом духе я и сказал Ивану Павловичу и нажил себе вечного врага в лице Софьи Алексеевны. А сам Максимук, к немалому моему удивлению, вовсе не обиделся. Улыбнулся и пожал плечами:

– На таких, как ты, новостроечная литература действует как красная тряпка на быка. Кстати, поголовье нервных быков почему-то неуклонно растет. Как ты думаешь, почему?

Я вежливо промолчал. Но Софья Алексеевна не выдержала.

– Вы не разделяете народных взглядов, Вадим, для вас особые блюда готовить надо. А между прочим, когда по роману пятисерийник сняли, на телевидение много писем пришло, и почти во всех сказано, что проблема, поднятая Иваном Павловичем, очень важна...

Максимук не без труда успокоил ее и попросил меня, как о величайшем одолжении, прочесть рукопись первого варианта „Новостройки“. Я сопротивлялся, но он – великий мастер уговаривать. Пришлось взять рукопись (всего около трехсот машинописных страниц), о чем я впоследствии не пожалел.

Вроде, тот же сюжет, те же действующие лица, но совсем другой роман, лично меня всерьез затронувший (а датой, проставленной в конце рукописи, прямо-таки ошеломивший – в то время и так писать, так понимать! в то время, когда я с охапкой правдовернейших идей и густо-розовых надежд и со свеженькой дипломной корочкой в кармане переступал порог нашего Центра...). Звучала там какая-то трагическая нота, и события разворачивались совсем по-иному. Было видно, кто и почему думает задом, как благочестивые проходимцы, не сходя со своих высоких кресел, гробят человеческие судьбы и государственные миллионы, гробят, всеми средствами и с особой жестокостью отстаивая собственную избранность и неприкосновенность. Я увидел здесь топаловых от промышленности и экономики, небольшую, но очень колоритную галерею. Не знаю, может, в этом варианте тоже было немало от социологического очерка, но роман, несомненно, был – я имею в виду эту непрерывно звенящую трагическую ноту, заставляющую думать о переменах, о самых серьезных переменах, о скорой помощи перемен. И директор комбината добивался своего лишь ценой полного самосожжения, его не просто учили жить „Фэйсом об тэйбл“, его на костре поджаривали, и сгорали на том костре его карьера, его семья, его надежды. И самое главное – оставалось не слишком ясным, является ли новое решение действительно разумным или только так выглядит на фоне явно нелепого старого.

В общем, мне понравилось, и я с удовольствием сообщил об этом Ивану Павловичу. И почувствовал, что это сообщение окончательно настроило против меня Софью Алексеевну.

– Такие, как вы, Вадим, лет двадцать сбивали Ванечку с панталыку, – раздраженно сказала она. – А он, добрая душа, угодить им пытался. Есть, знаете ли, люди, которые сами ни черта не добились, но другим завидуют. Ты, говорят, добился, зато я лучше, я „моральней“, потому что я – страдатель, за правое дело горю. Кому сейчас это нужно? А Иван Павлович, если б вариантами своими нервов себе не портил и, между прочим, отношений с редакциями тоже, он сейчас целый десяти томник издал бы. Он ведь настоящий работяга!

Максимук ничего не возразил, и мне он ничего тогда не сказал, лишь поблагодарил за внимание. И другие свои вещи читать не предлагал. Я, конечно, пытался выяснить, почему он не опубликовал такой хороший роман, но Иван Павлович просто отмахнулся.

— Для того варианта время не пришло, — сказал он. — А когда время не приходит, оно уходит, оно, Вадим, никогда и никого не ждет. Очень, значит, деликатная штука назначать времени свидание...

Прошло месяца два, прежде чем Максимук снова напомнил о себе. Он позвонил мне осенним субботним вечером, был очень возбужден.

— Хочешь участвовать в блестящем эксперименте? — предложил он. — Ты вот там над каким-то электронным правдоматом работаешь, а я тебе живой правдомат покажу, образец, действующий в естественных условиях. Хочешь?

По правде, я, конечно не очень жаждал — недолюбливал экспериментов в том смысле, как их понимают гуманитарии. Однако Иван Павлович очень настаивал, и мы встретились на следующее утро на платформе пригородной электрички. И повез он меня на книжный рынок (почему-то именуемый „черным“), который собирался на одной из ближних станций каждое воскресенье.

Про рынок я знал и раньше, но попасть туда как-то не случалось. Да и не с чем было — дефицитных книг у меня нет, а денег для покупки за столько-то номиналов — тем более.

Должен сказать, удовольствие огромное. Хорошие книги я люблю, а видеть их в таком количестве — настоящий праздник. Даже то, что „видит око, да зуб неймет“, не портило мне настроения. И вообще все прошло бы очень славно, побродил мы просто с Иваном Павловичем по богатым рядам, разложенным прямо на траве. И погода такой прогулке на редкость способствовала. Но Иван Павлович замыслил не обычную прогулку, а своеобразную демонстрацию.

Он захватил с собой четыре своих романа и большой сборник рассказов — все то, что должно было войти в подписное издание, собрал в свой портфель. И стал ходить с „Новостройкой“ в руках и предлагать ее в обмен на самые серьезные книги. Меня он попросил быть рядом и ни во что не вмешиваться.

Для начала Максимук предложил свою книгу в обмен на томик „Мастера и Маргариты“. Владелец булгаковского романа окинул Ивана Павловича безразличным взглядом и пожал плечами.

— Я этого автора не знаю, — процедил он.

— Если не хотите менять, скажите, сколько стоит ваша книга, — не отступил Максимук.

— Два с половиной.

— То есть четвертной, — пояснил мне шепотом Иван Павлович, а вслух спросил. — А моя сколько?

Мужчина взял „Новостройку“, посмотрел цену на обложке и спокойно сказал:

— Два сорок. В лучшем случае.

— Как! — удивился Иван Павлович. — У нее же номинал — три рубля.

— Верно, — подтвердил мужчина. — Сдашь в бук и на руки получишь два сорок. Если возьмут...

– А могут не взять? – полюбопытствовал Максимук.
– В отдел обмена точно не возьмут, – вздохнул мужчина. – Даже на шестую категорию не потянет... А на скупку где-нибудь на окраине запросто сдашь, у них план по букинистике...

– Послушай, – сказал Иван Павлович, – а если я предложу тебе за Булгакова целую подборку этого писателя – у меня в портфеле, смотри, еще четыре его книги, всего рублей двенадцать по номиналу, а?

– На кой черт мне этот Максимук? – удивился мужчина. – Я же не тяжелоатлет, чтобы отсюда в бук макулатуру таскать.

И мы пошли дальше. Иван Павлович пристреливался к „Анжелике“ и к двухтомнику Монтеня, к „Современному японскому детективу“ и к томам Фейхтвангера... Отмечу, что все владельцы ценных книг вели себя, в общем-то, предельно вежливо – чужали, небось, зеленого новичка, лишь вслед ему посмеивались.

Только один молодой парень с толстым сборником Юлиана Семенова в руках разозлился:

– Вы что, шутите? С такой макулатурой сюда не ходят. Ее только автор поменять может, и то на госпремию.

Мне стало не по себе.

– Послушайте, – вмешался я, – вы же наверняка этого автора и не читали. А вдруг...

– И слава богу, что не читал, – перебил меня парень. – Я целую серию телефильма по этой муре смотрел. Помню, весь вечер потом плевался. Выпускают же такое...

– Но тут вот вокруг куча всякого ерундового развлекательного чтения, – продолжал валять я дурака. – Если мы вам „Анжелику“ предложим, вы ведь возьмете, а это серьезный автор...

– Так ведь те авторы ни на что не претендуют, они развлечь стараются, и спасибо им за честную работу. А это что? Чушь собачья!

Тут Максимук потянул меня за рукав, и мы продолжили свое путешествие.

– Не пойму только, вы меня Вергилием наняли или сами ко мне Вергилием напросились, – попытался я вызвать его на разговор. – Это ж мазохизм какой-то...

– Я бы заставлял всех членов Союза сюда, как на дежурство, являться! – с внезапной злостью оборвал меня Иван Павлович. – В такое мордой тыкать надо! Когда твой толстый роман дешевле переплета с новой книжки Булата Шалвовича – это здорово просветляет.

Он молчал на обратном пути – до самой электрички. А в вагоне продолжил самобичевание:

– Ты знаешь, Вадим, в одном из буков мне предложили сдать свою „Новостройку“ с уценкой на 20 процентов.

Меня все это понемногу стало злить (куда ушло г. олвоскресенья?).

– Вообще удивляюсь, что многие книги продаются, – сказал я. – Стоят на полках неделями, месяцами, потом – шарах и нет! В один день! Через год смотришь – переиздание.

— Это как раз просто, — усмехнулся Иван Павлович. — Сейчас гениальный механизм действует, называется Общество книголюбов. Государственным магазинам торговля с нагрузкой запрещена, а активисты Общества потихоньку и, разумеется, совершенно добровольно выбирают любую нагрузку — лишь бы дали под нее немного дефицита. В результате все довольны: издательство и торговля — реализацией, писатель — близящимся переизданием, а читатель — тем, что перехватил кое-что дефицитное и вполне читабельное чуть дешевле, чем на черном рынке. К тому же иную нагрузку можно не только в макулатуру сдать, но и букинисту под хорошее настроение и горящий план по скупке. Так-то!

Распрощались мы тогда довольно сухо. И не встречались до недавних пор. Я привел все эти фрагменты (быть может, немного смахивающие на главу из „Воспоминаний о...“), чтобы показать, что уже тогда, почти три года назад, Максимук находился на каком-то переломе, на ощупь оценивал свой путь, и итоги вряд ли удовлетворяли его.

12

Лишь полгода назад Максимук созвонился со мной. Попросил встретиться и рассказать о моей работе — он как раз задумал роман из жизни современных ученых или что-то в этом роде. Узнав некоторые подробности о правдомате (к тому времени прошедшем основные испытания и уже применявшемся в клинической практике), Максимук прямо-таки зажегся идеей, стал крайне активно (хотя и крайне по-дилетантски) обсуждать ее.

— Это — страшное оружие, — настаивал он. — На правду можно сесть, как на кол! Если мы начнем друг другу прямо в глаза правду-матку резать, что ж получится.

Он чуть было не собрался засесть за фантастическую повесть о правдомате, но вовремя сообразил, что фантастика здесь давно позади, а вокруг трезвая реальность, данная нам в весьма сильных ощущениях. Потом предложил написать большой очерк о моей работе, дабы появилась у меня хоть какая поддержка в близящейся финальной схватке с Топаловым. А схватка была не за горами — я это очень хорошо чувствовал. Ситуация вокруг завершающих экспериментов с правдоматом, вокруг клинической статистики складывалась так, что Топалов в любой момент мог прикрыть это дело, прикрыть намертво и без шансов на обжалование. Я и догадаться тогда не мог, что шеф вынашивает какие-то очень личные планы относительно моего аппарата. Я ждал, что Константин Иванович вот-вот прижмет меня к бортику, заставит оформить его соавторство — это как раз шаги в его манере (в реальности этих намерений я убедился лишь в ходе следствия, ибо в своих показаниях Топалов пытался создать впечатление, что именно ему, а не Клямину принадлежит исходная идея правдомата). Но, видимо, он колебался, видимо, выжидал — не рухнул ли с треском завершающие экспериментальные серии.

Несмотря на такого рода предчувствия, от очерка я отказался, объяснив Максимуку, что появление восторженного газетного материала „со стороны“ может дать Топалову сильные козыри против меня („псевдонаучная реклама“, „привлечение дилетантов“ и т. п.).

Иван Павлович как-то сник, перестал вести философские дискуссии. С месяц мы вообще не виделись, но потом он приступил ко мне с новым зарядом энтузиазма. На сей раз он настаивал на незамедлительном контакте с правдоматом. Чувствовалось, он очень серьезно готовился к этому шагу – даже медицинское обследование самостоятельно прошел, чтобы я не сомневался в отсутствии каких-либо противопоказаний.

– Писателю это нужней, чем другим сумасшедшим, – наседал он. – На ком же испытывать последствия правдоговорения, как не на писателе!

В конце концов я согласился – почему бы и нет? Иван Павлович обладал завидным здоровьем, и его добровольное участие в экспериментах нашего Центра выглядело благородным порывом (и по сути им было!).

Все шло достаточно успешно (с медицинской точки зрения). Иван Павлович интенсивно работал, контакт с правдоматом он переносил очень хорошо. Разумеется, я замечал, что в нем нарастает некая тоска, что порой он мечется и места себе найти не может, но это нормальные последствия, которые испытывают все те, кто получил от трех до десяти сеансов. Испытуемые достаточно долго пребывают в фазе правдивого мировосприятия и поневоле многое переоценивают – некоторые их жизненные позиции не выдерживают удара правдомата, приходится кое в чем перестраиваться. Однако до этого порога ситуация полностью обратима – опасность наступает после выхода за десятку. Где-то в районе пятнадцати сеансов человек может обрести иное качество – его правдивая реакция на мир закрепляется и не требует уже электронных стимулов. Но об этом я уже писал.

– Второй десяток ведет к новой форме паранойи – ты сотворяешь кого-то вроде homo verus, человека правдивого... – шутил по этому поводу Иван Павлович, хотя я видел, что шутки даются ему все трудней и трудней.

По моему крайне скромному знанию латыни, homo verus – это, скорее, „человек истинный“. Впрочем, не думаю, что тот и другой переводы противоположны.

Сейчас я понимаю, как здорово держался Максимук, и догадываюсь, чего это ему стоило. Шла напряженная работа над новой повестью, которую месяца два назад Иван Павлович завершил и направил в один из весьма дружественных ему журналов.

После этого Иван Павлович пребывал преимущественно в отличном настроении (в состоянии, которое иногда называют „заново на свет родился“). Я лишь единственный раз заметил резкую смену погоды – когда спросил его, как идут дела с подготовкой собрания сочинений. Максимук мгновенно помрачнел, махнул рукой и не стал отвечать.

А через несколько недель события приняли совсем иной оборот.

Началось со звонка Софьи Алексеевны.

— Вадим Львович, я понимаю, что отношения между нами сложились не лучшим образом, — сказала она, — но вы должны помочь мне, помочь немедленно. Ради Ивана Павловича, если вы хоть немного его цените.

Я только поздоровался и неопределенно хмыкнул. Контакты с Софьей Алексеевной были мне определенно неприятны.

— Вадим Львович, вы знаете, что мой муж недавно завершил новую повесть? Вы читали ее? Только говорите мне правду...

— Нет, не читал, — ответил я, и это была чистая правда.

Правда и то, что меня раздрало отчаянное любопытство, как и что напишет в новой своей фазе живой классик. Но я стеснялся попросить, а он не предлагал — возможно, в нем копошилась старая обида за мое небрежение „Новостройкой“, за нежелание читать другие его вещи... Не знаю. Я лишь однажды мельком видел на столе Максимука рукопись, открытую на первой главе. Эту главу я, конечно, прочитал — она состояла из одной-единственной фразы:

„Время задышалось — ему наступили на горло, и оно захрипело голосом Володи Высоцкого“

Вот и все, что я знаю о последней повести Максимука, даже название мне неизвестно. Но, с точки зрения наших с Иваном Павловичем экспериментов (разумеется, не с точки зрения читателя!), этого мне более чем достаточно...

— Ясно! — продолжала Софья Алексеевна. — Так вот, я ее тоже не читала. Но знаю, что именно от нее Ивана Павловича надо срочно спасать. В журнале ее за неделю с треском провалили, а вы знаете, наверное, что там к нему относятся очень хорошо, к тому же он член редколлегии... Хуже то, что главный расхвалил ее, дал читать друзьям, повесть по рукам пошла, теперь звонят какие-то незнакомые люди, дифирамбы поют... А Ваня уши развесил... Но какие ж тут комплименты, когда печатать не берут! А в издательстве отказались обсуждать вопрос о включении повести в собрание сочинений, хотя она не столь уж и велика. Тут Ивана Павловича совсем бес путать стал — он предложил исключить любой роман, чтобы повесть все-таки вошла. Они опять отказались. Тогда он настоял на сборе редсовета и предложил — что бы выдумали? — предложил выпустить повесть отдельным изданием, причем малым тиражом и в мягкой обложке за счет исключения не одного тома, а всего собрания! Представляете! Ему снова отказали — повесть не будет напечатана ни при каких условиях, и все тут. И тогда Иван Павлович передал директору издательства письменный ультиматум — его собрание сочинений должно печататься либо с этой повестью, либо вообще не печататься. И точка! А ведь первый том уже в наборе... И вот мне только что сообщили, что вопрос об исключении собрания из плана в принципе решен. К тому же Ивана Павловича будут разбирать на секретариате Союза... Беспрецедентный скандал! Это кошмар, Вадим Львович! Что вы с ним сделали?

Не скажу, что я был поражен этим сообщением как величайшей неожиданностью. Правдомат сработал на все сто — ничего не поделаешь. Но Иван Павлович все еще находится в обратимой фазе. Пройдет немного времени — не более месяца, и он сможет все переиграть в соответствии с обычной своей позицией. Надо немного выждать, вот и все. И никакого скандала не будет. Именно это я и попытался втолковать Софье Алексеевне.

— Значит, я не ошиблась! — закричала она. — Значит, это и вправду последствия ваших опытов! Как вы могли поднять руку на человека такого масштаба, как Иван Максимук? Ставили бы опыты со всякими студентами и слесарями, но вам таких подопытных кроликов мало, вам выдающихся людей подавай! Если в ближайшие недели все не закончится благополучно, я в суд на вас подам, я от вас мокрого места не оставлю, Вадим Львович!

Надо отметить, что данное обещание она выполнила в полную меру своих сил.

— И еще, — зловеще понизив голос, добавила тогда Софья Алексеевна, — вы немедленно организуете мне официальную справку от вашего Центра, что Иван Павлович пребывает в состоянии временной невменяемости в связи с участием в важных психиатрических опытах. Вы немедленно выдадите эту справку мне на руки, и, может быть, с ее помощью мне кое-что удастся исправить.

Пришлось объяснять, что Иван Павлович в настоящее время вполне вменяем и его психическое здоровье смешно подвергать сомнению. И никакой позорящей его справки я не выдам. Софья Алексеевна зашлась в крике, перешла на прямые оскорбления, и я бросил трубку, понимая, что накликал на себя и свой правдомат настоящую беду.

Дальнейшие события развивались молниеносно. Софья Алексеевна обратилась с той же просьбой лично к Топалову, и он преспокойно выписал ей требуемую справку (я узнал об этом лишь много позднее, а достоверно — лишь от следователя Ахремчука).

Топалов, по-видимому, окончательно поверил в действие аппарата и тут же — через день — вызвал меня к себе, отобрал один действующий образец и наложил вето („временно — до погашения слухов“, как он выразился) на эксперименты с другими добровольцами. Далее грохнула его история.

Максимук пытался мне помочь (последняя встреча с Карпулиным), между прочим, уже зная, что по писательским инстанциям ходит справка о его временной невменяемости, и подозревая в выдаче справки именно меня...

А через несколько дней после драматического возвращения Карпулина из Москвы Иван Павлович покончил жизнь самоубийством. По инициативе Софьи Алексеевны (и в какой-то степени Топалова) это было поставлено мне в вину как доведение до самоубийства (статья 105). В ее заявлении фигурировали также обвинения в незаконном врачевании, изготовлении и сбыте наркотиков и склонении к их употреблению.

Таковы основные факты, связанные с возбужденным против меня делом. К изложенному могу добавить совсем немного.

Я не считаю себя виновником всего происшедшего. Не считаю, что толкнул на хулиганский поступок К.И.Топалова, не считаю, что довел до душевной болезни К.С.Карпулина, а И.П.Максимука — до самоубийства. Думаю, что в юридическом плане я действительно ни в чем таком не виноват и следствие рано или поздно придет к правильному выводу. Понимаю также, что кое-кому очень выгодно объявить меня виновным — это позволило бы наиболее безобидным образом интерпретировать причины описанных событий.

Понимаю и другое — строго говоря, в этой ситуации невиновных тоже нет. Молчаливо кивающим (среди которых я числился много лет) легче всего уйти от ответственности, но ответственность не перестает в связи с этим существовать. Я помалкивал, боясь сгубить свое дело (во имя, вроде бы, благородной цели!), но молчание — тоже взрывчатка, оно накапливается до определенной критической массы, после чего следует взрыв, который губит не только то, что пытался уберечь, но и многое иное, что, по сути, значительно важнее и дороже.

В данном случае может показаться, что переполнившей каплей стал именно правдомат со всеми своими экзотическими качествами, но, помоему, это не так.

Каплей может стать что угодно (необязательно экзотическое!) — новый станок и новая книга, глобальный проект социального переустройства и случайное слово в тихом доверительном разговоре. Суть не в форме капли, а в объеме накопившегося нонсенса.

И еще несколько слов по поводу ходатайства, недавно поступившего на имя следователя Ахремчука. Я искренне верю в сочувствие, с которым относятся сейчас ко мне товарищи Чолсалтанов и Последов. Что ни говори, в данное время они вздохнули с облегчением, и, насколько мне известно, работа Центра стала вестись интенсивней (несмотря на весь разразившийся вокруг Топалова и меня скандал!). И, разумеется, в глубине души коллеги могут считать, что в какой-то степени обязаны новой атмосферой мне и моему правдомату.

Сразу после трагического поступка Ивана Павловича Чолсалтанов и Последов пытались внушить мне некий наилучший вариант, намекая на мое сильное многолетнее переутомление, на возможное снижение психоконтрольных функций в связи с этим... Короче говоря, они полагали, что лучший (для меня и, разумеется, для Центра) выход — немедленное мое освидетельствование. Довольно простая и в чем-то даже благородная идея — не исключено, что я вообще не несу ответственности за использование своего изобретения (а они несут, но лишь за ослабление контроля за действиями сотрудников).

Разумеется, я категорически отказался участвовать в этих играх. Видимо, опасный опыт Софьи Алексеевны, намертво связавшей использование правдомата с неумняемостью, не послужил им уроком. И теперь, разочаровавшись в моем восприятии ситуации, они пытаются убедить следствие в своей версии, в необходимости провести соответствующую экспертизу подследственного.

Хочу заявить, что действия такого рода были бы абсолютно бессмысленны. Правдомат существует независимо от психического состояния его создателей — это факт. С ним вступали в контакт десятки людей. Он помогал больным и — что, может быть, еще важнее — совершенно здоровым людям. Количество добровольцев, желающих на себе испытать последствия этого контакта, несомненно, будет расти.

Этих добровольцев не остановят никакие запреты, никакие грозящие им изломы судеб. И в этом наше общее спасение.

Минск, 1986

ГОЛАЯ ПРАВДА О ГОЛОМ КОРОЛЕ

*— Да ведь он голый! —
закричал вдруг какой-то
маленький мальчик.*

**ХАНС КРИСТИАН
АНДЕРСЕН.**

Новое платье короля.

1

Вам нравятся сказки? Конечно, конечно... Я так и думал. А мне — нет! Почему? А вот потому!

Потому что подлинности в них не хватает и ответственности тоже. И оттого переполнены они всякими домыслами и соображениями, весьма оскорбительными для верноподданного жителя тридевятого королевства.

Что в сказках хорошего? Сами посудите.

Во-первых, сплошные выдумки — никакого представления о движущих пружинах истории. Как будто эти пружины ни разу не хлопали сказочников по лбу или по иному месту, отведенному для ускоренного внушения правильных мыслей. Возьмите, к примеру, ту же самую историю тридевятого королевства. Чего только здесь ни наплели! И люди, видите ли, квелие, и король какой-то не такой — все привилегии родственникам и лизоблюдам раздал. Ну и что? А в тридеседьмю лучше, да? Баба-Яга прогрессивней? Ну и катитесь туда — кто мешает! А мы свое дело и без вас делаем...

Итак, во-вторых. Во-вторых, слабовато с моралью. Да-да, насчет морали в сказках очень не того. Ищет, скажем, симпатичная, но бедная девчонка принца. Или наоборот, простецкий — парень околпачивает царя-батюшку и прибирает к рукам принцессу с половиной царства в придачу. Опять же — ставит король женихам условие, чтоб разбогатеть или трехглавого дракона пристукнуть, а насчет морального облика будущих зятьев

не интересуется. Вот из-за такой агитации и получается потом, что проходимцы троны захватывают и браконьерство процветает. Драконы так совсем повывелись, ни в какой Красной книге их не сыщешь. Но не в драконах дело. Дело в морали, а моралька-то, прямо скажем, с душком...

Короче говоря, слишком уж много в сказках лжи и кое-чего похуже — откровенного сочинительства.

Примеры? Сколько угодно! Сколько душа ваша пожелает!

Вот, скажем, одна история небезызвестного господина Андерсена, да-да, Ханса Кристиана, который из Дании. Я имею в виду „Новое платье короля“ Конечно, это не единственный случай, я мог бы напомнить и о десятках других. Но о них как-нибудь потом, а пока поговорим о „Новом платье...“ Очень уж характерная история. До сих пор не пойму, зачем господину Андерсену понадобилось скрывать правду.

Говорите, мог не знать этой правды?

Бросьте, кто ж ее, родимую, не знает! Судите сами...

2

Прежде всего воздадим г-ну Андерсену должное — кое-какую канву реальных событий он в своей истории уловил. Так что и правда там есть. Немного, но есть!

Для начала скажем прямо, что король, который любил наряды больше всего на свете, — фигура историческая. Он успешно правил небольшой страной Виварией, и звали его Турпис VII.

Верно и то, что на наряды он просаживал добрую треть госбюджета. Г-н Андерсен не приводит этих данных, но тут грех невелик. Фактически средства на гардероб Его Величества выделялись по многим графам государственных расходов, и не мудрено было запутаться. Уточним — деньги тратились не на одного короля, одному ему было бы не так накладно ежедневно облачаться в новое платье. Но, сами понимаете, от него не отставали жена, детки, племянники, двоюродные братья по материнской линии и т. д.

В столице Виварии, славном городе Сан-Поркусе, жилось весело и приятно. Обилие нарядов порождало неисчислимое количество балов, карнавалов, дипломатических приемов, танцевальных конгрессов, не говоря уж о всемирно известном ежегодном симпозиуме „Золотой пояс“, почетный президиум которого, по неизменному единодушию участников, возглавлял Турпис VII. Несколько менее весело обстояли дела в провинции. В отдельных деревеньках отдельные люди даже не могли одеться как следует. Но в целом Вивария процветала, и всякие иноземцы, особенно купцы-мануфактурщики и манекенщицы международного класса, тучами слетались в страну.

Разумеется, среди них попадались и злопыхатели-очернители, но им никогда не удавалось заглушить уверенную поступь Виварии на пути к светлому будущему очередного модного силуэта. Мелькали и проходим-

цы различных калибров, любители спекулировать изящным импортным камзолом или фирменными панталонами, но этих типов старались отпустить с миром в надежде, что дома они опубликуют теплые воспоминания о безупречном вкусе виварийцев.

Хроники тех времен дружно подтверждают, что однажды в Сан-Поркусе объявились двое портных с отличными рекомендациями из Лондона и Парижа. О рекомендациях, подписанных весьма влиятельными людьми, г-н Андерсен почему-то предпочел не вспоминать. Пусть это не столь уж крупное прегрешение не ляжет пятном на его совесть. Мелочи есть мелочи!

Несмотря на рекомендации, портные очень долго дожидались приема во дворце, и их денежные дела постепенно пришли в полное расстройство. Добиться приличного заказа на королевское платье было ох как непросто! Конкуренция достигала тогда небывалых масштабов, и для заключения хотя бы небольшого договора с Главным управлением королевского гардероба нужно было обладать феноменальной фантазией или обширными связями в Министерстве двора.

Портные, надо сказать, считались очень приличными мастерами, но по части связей ничего такого не имели. А заработать им хотелось, да еще как!

Ребята они были неглупые, и, услышав о некоторых, разумеется, сугубо временных экономических затруднениях королевства (хозяйство слегка подразвалилось, ибо, как вы прекрасно понимаете, даже самые элегантные панталоны кушать не станешь), они решили чуть-чуть сыграть на этих трудностях. Не подумайте только, что они поставили цель нажиться на несчастях трудолюбивого виварийского народа. Конечно, нет!

Дело в ином. В Виварии, как и в некоторых других местах, борьба с трудностями начиналась с издания королевского указа о назначении Виновного. Нередко борьба этим указом и завершалась, но нас такой обычай ничуть не касается. Тем более что назначение на должность Виновного ни к каким неприятным последствиям не вело, напротив, можно было хорошенько отдохнуть от исполнения нелегких государственных обязанностей и всерьез заняться улучшением гардероба.

Так вот, хитрые портные решили немного поэксплуатировать виварийскую психологию и действительно объявили, что способны изготовить сверхоригинальную одежду, которую не может увидеть глупец и вообще человек, так сказать, служебно не соответствующий.

Смешно думать, что Турпис VII так и поверил портным. Он был далеко не дурак, а главное – таковым не казался. Король рассудил мудро: мол, чем черт не шутит, вдруг у него и вправду появится небывалый костюм, а заодно сыщется истинный дурак в его правительстве, который и примет на себя всю ответственность за развал экономики.

И уж во всяком случае не следует считать портных заурядными плутами и обманщиками. Тут г-н Андерсен несколько переборщил. Портные всего-то и хотели пошить нормальную одежду за нормальный гонорар, и разве они заслуживают порицания за то, что не смогли потрафить вкусам Его Величества, крайне изощренным как в смысле модных силуэтов, так

и в плане рекомендательных придворных связей. Тем более что их невольный обман привел к исключительному процветанию Виварии.

Но простим г-ну Андерсену поверхностную психологическую характеристику короля и портных. Заблудиться в дебрях чужой души может каждый, ведь и в своей собственной это сделать нетрудно.

3

Теперь мы приступаем к изложению более важных фактов, и расхождение с трактовкой г-на Андерсена становится более заметным.

Турпис велел выписать портным весьма приличный задаток. Им было отведено огромное служебное помещение в королевском ателье, выделен импортный ткацкий станок, швейные машинки и прочий инвентарь, выдана уйма ниток, иголок, драгоценных шелков, парчи – в общем, все, чего душа пожелает. И это святая правда.

А вот то, что портные стали просто изображать работу, посмеиваясь над глупостью виварийского руководства, – сущие выдумки. На самом деле они были честные ребята, и лишь злые обстоятельства заставили их пообщаться больше, чем они могли сделать.

Короче говоря, сначала им очень хотелось отработать аванс, получить еще немного денег на дорогу и поскорее смыться в какую-либо страну попроще. Естественно, Жана (так звали одного из портных) тянуло уехать в родной Париж, а Джека (так звали второго мастера) – нырнуть в милые его сердцу лондонские туманы. Иногда они поговаривали о совместных ателье в какой-нибудь третьей стране. Но все это были пустые фантазии, ибо они не могли покинуть Виварию, не отслужив королю.

Недели две они ломали голову, выдумывая все более невероятные проекты. Наконец, Жан ухватился за отличную идею.

Дело в том, что король был человеком широких интересов. В свободное от примерок время он серьезно увлекался коллекционированием орденов. Урвав несколько минут, он призывал к себе придворных художников и граверов, и они совместно придумывали новые высокие награды Виварии. Когда все ордена по любому, сколь угодно мелкому, поводу были придуманы, изготовлены и пущены в оборот, король наградил ими себя, кое-что раздал своим министрам и родственникам и... заскучал.

Впрочем, скука длилась недолго, на смену ей пришла небывалая дипломатическая активность короля. Он стал направо и налево заключать оборонительные и наступательные союзы, раздавать кредиты и просто подарки. Он награждал высшими виварийскими орденами новоявленных друзей и извечных врагов, беглых королей и императорствующих президентов – кого угодно, лишь бы тот был в состоянии проявить ответную вежливость и подписать указ о немедленном награждении Турписа VII. В результате этих операций на короля Виварии обрушился поток иностранных наград. Не имеет значения, например, что Турпис одновременно заклю-

чил военные пакты с Антарктической республикой и Сахарской империей, которые непрерывно воевали на протяжении последних пятидесяти лет. Важно, что он почти одновременно получил орден Свободного Айсберга с золотыми пингвинами, который имелся только у президента республики и его двоюродного брата, и Большую Солнечную медаль, которой не было даже у сахарского императора – тот поклялся, что наградит себя только после долгожданной победы. И не так существенно, что после выдачи бессрочного кредита на постройку загородной виллы премьер-министра Подоблачных Островов в Виварии не осталось ни грамма золота на покупку хлеба для нескольких слегка голодающих провинций. Важно, что к камзолу № 2173 очень подходил редчайший орден Голубого Облака. Стоит ли удивляться, что Турпис VII пользовался безграничной любовью министров финансов во всех частях света, – теперь им не нужно было изобретать новые налоги, они вполне обходились скромными рекомендациями по внедрению новых орденов. И опять-таки благодаря тонкому вкусу виварийского короля небывалых высот достигло гравёрное искусство...

Но мы здорово отклонились. Возвратимся к нашим портным. Так вот, Жан придумал нечто невиданное – за какой-то месяц они с Джеком сработали для короля единственный в своем роде камзол, на котором тончайшим золотым шитьем были запечатлены все-все ордена и медали, когда-либо полученные Его Величеством. Это выглядело безумно красиво, а главное – практично, ибо общий вес настоящих наград к тому времени составлял ни много ни мало – ровно четыре пуда. Поэтому, натянув по случаю особо важного приема свой Главный Парадный Мундир, бедный Турпис вообще не мог передвигаться самостоятельно. Его вели под руки два специально тренированных чемпиона по тяжелой атлетике. Но все равно приходилось крайне трудно. Хоть плачь – ордена умещались и держались только на этом мундире, где грудь и спина были специально укреплены и расширены с помощью стальных полосок, и пребывать в подобном одеянии стало слишком мучительно даже для закаленного монарха. Никто во всем мире не страдал из-за собственного хобби так, как он.

Новенький, предельно облегченный, парадный камзол был направлен Его Величеству, и довольные своей хитростью портные стали дожидаться невероятных милостей: золота, должностей, почетных грамот – в общем, всего того, о чем так приятно мечтать, попивая винцо и перекидываясь в картишки.

Ну, кто из вас бросит камень в неопытных плутишек?

Конечно, они допустили ошибку, однако кто из нас застрахован от непонимания королевской логики!

Короче говоря, Турпис зверски осерчал, даже ногами затопал от злости. Бедные портные не поняли душу истинного коллекционера. Во-первых, ему подавай подлинник, всякие репродукции, даже золотом шитые, его никак не устраивают. Во-вторых, настоящему коллекционеру в глубине души наплевать на уже собранное им, если он лишен возможности

приобрести хотя бы еще один новый предмет страсти. А на камзоле – спереди, сзади и даже на рукавах – не оставалось ни малюсенького квадратного миллиметра, чтобы вышить новый орден. Предусмотри портные этот резерв, неизвестно, как бы повернулась история всей Виварии. Но они ничего такого не предусмотрели. Тем самым – улавливаете? – делался тонкий намек, что король недостойн иных высших наград. А это уже дело политическое – такие намеки граничат с государственным преступлением.

Король пропсиховал всю ночь, пока бригада дежурных историков и художников не представила ему готовый проект нового сногшибательного ордена За Чрезвычайные Услуги. Король немного подумал, переделал Услуги на Заслуги, и к следующему вечеру первый, еще тепленький образец нового ордена был вручен ему в весьма торжественной обстановке. В ответной речи король весьма раздраженно высказался насчет „всяких чужеродных элементов“, безуспешно пытающихся подорвать авторитет короны...

Тут-то и наступили главные события, слишком бегло и невнятно описанные г-ном Андерсеном.

4

К недотепам-портным был направлен старый министр двора, умный, как энциклопедия, и хитрый, как султанский евнух. Его снабдили четкой инструкцией – выяснить, как идут дела у политически неграмотных мастеров, и, если обнаружатся какие-то недоработки по части выполнения основного плана, примерно их наказать. Кроме того, министр нес с собой злополучный камзол и сопроводительную бумагу, где было деликатно указано, что дарить королю изображения его орденов, не упомянув о такой важной награде, как орден За Чрезвычайные Заслуги, по крайней мере преступно, и при повторении столь оскорбительных действий последует нечто страшное, возможно, и смертная казнь...

Так что г-н Андерсен неправ, утверждая, что король просто побоялся неприятностей с невидимой тканью. У Его Величества не возникло тогда и тени подозрения, что он может чего-то не увидеть.

Когда старый министр граф де Сегнис обозрел пустые станки, он вовсе не удивился. Он давно догадывался, что жалкие портняжки заврались в своем энтузиазме и ничего такого необычного у них не выйдет. Он отлично понимал, что нарядный камзол с вышитыми орденами был неаявной мольбой о почетной капитуляции. Он был умен и чертовски искушен в человеческих отношениях, этот старый министр двора. И предчувствовал, что вся его задача сведется к единственному – выбрать разумное наказание для Жана и Джека. И может быть, краешком своей изношенной дворцовыми интригами души он даже жалел этих гастролеров-неудачников.

Вот как на самом деле выглядел приход доверенного королевского министра к портным.

Прочитав сопроводительную бумагу и развернув пакет с парадным камзол, Жан понял, что его песенка спета: Парижа ему не видать, денег тоже, а удержится ли голова на плечах — опять-таки большой вопрос.

Но, к счастью, Джек сохранил хладнокровие.

— Это недоразумение, — спокойно сказал он министру. — Ведь камзол с вышитыми орденами мы просто подарили Его Величеству, чтобы он убедился, как ловко мы умеем работать на отходах...

— На каких отходах? — удивился министр.

— Простите за оговорку, ваше сиятельство, — равнодушно продолжал Джек, — пусть не на отходах, а на сэкономленном сырье, какая разница? Главное, чтобы королю понравилось. Извольте поглядеть, ваше сиятельство!

И Джек широким взмахом руки пригласил министра подойти поближе к надраенному до блеска и, конечно же, совершенно пустому импортному станку.

— Не беспокойтесь, ваше сиятельство, — сказал он, — сейчас ткань наша столь тонка, что издали даже умнейшие из умных ничего не могут увидеть.

— Но я-то вижу... — внезапно обронил министр.

Эта реплика вырвалась у старика как-то сама собой, без всякого контроля со стороны мозга. Простенькая ловушка захлопнулась. Несколько случайных слов решили судьбу портных, министра, короля и даже всей Виварии. Но об этом попозже. А пока — представьте себе эту колоритнейшую сцену: ошарашенный министр, который только что стал умнее всех умных, и торжествующие портные, которых мгновение назад лишь несколько шагов отделяло от виселицы.

— О-о! — хором воскликнули Жан и Джек, склоняясь в почтительном поклоне.

„А, черт с ними! — подумал старый придворный. — Стоит мне не увидеть эту дурацкую ткань, как герцог Рудис немедленно примется ее нахваливать, всячески унижая мое достоинство. Эта грубая скотина давно под меня копает, и все из-за того, что я урезал каких-то полмиллиона на обновление его гардероба. А откуда мне было взять эти деньги, если и Его Величеству скоро придется по два часа пребывать в одних панталонах? Черт с ними! Пусть король сам расхлебывает кашу...“

С тем он и удалился, однако расцветку ткани на пустом станке одобрил.

Узнав о результатах этого визита, король пришел в восторг — ведь он вот-вот должен стать обладателем уникального костюма. И все-таки какой-то стомиллионной долей души Турпис VII не мог поверить своему счастью. Тогда он решил послать в мастерскую кого-нибудь, скажем так, не слишком опасавшегося графа де Сегниса. Проверка никогда не помешает!

Собственно, главная цель короля заключалась теперь в ином. Разве нуждается в проверке то, во что очень хочется верить? Так вот, король хотел, чтобы портные как следует приготовились к его личному визиту и вообще поторопились. Поэтому в мастерскую был командирован герцог Рудис, известный своими оппозиционными настроениями.

В этих настроениях многое заключено, и зря г-н Андерсен не упомянул о них, зря! Впрочем, он и о герцоге не сказал ни слова.

Начнем с того, что Рудис занимал должность не рядового, а Великого герцога, то есть при случае вполне мог претендовать на теплое местечко своего двоюродного брата. Но король был лишь на пару лет старше Рудиса и едва разменял восьмой десяток. Так что претензии Великого герцога на трон (при учете неуклонно растущего долголетия виварийцев и длиннейшей очереди за короной, состоящей исключительно из деток Турписа VII) выглядели весьма эфемерно.

Не желая смириться с этой неоглядной очередью, герцог Рудис неустанно фрондировал. Дошло до того, что он стал носить воротник на целый дециметр длиннее королевского. Безобразно интригуя, он сумел недорого прикупить единственный экземпляр ордена За Борьбу с Тиранией, завалившийся у одного из давно забытых вождей расформированного африканского племени. И этого ордена не было у Его Величества. Так что наплевательское отношение к чести родины стало воистину определяющей чертой герцогского характера.

Короче говоря, у герцога Рудиса было столько оснований для вражды с королем и королевскими министрами, что мудрейший Турпис, ни минуты не колеблясь, избрал своего двоюродного братца для окончательной оценки творчества портных.

Граф де Сегнис сразу же понял, что готовится опаснейший визит, и не стал терять времени. За какие-то сутки весь Сан-Поркус, а потом и вся Вивария заговорили о необычайной ткани. И на портных заработала величайшая из незримых сил природы — общественное мнение.

5

Краткий рассказ о посещении мастерской Великим герцогом нельзя не предварить замечанием, что наши с г-ном Андерсеном пути расходятся все дальше. Мы движемся по дороге правды, чистейшей, как слеза голодного ребенка, тогда как бесконечные умалчивания великого сказочника вообще никуда не ведут, во всяком случае не позволяют понять самый загадочный зигзаг мировой истории, именуемый „виварийским чудом“. Но это вы и сами когда-нибудь осознаете, а пока возвратимся к герцогу, перешагнувшему порог королевского ателье.

Перешагнув указанный порог, Рудис сразу же усек, что европейские мастера — грандиозные авантюристы. Объяснения бойкого Жана и прочие восторги по поводу качества невидимой ткани он попросту пропустил мимо ушей. Он стоял посреди мастерской, и на губах его играла плотоядная усмешка, что однозначно указывало на напряженную работу мысли в опасном направлении — кому и как можно устроить пакость в связи с работой этих очаровательных лгунишек.

Подчеркиваю – Великий герцог ни на минуту не усомнился в правдивости собственных глаз. И если на его лице отражались какие-то переживания и внутренняя борьба, то они отнюдь не касались философских проблем типа: „Существует ли нечто вне наших ощущений?“ или „Дурак ли я, и если нет, то почему не вижу ткани?“

Просто за несколько минут созерцания пустого станка Рудис совершенно достоверно вычислил, что начинать открытую войну против министра двора, обвинив его в государственной измене, нецелесообразно. Тем более что только вчера министр ни с того ни с сего прислал любезное письмо, из которого следовало, что вопрос о дополнительной субсидии в полмиллиона будет рассмотрен соответствующими инстанциями снова и на этот раз решен положительно.

Зато Великий герцог сделал важнейшее открытие – он понял, что если признать ткань существующей, то из нее рано или поздно будет пошит столь же наблюдаемый костюм, а новый костюм король непременно должен использовать...

„Ха-ха! Вот будет потеха, – думал герцог. – Да я бы сам никаких денег не пожалел, чтобы устроить такую шутку и прогнать его дряхлое величество голышом по всему Сан-Поркусу. А тут задаром...“

Герцог вычислил бы и еще немало полезных вещей, но в этот момент он почувствовал столь сильное умственное перенапряжение, что решил пожалеть себя и свою многочисленную семью.

Он громогласно расхвалил ткань и даже, по свойственному ему фрондерскому демократизму, прихватил как бы в подарок симпатичный златотканый кафтан в стиле „а ля Рюс“, который бедные портные, мучаясь бездельем, опять-таки сочинили из сэкономленного сырья. Напоследок герцог велел поторопиться и побыстрее перейти к изготовлению костюма.

После сообщения Рудиса Его Величество окончательно уверовал в свою звезду и приказал собрать подобающую свиту для самоличного посещения мастерской.

Поднаторевшие в придворной политике портные не ударили лицом в грязь. Когда король вперил ошалевший взгляд в совершенно пустое пространство, окутывающее станок, Жан и Джек хором сказали:

– Ваше Величество, мы приготовили для вас сюрприз – ткань полностью готова.

У бедняги короля отнялся язык, а придворные, перебивая друг друга, поспешили огласить воздух хвалебными воплями и восторженными причмокиваниями.

Король стоял и горестно размышлял: „Я не слишком глуп, но не пришла ли пора подавать по собственному желанию? Неужели это неизбежно в судьбе монархов – никогда не видеть того, что доступно любому подданному?“ В общем, сбывалось то, чего так опасалась одна стомиллионная доля его души.

– Да-да, недурно, – пробормотал он.

Но тут выступил вперед его злой гений в образе двоюродного брата.

– Ваше Величество, из предварительной беседы с портными я понял, что им хватит ткани не только на костюм, но и на отличное нижнее белье, – выпалил он и добавил, метнув грозный взгляд на притихших мастеров: – Не так ли, милейшие?

– Т-так, – выдавил из себя Жан.

– А не выкроите ли вы и платье для Ее Величества, нашей очаровательной королевы Профузии? – не успокаивался герцог.

Это было уже слишком. Нервы впечатлительного Жана не выдержали, он словно окаменел. Зато невозмутимый Джек оказался на высоте.

– Никак нет, ваше высочество, – отбил он атаку Рудиса. – Платье для королевы не получится, необходимо изготовить еще несколько метров ткани.

Герцог и сам почувствовал, что перегнул палку, однако поспешил тут же закрепить одно из своих завоеваний.

– Итак, господа портные, вы немедленно изготовите полный королевский костюм, мантию и, разумеется, тончайшее белье, – торжественно провозгласил он. – Но не тяните, ибо через три дня состоится торжественное шествие по Сан-Поркусу, и мы немедленно объявим, что король будет одет в уникальное платье отечественного производства.

– П-позвольте, ваше высочество... – вступился граф де Сегнис, делая слабую попытку защитить интересы своего монарха.

– Не позволю! – зарычал герцог Рудис. – Неужели вам жалко выписать этим славным парням лишнюю сотню золотых, чтобы король был одет как следует!

И придворные вежливо заплодировали словам герцога и величественному молчанию короля. Потом они негромко прокричали: „Виват!“

Официальные историки Виварии считают, что именно от этого приветственного клича и произошло название их процветающего государства. Они утверждают, что этим возгласом встретили древние виварийцы приход к власти основателя династии Турписов, и это приветствие якобы заимствовали древние римляне. Реакционные зарубежные ученые не разделяют эту точку зрения, спекулируя на некотором промежутке между гибелью Римской империи и рождением Турписа I, но у нас нет ни места, ни терпения для опровержения всяких антививарийских домыслов.

Короче говоря, герцог Рудис сотрясаясь от внутреннего хохота, король чуть не плакал, а очаровательная Профузия громче всех выкрикивала национальное приветствие, крепче и крепче сжимая слабое плечико своего маленького правнучка и пьянея от чувства признательности к храброму Джеку, отстоявшему ее честь.

„Какой кошмар“, – думал граф де Сегнис.

„Так-так... Тут что-то есть, что-то есть, – рассуждал про себя министр внутренних дел маркиз де Суавис. – Конечно, перепадет мне работенки в связи с этим шествием, но здесь просматривается нечто небывалое...“

Кстати, уважаемый маркиз – весьма важный персонаж этой (да и вообще всей виварийской) истории. Не сказав о нем ни слова, г-н Андерсен полностью лишил свою хронику какого-либо научного интереса.

Вечером того же дня Королевский Совет Виварии единодушно утвердил закон, согласно которому во время церемонии шествия король будет одет в новый наряд, укрепляя тем самым международный авторитет страны.

Возможно, у вас возник вопрос – из-за чего сыр-бор? Подумаешь, опустил г-н Андерсен некоторые детали... Так ведь подумать-то следует, ибо из этих некоторых деталей самое важное и выстраивается. Смотрите сами!

6

Король погоревал-погоревал и, придумав хитрый план проверки собственного зрения, немного успокоился. Утром того дня, на который была назначена церемония, он велел доставить новую одежду в Золотую Примерочную – главный зал дворца.

Портным предоставили почетное право собственноручно облачить Его Величество в невидимое белье, невидимые панталоны, невидимый камзол. Мастера отнеслись к этому делу со всей серьезностью, а Жан даже не удержался от замечания:

– Ваше Величество, вы попали рукой мимо рукавчика.

Стояло лето, и король не ощущал холода, разве что легкий внутренний озноб. Казалось, ему все уже безразлично.

„Слава богу, не придется идти босиком“, – радовался Турпис VII.

Башмаки он выбрал вполне солидные – на толстой подошве и с бриллиантовыми пряжками. Корона тоже не блистала оригинальностью, была зрима и весьма осязаема, то есть удовлетворяла всем требованиям, которые способен предъявить к короне самый придирчивый монарх.

„Хорошо еще, – думал Турпис, – что эти умники не изобрели корону из невидимого металла. Впрочем, такая корона очень соответствовала бы духу времени...“

Эта исторически достоверная мысль короля доказывает, что великие открытия не возникают случайно в форме озарения гениального одиночки. Они носятся в воздухе и мгновенными отблесками скользят в извилинах самых разных людей. Вот и сейчас Его Величество был бесконечно близок к формулировке идеи, прославившей впоследствии маркиза де Суависа. Впрочем, я думаю, королям не подобает делать великие открытия. Это неприлично. Для этого есть подданные.

Внезапно Турпис оживился и, делая вид, что обтягивает камзол, небрежно произнес:

– Ордена!

– Ордена... ордена Его Величества... награды короля... – понеслось по залам дворца.

Вкатили золоченую тележку. Король потребовал приколоть к камзолу орден За Чрезвычайные Заслуги. Началась небольшая паника. Камергеры занервничали – не прикалывать же орден к голой груди. С другой стороны, считать грудь голой – равносильно служебному несоответствию...

Но Джек и тут не потерял присутствия духа.

– Ваше Величество, – сказал он, – эта ткань слишком нежна, чтобы выдержать ваш великолепный орден. Прикажите принести вашу замечательную орденскую ленту.

– Но кому нужен камзол, к которому нельзя прикрепить даже один не-большой орден? – вознегодовал Турпис.

Тут и у Джека не выдержали нервы, а Жан успел трижды попрощаться с головой.

– Искусство требует жертв, Ваше Величество, – сквозь зубы процедил герцог Рудис, серьезно опасаясь за судьбу столь тщательно подготовленного представления.

За какое-то неуловимое мгновение герцог перебрал добрый десяток спасительных идей, но ни одна из них не могла бы поколебать короля. И тогда Рудис пошел с козырного туза, наглядно демонстрируя свой тезис о жертвах ради искусства.

– Тем более, Ваше Величество, – с глубоким вздохом произнес он, – тем более, что вы не захотите отказать мне в великой милости и прикрепите к своей ленте еще один орден – За Борьбу с Тиранией. Этот орден по праву принадлежит Виварии, а значит, вам.

Неотразимый удар! Мятеж короля был подавлен начисто. Его сердце и взор переполнились такой могучей волной благодарности, что герцог Рудис не без оснований поздравил себя с крупной победой. Опыт подсказывал, что теперь граф де Сегнис получит приказ выписать на герцогский гардероб не менее миллиона. Стоящее дело!

– Ленту Его Величества! – рявкнул герцог.

– Позвольте, позвольте, – засуетился король, – я полагаю, что ленту следует сделать из того же материала...

– У нас больше нет ни клочка ткани, – хором ответили портные, – ни единого лоскутка, Ваше...

– Право же, Ваше Величество, – любезнейшим тоном перебил их герцог Рудис, – мы не можем отложить церемонию. Уверяю вас, лента будет прекрасно сочетаться с этим волшебным костюмом. И представьте себе, как засияет на этой ленте орден За Борьбу с Тиранией!

И тут король капитулировал окончательно. Ему нацепили ленту, на ленту – два ордена, и церемониальное шествие началось. Король понуро проследовал во двор, слегка прикрываясь ладошками от ехидных взглядов очаровательных фрейлин. Там его поместили под роскошный балдахин, и процессия двинулась в город.

Разумеется, народ ахнул и онемел. Народ, он, конечно, все повидал, был мудр глубинной народной мудростью и терпелив безграничным народным терпением. И потому народный „ах“ от удивления было нетрудно принять за народный „ах“ от восторга.

И все-таки, увидав Его Величество в башмаках, орденской ленте и короне, народ онемел. Тем более, что по древнему обычаю король нес в одной руке небольшой сноп пшеничных колосьев, а в другой – маленький зо-

лотой молоточек. Это символизировало покровительство плодам земли и ремеслам. Молоточек хранился во дворце со времен Турписа I, а свежий сноп по дешевке купили в соседней Ворагории. Но не в этом дело. Дело в том, что у короля было две руки, только две руки и очень впечатлительное и любвиобильное сердце, лишь немного стянутое ожирением.

Короче говоря, неудивительно, что в этот же день из Сан-Поркуса был выставлен один грязный корреспондентик, который пытался телеграфировать в свою не менее грязную газетенку, что в высших кругах Виварии возрождается древнейший фаллический культ.

В этом, как и во многих других событиях торжественного дня, выдающуюся роль сыграл маркиз де Суавис. Могуущественный министр внутренних дел очень ловко расставил своих людей, а надо сказать, для него едва ли не все столичные жители были своими людьми. Впрочем, он пользовался не только услугами, но и взаимностью – едва ли не все жители Сан-Поркуса считали свои дела сугубо внутренними. И потому народ крайне ясно и единодушно выражал свой восторг по поводу нового платья короля. Удивление и нѣмота длились очень недолго.

Вот теперь-то мы и подошли к главному событию этой истории, которое так поверхностно и без должной принципиальной оценки упомянуто в хронике г-на Андерсена.

7

Короли – люди занятые, им недосуг разгуливать по городу со всякими символами в руках. На такой подвиг их может толкнуть только очень серьезная причина. Разумеется, Турпис VII не стал бы тратить драгоценное время, но в этот день обычай предписал королю пройти мимо своих подданных, зато в другие праздничные дни подданные были обязаны с радостными восклицаниями шествовать мимо Его Величества.

Чем же отличался праздник, в честь которого Турпису пришлось голым пройти по Сан-Поркусу? Не сказав об этом ни слова, г-н Андерсен не мог дать почувствовать и особую окраску всех дальнейших событий. А такая окраска имелась. Судите сами!

День церемониального шествия и поныне является главным национальным праздником Виварии, ибо когда-то именно в этот день к власти пришел основатель династии Турписов, и с тех пор народу не оставалось ничего другого, как радоваться свершившемуся. Тогда малоизвестный, но уже отмеченный многими добродетелями г-н Турпис прошел по городу, держа в одной руке здоровенную вязанку хвороста, а в другой – огромную кувалду. Хотя он со своими людьми шел в королевский дворец, чтобы изложить старому королю свои законные требования – не более того! – дворец почему-то загорелся, и вместо изложения само собой получилось изложение. Превратившись в Турписа I, основатель великой династии

так обрадовался, что первым делом повелел считать указанный день все-народным праздником, и вот уже седьмое поколение правителей Виварии свято соблюдало завет своего предка.

Разумеется, за столько лет кое-какие детали церемонии изменились или приобрели иной смысл, но стоит ли обращать внимание на мелочи!

Другое дело – народное настроение. Вот на него-то как раз обращалось самое серьезное внимание. В таких вопросах нет мелочей. Именно под этим углом и следует рассматривать следующее событие.

Когда до возвращения во дворец оставалось каких-нибудь три квартала, один малолетний хулиган выкрикнул знаменитые слова:

– А король-то голый!

В восторженном повизгивании толпы эти слова прозвучали как взрыв. Надо отметить, что первым отреагировал на нелепую выходку отец хулигана – он вlepил своему сыну увесистый подзатыльник, и кошмарное дитя сразу успокоилось.

Конечно, не было и речи о том, чтобы вполне благонамеренный несчастный родитель стал распространять среди людей вздорную идею своего отпрыска. Упаси Бог!

И тут г-н Андерсен совсем заговорился. На слова своего сына уважаемый житель Сан-Поркуса ссылаться не мог и уж никак не мог называть своего ублюдка невинным младенцем. А что касается криков всего народа – это даже смешно. Подумайте сами, станет ли кричать, называя вещи своими именами, конкретная единица этого самого народа, когда ей бесплатно показывают потрясающий стриптиз, а с каждого бока стоит штатный или пара внештатных сотрудников маркиза де Суависа? Да плевать хотела единица на сопляка, которому показалось, что наряд короля несколько несовершенен!

В общем, процессия успешно добралась до дворца, и король ушел отдыхать. Впереди были обед, бал; театральное представление, не говоря уж о двух срочных примерках и страстном желании хоть на минутку уединиться с чудо-орденом За Борьбу с Тиранией.

А маркиз де Суавис возвратился в свой департамент и немедленно затребовал материалы по антививарийскому выступлению гадкого мальчишки. Внимательно перечитав сто семнадцать протоколов допроса свидетелей, он установил, что отец негодяя вел себя вполне прилично и наказания не заслуживает. Поэтому в отношении отца ограничились строгим внушением и строгим режимом изоляции от общественных зрелищ.

К вечеру маркиз де Суавис потребовал, чтобы дерзкого щенка доставили из подземелья. Мальчишка был голоден и жалобно скулил.

– Ты что там кричал, поганец? – зловещим шепотом спросил Суавис.

– Дяденька, он же и взаправду голым был...

– Что? Так ты еще и настаиваешь на своем, – взревел всемогущий министр. – Ну, погоди у меня!

И мальчишка погодил, точнее, угодил... На следующий день он был от-

правлен в приют Святой Маднессы. Вышел он оттуда через много лет, полностью исцеленный. При этом особенно трогательно то, что именно маркиз де Суавис помог юноше с некоторыми дефектами зрения, речи и умственного развития как следует трудоустроиться.

На этом можно было бы и закончить нашу правдивую хронику виварийских событий. Подчеркиваю, правдивую хронику, а не те фантазии, которыми так щедро одарил нас г-н Андерсен.

Однако историческая справедливость требует сказать несколько слов о портных. Люди маркиза поймали их в тот момент, когда они пытались скрыться из Сан-Поркуса, воспользовавшись праздничной суматохой.

На нескольких дружеских собеседованиях (впоследствии неблагодарные портняжки назовут их допросами третьей степени) министр попытался выяснить суть их передового метода работы. Убедившись, что никаких производственных секретов эти ребята не имеют, маркиз отпустил их с миром и даже добавил сверху, к королевским гонорарам, по небольшому кошельку с золотом. Это позволило Жану и Джеку отдохнуть годик-другой после посещения гостеприимной Виварии.

Маркиз же, не теряя времени, настроил докладную записку на имя короля. В записке расхваливались портные и делалось заявление о необходимости выращивать собственные кадры таких же умельцев. Читая докладную записку, Его Величество вспомнил свою идею о создании невидимой короны и порадовался от всей души тому, что у него такие способные помощники, умеющие на лету ухватить королевский замысел. Такова история появления в славной Виварии королевского хлеба, королевской колбасы, королевских дорог, королевской литературы и прочих признаков процветания. Так родилось „виварийское чудо“, которое до сих пор не могут объяснить историки, поэты и футурологи. Между тем, как видите, все очень просто. Впрочем, это уже совсем другая история.

Вот я и спрашиваю: нравятся ли вам сказки? И вообще, стоит ли всякую всячину понарошке придумывать, когда в подлинности все гораздо интересней и поучительней?

СОДЕРЖАНИЕ

Фантакрим — XXI	3
Ловушка в цейтноте	66
Таймкипер, или Горький глоток будущего	91
Эффект красной черты	109
Эффект лягушки	141
Эффект Лакимэна	150
Нечто невообразимое	
(немного фантастический рассказ)	158
Голая правда о голом короле	194



